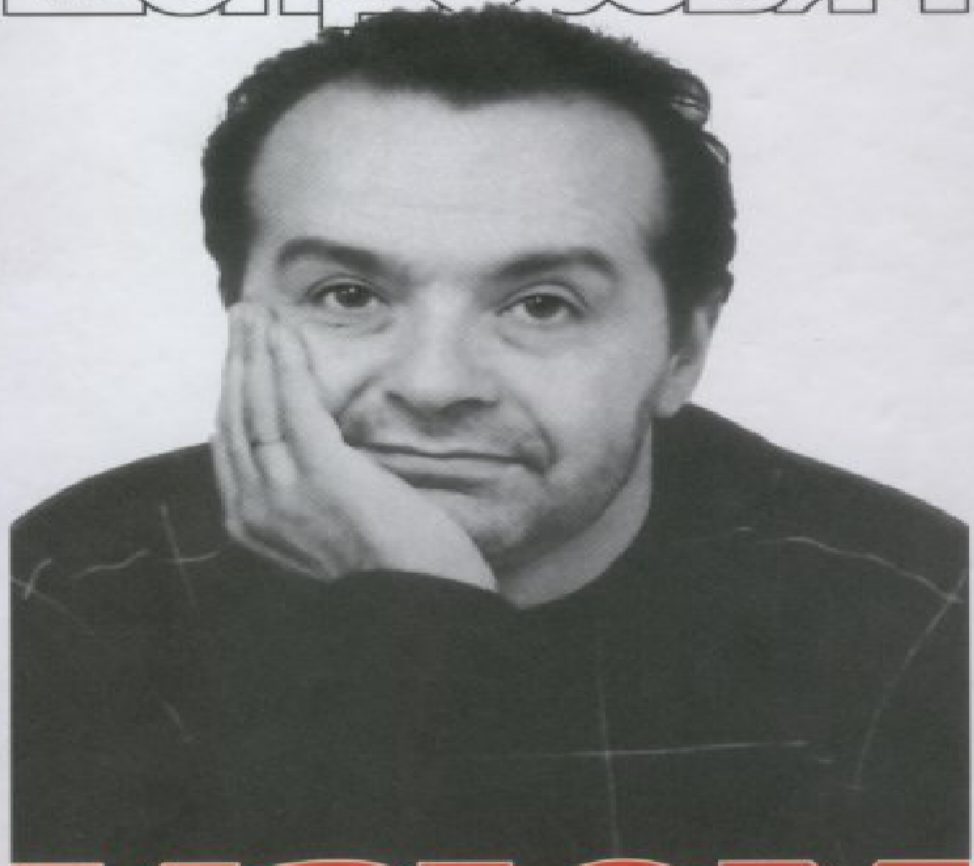
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ



ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ

SHOUT
SHARE
IT

-
- Как читать эту книгу
- Предуведомление
- Предисловие
- Автобио–граффити
  - ■
  - Коврик
  - Историческая родина
  - Письмо
  - Дед Евсей
  - Несчастье
  - Полотенца
  - На коленях
  - Как моя мама спасала советский футбол
  - Саулкрасты
  - Болельщики
  - Штандер
  - Ночь
  - Единственное опасение
  - Училка
  - Правильные ответы
  - Золотая осень
  - Всегда готов
  - Страшные слова
  - Препараты
  - Фамилия
  - Гиены пера
  - Образовательный процесс
  - Ходжа Насреддин и другие
  - Только «Правда»…
  - В поисках эпитета
  - Первомай-75
  - К Табакову
  - Груши и цыплята
  - «Ничего не может случиться…»
  - Володин
  - «Кулёк»
  - Бриллианты из «Кулька»
  - Другие версии
  - Перо к бумаге
  - Галич
  - Визбор
  - Маугли и стая

    - «Все настоящее…»
    - На амбразуру
    - Петя и Шекспир
    - Кстати…
    - Мандельштам
    - «Моралка» и «аморалка»
    - Конспиративное прощание
    - Многостаночник Табаков
    - Современная идиллия
    - Вставай, проклятьем заклейменный…
    - Где мак?
    - Конец эпохи
    - Как заголялась сталь
    - Дом
    - Кориолан
    - Как я был палестинским беженцем
    - Не стрелять!
    - Хьюм и Джессика
    - Джинсы — быть!
    - Будапешт
    - Мои контакты с польской оппозицией
    - «Дядюшкин сон» в Забайкалье
    - Курсант Керимов
- Ты помнишь наши встречи?
    -
    - История болезни
    - Возле еды
    - «Под колпаком»
    - Крыса и опоссум
    - Приложение
        - Хулио Сакраментес*. ОПОССУМ
- Автобиографффити
    -
    - «Жаль, что вас не было с нами…»
    - Назад в будущее
    - «Смешно…»
    - Ноябрь-82
    - Желание быть испанцем
    - Мало выпил…
    - Свадьба бабушки и дедушки
    - Литературный процесс
    - Блестящий дебют
    - «Все только начинается…»
    - Рубка «хвоста»

- Эстрада ждет
- Напутствие
- «Не делайте этого…»
- Сцендвижение
- Щербаков
- «Марат-Сад»
- Без разнарядки
- Начальственный окоп
- Возрастная категория
- Внедрение в литературу
- Семинаристы
- Почему смешно?
- Юморина-89
- Гран-при
- ПРИЛОЖЕНИЕ
    - Горин
- Два редактора
- Приложение
- Хазанов
- Встреча с народом
- Отступление: Жванецкий
- Хазанов (продолжение)
    -
    - История, рассказанная Хазановым
- Хазанов (окончание)
- Лидеры
- Серпом по молоту
- Прикрепление
- В защиту Егора Кузьмича
- Практический склад ума
- Поэтический склад ума
- «Вольво»
- Песня
- Жизнь и судьба
- У Маяковского: «что такое го-ро-до-вой?»
- Курточка
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Стук в дверь с благодарностью
- Товарищ Грекова
- Клиенты Фрейда
- Любовь к двум треугольникам
- Надоело
- «Плохой день…»
- «Если победят наши…»

- Финита ля комедиа
- Отмененный концерт

- Времена вразвес
  - Ленин как?
  - Тревожный сигнал
  - «Бактерии не ошибаются…»
  - Парный конферанс
  - Как я попал
  - Достоевский и Ко
  - Лингвистические трудности
  - Breaking news…
  - Вертикаль власти
  - Не туда пришли
  - Ущемление прав
  - Как вас теперь называть?
  - Знаки времени
  - Процесс приватизации
  - Человеческий фактор
  - Наш Голливуд
  - Врасплох
  - На пальцах…
  - Сон о приватизации
  - Любовь народная
  - Октябрь 93-го
  - Разрыв хозяйственных связей
  - Точные координаты
  - Тунис
  - Чтобы не было мучительно больно…
  - Выбор народа
  - Объект надежды
  - Рифмуйте сами
  - Опилки
  - Обида
  - Ну ты спросил…
  - Другая дверь
  - Невыездные
  - Упустила шанс
  - ОРЗ в ЦКБ
  - Кого хочет Дед?
  - Встреча Ельцина с деньгами
  - «Юноше, обдумывающему житье…»
  - Такой период
  - Слуги народа
  - Подъем духовности вручную

- Бурый премьер
- Мы строили, строили…
- Панихида для пиара
- Тусовка
- «Минуй нас пуще всех печалей…»
- На перекрестке
- Бывшие союзные
- Я, Толстой и Достоевский
- «Выполнение программы правительства…»
- Борьба с преступностью
- Переговорный процесс
- Дачный поселок
- Домики для людей
- Элита
- Дворянское гнездо
- А теперь — дискотека!
- По специальности
- Сфера обслуживания
- Интерес к эпохе Возрождения
- Ответственные силы
- Кто звонит в колокол…
- Как брат брата…
- Как я был осетром
- Выборы-99
- Места знать надо
- Конец цинизма
- О пользе пьянства
- Тост
- Наша зоология
- Признание
- Голая правда
- Кто о чем
- По тонкому льду
- Афины-2004
- Ударить сильнее

- Здравствуй, Родина
  - Часы с петушком и кукушечкой
  - Последняя остановка
  - Место для метеорита
  - «Если бы все…»
  - Главная опасность
  - Традиции
  - Лощина
  - Наша зоология

- Родные люди
- Мечты и воспоминания
- По дороге на Родину
- Мля, нах…
- Тютькин из «Чехии»
- Пишите письма
- В рабочий полдень
- Сокольники
- Отдыхаем!
- Без протестантизма
- Картошка
- «Из-за острова на стрежень…»
- Выпавшие из списка
- Поддержка народная
- Без комплексов
- «Хуй вам!»
- «Обратная точка»
- Кстати…

• Времена вразвес (часть вторая)
- Понаслаждались — и хватит!
- Такое кино
- Атрибуты
- Большой оригинал
- Трудности с адресатом
- «Хвост» за Грефом
- Их технология
- Без лицензии
- Не сейчас
- На войне как на войне
- Не отпустили…
- Непреодолимая сила?
- Банкет без музыки
- Порядок и отчетность
- Охранные грамоты
- Вопросы дня
- Светлые перспективы
- Здравствуй, лето!
- Лучшая концепция государственного телерадиовещания
- Один телезритель
- Русская Швейцария…
- Прикладная пушкинистика
- Прикладная пушкинистика-2
- Целесообразность

- «Зоолетие»
- Запах
- Труба
- Верный товарищ
- «Расемон»…
- «Курск»
- Обморок
- Чего он хочет?
- По просьбе публики

- Как я был телезвездой
  -
  -
  - Как живут Шендеровичи
    ■
  - Репутация
  - Единица мужской красоты
  - Встреча со славой
    ■
  - Сходство
  - Мои перспективы
  - Жадность фраера сгубила
  - Ничего личного
  - Хлеб-соль
  - Координатор
  - Разговор не удался
  - Гастроли
  - Условия аренды
  - Льгота
  - Привет от Монтеня
  - За девочками
  - Однофамилец префекта
  - Интеллигенты
  - Зря я так
  - Доходное дело
  - Горизонты журналистики
  - Старые друзья
  - Я и совесть
  - Мадам Сургут
  - Я и Укупник
  - Легкий заработок
  - А вообще, как жизнь?
  - Желание женщины — закон
  - Два письма
  - Порядок выхода

- Искусство принадлежит народу
  -
  - Человек при ящике
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
  - XXX
- Человеческий фактор
  - Олимпиада-80. Юрий Седых
  - «Почтальоны»
  - Встреча с классиком
  - «Гений поведения»
  - Не надо рефлексий
  - Близость к первоисточнику
  - Во избежание недоразумений
  - Маузер Папанина
  - Приметы коммунизма
  - Малый театр и большая нужда
  - Сходство
  - Поговорили
  - Сколько в тебе росту?
  - Последний мальчик
  - Неожиданный ход
  - Два чемпиона
  - Репутация и конвертация
  - Володин. Утро восьмидесятилетия
  - Виктор Петрович Астафьев
  - Соборное отчество
  - Реплика
  - Педагогическая поэма
  - Такая работа
  - После репетиции

- Злободневный репертуар
- Фотография на счастье
- Получка
- Теория комического
- Все впереди
- Напрасные опасения
- Расширение кругозора
- «Китайца»
- Англичанин Стивен
- Почувствуйте разницу
- Легенда
- Вариант
- Страшная месть
- Спрашивайте — отвечаем
- Стечкин умер
- Эксклюзив
- Педагогика на марше
- Силы природы
- Платная медицина
- Кто будет богатым
- Стрелки
- Визитка впрок
- Взятка в рабочее время
- Анекдот
- Те же яйца, только в профиль…
- Фейс-контроль
- Время удовольствий
- В кругу муз
- На безрыбье…
- Гердт. Расшифровка старой ленты
- Гердт

- Изюм из булки
  - Опасные гастроли
  - Полный абзац

  - Самостоятельное мышление
  - Жалоба
  - Шекспир отдыхает
  - Неуважение
  - Позади прогресса
  - Не в курсе дела
  - Ленинградское шоссе
  - Богема
  - Пробел в образовании

    - Вместе по жизни
    - О спорт!..
    - Русский язык
    - В мире животных
    - Занимательная лингвистика
    - Уточнение
    - Объявление
    - Свой человек
    - Границы гостеприимства
    - Не для себя
    - Лучше — сразу
    - Два мира…
    - Весна
- Соавторы
- Вместо послесловия

Прежде чем покупать эту книжку, внимательно прочтите инструкцию!

Как читать эту книгу

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Книга «Изюм из булки» является сборником записей мемуарного характера. Записи связаны хронологией и логикой рассказа — при этом почти каждая пригодна для отдельного прочтения и существует сама по себе как факт жизни и/или литературы. Чтобы понять, подходит ли вам данная книга, откройте ее наугад на любом месте и попробуйте прочесть любую главку. Если вам стало неинтересно, немедленно закройте книгу, откройте наугад еще раз и начните читать снова. Если вы открыли книгу наугад три раза и вам стало неинтересно, значит, вы ошиблись автором. Ни в коем случае не покупайте эту книгу!

УДК 882-94 ТБК 104 Ш 47

Ш47 Шендерович В. Изюм из булки. — М.: Захаров, 2006. — 352 с.

ISBN 5-8159-0516-X

© Виктор Шендерович, 2005 © Игорь Захаров, издатель, 2005

УДК 882-94 ТБК 104

Предуведомление

В этой книге регулярно – хотя и нечасто — встречается ненормативная лексика.

Честь и удовольствие ее своевременного употребления принадлежит не автору, который скромно и с огромным достоинством отходит в этом случае в тень, — а отдельным персонажам и русскому языку в целом. Языку, в котором два-три нехитрых корня лежат в основе нескольких десятков глаголов, прилагательных, причастий и междометий, вмещающих всю гамму чувств, оценок и понятий, для выражения которых менее развитые народы вынуждены пользоваться разрозненными и

плохо запоминающимися словами, — этому языку не мне указывать и не мне заменять его великие буквы стыдливой азбукой Морзе! А кому не нравится русский язык, тот пускай идет по любому из адресов, на этот случай в нем специально предусмотренных.

Предисловие

Всему виною издатель Игорь Захаров. Это он предложил мне написать собственное жизнеописание, не дожидаясь маразма или кончины. Он сумел убедить меня, что прижизненный мемуар не является аналогом завещания и не обязательно свидетельствует о желании автора проползти в пантеон и заранее пристроиться там среди гробниц почище.

Видит бог, дело действительно не в этом. Я прекрасно отдаю себе отчет в банальности затеи; но банальность почти синоним необходимости. Нет ничего банальнее хлеба, воды и воспоминаний. Всякий, кто не поленится пройтись еще разок вдоль этой линии прибоя, разглядит и подберет десятки обточенных историй, в которых окаменело время, характеры… Жизнь. На них — только попробуй на вкус — осталась соль эпохи. В этом и соль: в историях.

Как читатель я давно предпочитаю их любому другому виду литературы; веселые или печальные, они бесценны, если внятно и со вкусом изложены. Нет для меня ничего заманчивее анекдотов — в пушкинском смысле этого слова. Его table-talk стоит пяти диссертаций. С первого его прочтения, лет уже тридцать с хвостиком, я нахожусь в убеждении, что хороший текст должен начинаться со слов «как-то раз…» или «рассказывают, что…»

Сама по себе автобиография — вещь дорогая сердцу, но только сердцу автора. Так что воспринимайте это как форму, не более того: в этой булке можно смело ковырять пальцем в поисках изюма. Сюжет, сюжет прежде всего! Сюжет — и характеры. Глядишь, станут яснее обычаи времени; тогда можно обойтись и без морали.

Итак, истории… Но как разделить виденное и слышанное? Стоит ли, во имя кошерности жанра, жертвовать роскошными свидетельствами современников? Зря я, что ли, полжизни ходил с широко расставленными ушами?

Ну уж нет.

О достоверности свидетельств прошу не беспокоиться: мы с вами находимся не в судебном процессе, а в историческом; здесь иные понятия об истине. Возьмите те же анекдоты про Екатерину Великую: по отдельности, полагаю, страшное вранье, а все вместе, безусловно, правда!

Многие сюжеты и лица, собранные в этой книге, не имеют никакого отношения ко мне, зато прямо касаются разнообразных времен, в которых мы жили, людей, милых моему сердцу и милых не очень, — и страны, громко признаваться в любви к которой

мешает память о шекспировской Корделии.

Автобио–граффити

«Мне кажется, что со временем (…) писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни…»

Лев Толстой — Гольденвейзеру

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Коврик

Недавно я обнаружил у родителей маленький (метр на полтора) коврик с восточным орнаментом — и вдруг ясно вспомнил: в детстве я играл на таком же, только очень большом ковре. Я спросил у мамы: это отрез от того ковра? А где он сам?

Мама засмеялась и сказала: так это он и есть.

О господи. Такой большой был ковер!

Историческая родина

Когда мой дед Семен Маркович вспыхивал и становился резким и грубым, бабушка Лидия Абрамовна, сделанная совсем из других материалов, говорила ему только одно слово: «Городищ-ще!»

Так называлось белорусское местечко неподалеку от Мозыря — местечко, откуда был родом дед. Особому политесу взяться там действительно было неоткуда: мой прадед был биндюжником — и дед рассказывал, что в детстве был многократно порот чересседельником; хорошо помня характер Семена Марковича, могу предположить, что в детстве перепадало по мягкому месту и моему отцу — так сказать, по наследству.

Мой старший брат и я — первые непоротые в нашей фамилии.

Городище я искал и не нашел, когда ездил по Белоруссии в поисках своей исторической родины. Двадцатый век изрядно прокатился по этим краям. Местечек уцелело всего два; уцелели, впрочем, только дома. Евреев там нет давно — кто в России, кто в Америке, кто на земле обетованной, кто просто в земле: в Белоруссии Гитлеру удалось решить еврейский вопрос практически полностью.

Для Городища и Гитлера не потребовалось: к двадцать девятому году на месте бывшего еврейского кладбища уже успели построить артиллерийское стрельбище. Это было гораздо актуальнее.

Дед Семен к тому времени тоже успел немало. Центростремительная сила революции сорвала его в Москву, и к окончанию института он был убежденным троцкистом. Троцкого для начала попросили проехать в Алма-Ату, деда — тоже для начала — в Архангельск.

Семеном Марковичем он тогда не был — был Шлёмой Мордуховичем. В Сёму его переделали однокурсники — просто чтобы не ломать язык: о конспирации еврейства в двадцатые годы думать еще (уже) не приходилось. Деформация имени-отчества, видимо, и спасла деду жизнь, когда его искали для второй посадки: искали-то как раз Шлёму…

Один из нашедших впоследствии (на допросе) прямо ему на это посетовал. А спасение состояло в том, что искали деда в конце тридцатых, а нашли в конце сороковых.

Эта история стоит того, чтобы ее рассказать.

Письмо

В 1927 году московский студент Сёма-Шлёма из самой гущи исторического катаклизма написал письмо своей жене, будущей моей бабушке, в Вологду, куда направила ее партия. Дед рассказывал о фракционных московских боях — и в числе прочего черкнул несколько слов о Сталине. Процитировал, в частности, Ленина: мол, этот восточный повар любит острые блюда…

Дед предположил, что от Кобы будет много крови.

А бабушка Лидия Абрамовна была партийная безо всяких отклонений. Когда, уже в старости, они с дедом ругались, то перед тем как перейти на идиш (идиш был последней стадией, когда надо было, чтобы дети и внуки перестали понимать текст), — так вот, последнее, что бабушка восклицала по-русски, было:

— Ай, Сема, ты всегда был троцкистом!

Но в 1927 году бабушка сама пустила письмо мужа по партячейке — еще бы, столько свежих новостей из Москвы! Письмо куда-то пропало, и бабушка не придала этому значения. Времена были, по слову Ахматовой, *относительно вегетарианские*…

Всплыло письмецо через двадцать один год, в сорок восьмом. Его предъявили деду на Лубянке и поинтересовались: ваше? Через несколько месяцев Сёме-Шлёме, отцу троих детей, дали восемь лет лагерей — на осознание своей юношеской неправоты в оценке вождя.

Или — в подтверждение правоты.

Сидевший в одной камере с дедом бывший комендант Кремля Мальков (лично казнивший Фанни Каплан), к тому времени отбывший «десятку» и получивший вторую (просто так, чтобы зря не маячил на свободе), узнав о дедовых восьми годах, сказал:

— Молодой человек, это вообще не срок!

Впрочем, это — половина истории.

Прошло еще тридцать лет, и в свет вышел роман Василия Белова «Кануны». В тексте романа мои родители обнаружили удивительное письмо.

Автором письма был довольно неприятный персонаж — московский студент, троцкист, с явным местечковым акцентом. Фантазия писателя Белова сконструировала персонаж с поразительной точностью: тот писал в двадцать седьмом году, из Москвы в Вологду, жене. Было в романном письме и про столичную жизнь, и про партийные склоки… Начиналось оно словами «Здравствуй, Эйдля!», а заканчивалось — «Поцелуй Надюшку»,

Эйдля — было имя моей бабушки (аналогичным образом доведенное товарками по рабфаку до «Лидии»); Надюшкой звали старшую сестру отца, родившуюся как раз в 1927 году. Ко времени публикации романа и дед, и бабушка были еще живы.

После их смерти — в начале восьмидесятых — отец Белову написал. Не вдаваясь в моральные оценки, он сообщил, что в романе «Кануны» использовано реальное письмо его отца к его матери; поинтересовался, каким образом оно попало в роман, и попросил, если возможно, вернуть в семью адресата…

Что удивительно, Белов ответил. Он признал, что письмо в «Канунах» — реальное; сообщил, что подлинника у него нет, а использовал он копию, обнаруженную им в архиве Вологодского обкома партии…

В ответе была слышна некоторая растерянность. Писатель Белов не мог предположить, что троцкист, *такое* писавший в 1927 году о Сталине — и попавшийся органам (а архив обкома КПСС — это, как вы понимаете, эвфемизм), мог дожить до начала восьмидесятых. Писатель Белов переписывал частное письмо, не потрудившись изменить имена.

Он думал, что стягивает сапоги с мертвых.

Дед Евсей

А вот другое семейное предание — сюжет, годящийся для «Графа Монте-Кристо», но уже с совсем печальным исходом.

Мой дед по материнской линии, Евсей Дозорцев, к началу войны был начальником отдела ПВО Наркомата угольной промышленности. И вот в сентябре 41-го некий сослуживец деда завел прилюдный разговор на русскую народную тему «евреи умеют устраиваться». Дескать, русские воюют, а эти…

В тот же день Евсей положил свою «бронь» на стол и ушел на фронт. Когда я говорю «в тот же день», это следует понимать буквально: дед не простился с бабушкой, передав письмо через ее сестру.

Наверное, дед боялся, что бабушка его отговорит.

Старший лейтенант Дозорцев погиб в ноябре 41-го под Ленинградом. Я сейчас уже гораздо старше его…

А в середине 60-х годов, когда мне не было десяти, в коммунальной квартире на Чистых прудах, где мы жили впятером в одной комнате, попросту расползся потолок, и через гнилые доски полилась дождевая вода. И тогда бабушка пошла по инстанциям: ей, вдове погибшего на Великой Отечественной, по такому случаю полагалось от советской власти некоторое ускорение в очереди на квартиру. В одной средней советской инстанции, высидев очередь, она добилась приема у начальника, вершившего квартирные дела.

Это был тот самый сослуживец деда, знаток еврейского вопроса. Он благополучно пересидел Великую Отечественную войну в тылу — и теперь от имени советской власти решал, давать ли моей бабушке квартиру.

Увы, дальнейший ход сюжета уводит нас от аналогии с романом Дюма: никто не убил этого человека и даже не опозорил его. Бабушка Ревекка Абрамовна на ватных ногах вернулась домой, всю ночь плакала и пила валериановые капли…

Мы жили впятером в комнате в коммуналке, потолок держался на деревянных подпорках, вода лилась в тазы. Спустя год новую квартиру нам все-таки дали.

Евреи умеют устраиваться…

Несчастье

Все это не имеет никакого значения ни для кого, кроме меня. Но кажется, это первое мое личное воспоминание, и не записать его я не могу.

Мы идем по железнодорожной платформе Лианозово — я, мама и старший брат Сережа. Меня везут отдавать в летние ясли-сад. Еще немного — и меня отдадут чужим людям. У меня в ладошке — спичечный коробок со светлячком. Мы с ним будем жить совсем одни среди чужих людей.

Иногда я останавливаюсь и заглядываю в коробок.

Мы приходим в ясли, мама начинает разговаривать с воспитательницей, а я отхожу в сторонку, чтобы еще раз открыть коробок, сложить ладошки домиком, сделать темно и посмотреть на светлячка.

Светлячка в коробке нет. Я становлюсь на коленки и обползаю все вокруг. Светлячка нет. Мама разговаривает с воспитательницей. Я понимаю, что выронил его по дороге, может быть, еще на станции. Понимаю, что уже никогда его не увижу; что сейчас мама уйдет — и я останусь один на один с огромным чужим миром.

Я стараюсь не заплакать, ведь я мальчик, мне нельзя плакать, но слезы душат, и я прячусь в деревянный маленький домик на площадке — там меня и находит мама, чтобы попрощаться. Она улыбается, она не понимает, как всё ужасно.

Я пытаюсь сдержаться, но не могу. Я реву в голос. Я абсолютно, непоправимо, безутешно несчастен…

Полотенца

Как почти всякого еврейского ребенка, меня мучили музыкой.

Хорошо помню эту каторгу — Черни, Гедике, Майкопар… Высиживать по два часа в день перед клавиатурой не позволял темперамент. Даже играя Баха, я немного пританцовывал.

В один ужасный день, по просьбе педагога, ноги мне связали полотенцами. Это — одно из самых сильных воспоминаний моего детства. Я заплакал. Это был первый опыт несвободы. Я понимал, что полотенца — для моего же блага, но не хотел никакого блага такой ценой.

На коленях

Однажды в нашу музыкальную, имени Игумнова, школу №5 пришел композитор Кабалевский. Самого этого прихода я не помню, а помню последствия в виде фотографии: сидит, стало быть, Кабалевский в окружении девочек в белых парадных фартучках, а рядом с Кабалевским сижу я.

Эта фотография некоторое время была предметом моей тайной гордости. Шутка ли! — автор всенародно любимой песни «То березка, то рябина…»

Добрый высокий седой дедушка.

Много лет спустя я узнал, что Кабалевский травил Шостаковича, доносительствовал, чинил расправы в Союзе композиторов… Потом я услышал скрипичный концерт Сарасате и ясно различил в нем тему «То березка, то рябина…»

Нельзя оставлять детей без присмотра. Посадят рядом с кем ни попадя, вздрагивай потом…

Как моя мама спасала советский футбол

К моим детским годам мама была преподавателем экономики в техникуме при ЗИЛе.

Придя в очередную группу, она начала наводить порядок — и подала на отчисление всех, кто не посещал занятия. Через день ее вызвал директор техникума.

— Инесса Евсеевна, — спросил он. — Вы ведь замужем? Мама это наблюдение подтвердила.

— Муж футболом увлекается? — вдруг поинтересовался директор.

Удивившись повороту разговора, мама подтвердила и это.

— Не буду вам ничего объяснять, — сказал директор. — Просто передайте мужу, что вы хотели выгнать из техникума Виктора Шустикова. Муж вам сам всё объяснит.

Муж, разумеется, объяснил. Шустиков был капитаном «Торпедо» и сборной СССР по футболу. Но профессионального спорта в СССР как бы не было — и футболист как бы учился в техникуме.

Портить настроение капитану сборной СССР перед чемпионатом мира было делом антигосударственным, но мама всё-таки рискнула позвать торпедовца — хотя бы взглянуть на место учебы.

Он появился вместе с красавицей женой, которая и пообещала:

— После чемпионата мира *мы* всё сдадим! Семейное предание утверждает, что слово своё семья Шустиковых сдержала.

Этим немыслимым блатом (знакомством жены с капитаном сборной) мой отец, не утерпев, однажды воспользовался, и Шустиков вручил маме билеты на товарищеский матч СССР—Бразилия.

Это был первый в моей жизни поход на стадион — то есть знакомство с футболом я начал сразу с Пеле. Может быть, поэтому российский чемпионат дается мне сегодня с таким трудом…

Саулкрасты

Свою футбольную карьеру я начал лет в пять. Играл с дедом. Он вставал между двух сосен, а я лупил мячом. Незадолго до моего рождения дед вернулся из лагерей. Восемь лет разнообразных (земляных и лесоповальных в т.ч.) работ в Дубровлаге, вкупе с седьмым десятком жизни, не прибавили ему футбольного мастерства, и к пяти своим годам деда я обыгрывал.

После обеда дед выносил под те же сосны раскладушку и засыпал.

Дело происходило в Саулкрастах — так называется поселок под Ригой, где прошло мое детство. Саулкрасты — это десять летних лет с бабушкой Ривой, бабушкой Лидой и дедушкой Семой.

К тем годам (думаю, мне было лет двенадцать) относится мой первый — и последний из удавшихся — опыт бизнеса.

В летнем кинотеатре в тот вечер шло что-то такое, чего пропустить душа моя не могла, а находился кинотеатр довольно далеко от дома, и я понимал, что никто из моих стареньких родичей со мной в те края не пойдет. Поэтому я просто дождался, когда дед выйдет под сосны с раскладушкой, и подождал еще немного. Когда дед уже пребывал в надежных руках Морфея, я легонько тронул его за плечо и спросил:

— Деда, можно я пойду в кино?

— Ухмх… — ответил дед, не открывая глаз.

Дедушка, стало быть, не возражал — и не заходя домой, чтобы не попасться на глаза бабушке, я втихую почапал в сторону кинотеатра. Я был очень хитрый мальчик. Тридцати копеек на билет не было, но тяга к искусству преодолела обстоятельства: я подобрал под скамейками несколько бутылок, сдал их и пошел в кино.

Что было за кино, не помню. Когда я вернулся домой… А это было уже очень поздно вечером… В общем, конечно, я удивляюсь, что дедушка меня не убил.

Болельщики

Мы снимали веранду в доме у пары старых латышей — думаю, на двоих им было полтора века. Сыну их, моему тезке, было под пятьдесят. В доме имелся телевизор, но смотреть чемпионат мира по футболу 1966 года мы с дедушкой ходили за тридевять земель, в пожарную часть, Там, под каланчой, я и переживал за Игоря Численко и К^0.

Я не понимал, почему нельзя попросить хозяев пустить нас на время матча к ним. Вместе бы и поболели за наших…

Но болеть вместе нам было — не судьба: старики латыши болели за ФРГ. Это мне, восьмилетнему, было разъяснено однажды без лишних подробностей — и поразило довольно сильно. Я спросил у дедушки, почему они болеют за немцев, но внятного ответа не получил. Я спросил у бабушки — бабушка почему-то разозлилась.

Это было ужасно и совершенно необъяснимо. Советские люди должны болеть за СССР! И мы с дедом ходили на каланчу.

Штандер

Играли так: вверх бросался мяч, и все бежали врассыпную. Водящий, поймав мяч, диким голосом кричал: — Штандер!

И все должны были застыть там, где их заставал этот крик.

«Штандер» — «stand hier» — «стой здесь»… Игра-то была немецкая! Но нас это по незнанию не смущало.

Выбрав ближайшую жертву, водящий имел право сделать в ее сторону три прыжка — и с этого места пытался попасть мячом. Причём жертва двигаться с места права не имела, а могла только извиваться. Я был небольших размеров и очень быстренький, что давало преимущество в тактике.

Исчезла эта игра и канула в Лету вместе с диафильмами про кукурузу-царицу-полей и подстаканниками со спутником, летящим вокруг Земли. Кукурузы не жаль, подстаканников не жаль — штандера жаль. Хорошая была игра.

Ночь

Мы живем в одной комнате впятером, моё место — за шкафом. Шкаф сзади обклеен зажелтевшими обоями. Потом поверх них появилось расписание уроков. А до того — ничто не отвлекало от жизни. Пока засыпаешь, смотришь на обойный рисунок, и через какое-то время оттуда начинают выглядывать какие-то лица, пейзажи…

Из-за шкафа шуршит радиоприемник ВЭФ: У него зеленый изменчивый глаз, а на передней панели написаны лесенкой названия заманчивых городов. Перед радиоприемником полночи сидит отец и; прижавшись ухом, слушает голос, перекрываемый то шуршанием, то гудением. В Америке убили президента Кеннеди. Вот бы здорово не лежать, а посидеть ночью рядом с папой и послушать про убийство. Но если я встану, убьют уже меня…

Непонятно только, почему ночью так плохо слышно? — утром снова ни гула, ни хрипов.

— Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!

Ненавистный, нечеловечески бодрый голос. Надо вставать.

Единственное опасение

Гены разбегаются иногда удивительным образом: мой родной старший брат Сережа — рыжий, веснушчатый, флегматичный мальчик. Можете себе такое представить? Не можете, я думаю. То есть степень рыжины и веснушчатости — допустим, но степень флегматичности… Когда он был совсем маленький, а маме с папой надо было отлучиться, Сереже в манежик клали стопку газет. И пока он не дорывал последнюю из них до мелкого клочка, ни звука не раздавалось: Сережа работал.

Он отлично закончил начальную школу и пошел в четвертый класс, а тут как раз подоспел к начальному образованию я — с гладиолусами в руке, в сером мышастом костюмчике…

Меня привели сдавать с рук на руки той же учительнице, которая до того три года учила Сережу — старенькой Лидии Моисеевне Кацен, и мама решила подготовить учительницу к разнице братских темпераментов: знаете, сказала она, Витя совсем другой — непоседливый, шумный, несобранный…

Старенькая учительница ответила маме великой педагогической фразой:

— Инночка, — сказала она, — я ведь только дураков боюсь, а больше я никого не боюсь…

Училка

В школе я учился хорошо — думаю, что с испугу: боялся огорчить родителей. Каждая тройка, даже по самым отвратительным предметам вроде химии, была драмой.

Одну такую драму помню очень хорошо.

Дело было на биологии. Биологичка Прасковья Федоровна вызвала меня к доске отвечать, чем однодольные растения отличаются от двудольных. Я, хорошист заморенный, все ей как на духу рассказал: у этих корни стержневые, а у этих — мочковатые, у тех то, у этих — то…

Когда я закончил перечисление отличий, Прасковья Федоровна спросила:

— А еще? Я сказал:

— Всё.

— Нет, не всё, — сказала Прасковья. — Подумай. Я подумал и сказал:

— Всё.

— Ты забыл самое главное отличие! — торжественно сообщила учительница. — У однодольных — одна доля, а у двудольных — две.

И поставила мне тройку.

Правильные ответы

Тупизна — вещь, видимо, наследственная.

Это обнаружилось много лет спустя, когда у меня подросла дочка, и жена повела ее на тест в спецшколу. Дочке было шесть лет — училке, проверявшей дочкино развитие, примерно тридцать. И вот она (в порядке проверки развития) спросила:

— Чем волк отличается от собаки?

Дочка рассмеялась простоте вопроса (как-никак, ей было целых шесть лет) — и, отсмеявшись, ответила:

— Ну-у, собаку называют другом человека, а волка другом человека назвать никак нельзя.

И снова рассмеялась.

— Понятно, — сказала училка и нарисовала в графе оценки минус. Моя бдительная жена это увидела и поинтересовалась, почему, собственно, минус. Тестирующая ответила:

— Потому что ответ неправильный.

Жена поинтересовалась правильным ответом — и была с ним ознакомлена. Ответ был написан на карточке, лежавшей перед училкой: «Собака — домашнее животное, волк — дикое». Жена спросила:

— Вам не кажется, что она именно это и сказала? Тестирующая сказала: не кажется. Жена взяла за руку нашу шестилетнюю, отставшую в развитии дочку и повела домой, подальше от этого центра одаренности.

Через год в соседнее пристанище для вундеркиндов привели своего сына наши приятели, и специально обученная тетя попросила шестилетнего Андрюшу рассказать ей, чем автобус отличается от троллейбуса. Андрюша ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус — на силе тока.

Оказалось: ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус — без. И не надо морочить тете голову!

Золотая осень

Еще одну выдающуюся училку, примерно в те же годы, я встретил в парке возле Института культуры. Училка конвоировала первоклашек. Стоял роскошный сентябрь, жизнь была прекрасна, первоклашки скакали по парку, шурша листвой. Одна девочка, распираемая счастьем, подскочила к педагогше и в восторге выкрикнула:

— Марь Степанна, это — золотая осень?

И Марь Степанна, налившись силой, отчеканила (дословно):

— Золотая осень — это время, когда листья на деревьях становятся красного и желтого цветов!

Парк немедленно померк, и небеса потускнели. А лет за двадцать до той золотой осени…

Всегда готов

Я учился в четвертом классе, готовясь к приему в пионеры. Я хотел быть достойным этой чести и страшно боялся, что в решительный момент забуду текст клятвы.

Пожалуй, боялся я этого чересчур, потому что сегодня мне почти полтинник, склероз начинает пробивать лысеющую башку, я уже забываю любимые строки Пушкина и Пастернака, но разбуди меня среди ночи и спроси клятву юного пионера — оттарабаню без запинки.

Этот текст приговорен к пожизненному заключению в моем черепе.

За хорошее знание текста в торжественный день нас угостили чаем с пирожными, но перед этим дали посмотреть на трупик Ленина. Я знал о предстоящем заранее и внутренне сильно готовился к походу в Мавзолей. Меня можно понять: первый мертвый человек в жизни, и сразу Ленин!

Я готовился страдать и жалеть, но у меня не получилось.

Когда мы вошли в подземелье, где лежало на сохранении главное тело страны, меня одолевало одно любопытство; когда вышли — оставалось только недоумение.

Я ожидал от трупика большего.

Страшные слова

Первый раз в жизни я услышал слово «жид» классе примерно в четвертом — от одноклассника Саши Мальцева. В его тоне была слышна брезгливость. Я не понял, в чем дело, — понял только, что во мне есть какой-то природный изъян, мешающий хорошему отношению ко мне нормальных русских людей вроде Саши Мальцева, — и одновременно понял, что это совершенно непоправимо.

А мне хотелось, чтобы меня любили все. Для четвертого класса — вполне простительное чувство. Полная несбыточность этого желания ранит меня до сих пор.

Вздрагивать и холодеть при слове «еврей» я перестал только на четвертом десятке лет. В детстве, в семейном застолье, при этом слове понижали голос. Впрочем, случалось словоупотребление очень редко: тема была не то чтобы запретной, а именно что непристойной. Как упоминание о некоем семейном проклятье, вынесенном из черты оседлости. Только под самый конец советской власти выяснилось, что «еврей» — это не ругательство, а просто такая национальность.

Было еще одно страшное слово. Я прочел его в «Литературке» — дело было летом, на Рижском взморье; я уже перешел в шестой класс и читал все, что попадалось под руку.

Но значения одного слова не понял и спросил, что это такое. Вместо ответа мои тетки, сестры отца, подняли страшный крик, выясняя, кто не убрал от ребенка газету с этим страшным словом.

Слово было — «секс».

Так до сих пор никто и не объяснил, что это такое.

Препараты

Прообразы рабства разбросаны по детству.

Шестой, кажется, класс. Химичка *назначает* меня и еще какого-то несчастного ехать с собою после уроков куда-то на край света — покупать препараты для химии.

Я ненавижу химию, я в гробу видел эти колбочки и горелки, от присутствия химички меня мутит, но меня *назначили,* и я покорно волокусь на Песчаные улицы, в магазин «Школьный коллектор», и жду на жаре, когда ее отоварят какой-то дрянью, чтобы вместе с нею и моим товарищем по несчастью отвезти это в школу.

День погибает на моих глазах. Я чувствую, как уходит жизнь…

А ведь я мог сказать ей: «я не поеду», а на вопрос «почему?» ответить: «я не хочу». Это так просто! Но я не мог.

Я учился произносить слово «нет» десятилетия, и сейчас еще продолжаю учебу.

Фамилия

Когда в конце пятидесятых годов отец, совсем ненадолго, соприкоснулся с советской печатью, фельетоны его публиковали под псевдонимом «Семенов». Выйти в печать с природной фамилией можно было только в разделе «Из зала суда».

Потом, уже в середине семидесятых, добросердечная девушка-паспортистка осторожно спросила меня, шестнадцатилетнего, не хочу ли я поменять фамилию на мамину.

— У мамы вашей такая хорошая фамилия… — пояснила она свою нехитрую мысль.

Гиены пера

Отец издавал газету «Кто виноват?» («орган квартиры №127», как было написано в подзаголовке) — лист ватмана, обклеенный текстами и фотографиями, оформленный рисунками. Это была настоящая газета — с интервью, рубриками типа «Письма читателей» и ответами редакции.

Печатать листочки на пишмашинке «Эрика» и клеить их на лист ватмана — это было настоящее, беспримесное счастье, несравнимое с моими последующими тиражами… Отец был фотолюбитель, даже пару раз получал какие-то премии. Публиковались в советской прессе и его тексты, но это было еще в ранней оттепели. К началу семидесятых отец почти полностью переключился на газету «Кто виноват?», орган кв. №127.

Фотолаборатория была в ванной. Красный фонарь, щипчики в кювете с проявителем, утром — листы фотографий на диване, постепенно скручивавшиеся, как листья деревьев…

А еще у нас был магнитофон «Астра-4» — неуклюжий, с огромными бобинами. Впрочем, работал он исправно, потому что отец постоянно протирал детали ватными палочками, смоченными в спирте. Записывал он на эту «Астру» лучшие кусочки из воскресной программы «С добрым утром!»: Райкин, Карцев—Ильченко, песни…

Но главное был — Высоцкий! Записи появлялись регулярно, чаще всего плоховатого качества, с концертов — и, не с первого прослушивания разобрав текст, отец своим отличным почерком переписывал слова в отдельную тетрадку. В неясных местах он ставил в скобках принятые в научной литературе вопросительные знаки. Тетрадка шла по рукам во время дружеских застолий — на нового Высоцкого приходили специально!

Вот дантист-надомник Рудик,
У него приемник «Грюндик»,
Он его ночами крутит,
Ловит, контра, ФРГ…

Борьба с советской властью в нашей семье носила не политический, а общеобразовательный характер. За неимением человеческих книг в магазинах, отец делал их самостоятельно: первые сборники Окуджавы и Ахмадулиной, которые я держал в руках, были отпечатаны отцом на пресловутой «Эрике» — лично разрезаны, сброшюрованы и аккуратно переплетены. Кроме того, отец переплетал лучшее из журналов: этой рукотворной библиотеки у нас в доме было больше двухсот томов — «Новый мир», «Иностранка», «Юность»… И Солженицын, и Булгаков, и бог знает что еще, гениальное вперемешку с канувшим в Лету…

Номерок каждого тома был вырезан из желтой бумаги и наклеен на торец переплета. Отец изменил бы своему характеру, если бы у этой самодельной библиотеки не было каталога с алфавитным указателем…

Ходжа Насреддин и другие

Однажды я сильно заболел, и мне из вечера в вечер читали вслух книгу в обложке морковного цвета: две повести о Ходже Насреддине. Это было такое наслаждение, что не хотелось выздоравливать. В двенадцать-тринадцать лет я знал две соловьевские повести, наверное, близко к тексту.

Много позже я узнал от деда, что вместе с автором «Насреддина» он сидел в лагере. Более того: дед, «присевший» чуть раньше, был уже бригадиром небольшой «шарашки», когда к ним в барак определили только что посаженного Соловьева. Дед видел, что новенький, работавший в бане санитаром, что-то пишет по ночам и прячет под матрац… Разумеется, дед не стал его закладывать, и я считаю это нашим главным фамильным вкладом в русскую литературу: писал Соловьев как раз «Очарованного принца» — вторую часть книги про Насреддина…

Только «Правда»…

В Рейкьявике идет матч за шахматную корону: Спасский — Фишер! Иногда мы даже разбираем с отцом партии. Я люблю шахматы, на скучных уроках играю сам с собой на тетрадном листке в клеточку. Делается это так: в тетради в клетку шариковой ручкой рисуется доска (половина клеток закрашивается той же ручкой), а карандашом, тоненько, рисуются фигуры. Ход делается в два приема: фигура стирается ластиком и рисуется на новом месте.

Но я отвлекся, а в Рейкьявике: Спасский — Фишер!

Какое-то время этот матч — чуть ли не главное событие в прессе: через день публикуются партии с пространными комментариями… Потом комментарии помаленьку скукоживаются, потом исчезают тексты партий. А потом, однажды, я читаю (петитом в уголке газеты): вчера в Рейкьявике состоялась такая-то партия матча на первенство мира. На 42-м ходу победили *черные.*

А кто играл черными? И кого они победили? И что там вообще происходит, в Рейкьявике?..

Так я впервые был озадачен советской прессой.

О, это умение сказать и не сказать! Уже много лет спустя, в андроповские времена, всей стране поставило мозги раком сообщение ТАСС о южнокорейском лайнере, нарушившем наше воздушное пространство: *«на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря».*

Как это: продолжал полет в сторону Японского моря? По горизонтали или по вертикали? Стреляли по нему или нет? Военный был самолет или все-таки пассажирский? Понимай, как хочешь.

А еще лучше: не понимай. Напрягись вместе со всем советским народом — и не пойми.

В поисках эпитета

Август, Рижское взморье. Наша большая московская «колония» сибаритствует, расположившись у речки под кустом, оккупированным на все лето.

По «Голосу Америки» третий день передают о смерти Шостаковича: биография, свидетельства современников, музыка… На советских волнах — тишина. Трое суток в заоблачных кремлевских верхах продолжается согласование прилагательного, положенного покойному композитору в свете его заслуг и провинностей перед партией: великий он был, выдающийся или всего лишь известный?

Вопрос серьезный, политический, поэтому о смерти Шостаковича народу просто не сообщают.

Первомай-75

…мы с мамой встречали в Одессе, и столица русского юмора сразу дала мне понять, куда я попал.

Шли, кажется, по Пушкинской — я, мама и мамина знакомая. Параллельным курсом двигалась первомайская демонстрация.

Демонстрация притормозила на перекрёстке; какой-то дядя со словами «подержи, мальчик, я сейчас» всучил мне в руки огромный портрет — и ушел. Ни «сейчас», ни потом дядя не появился. Когда мама, отвлекшаяся на разговор с подругой, спохватилась, я был уже не один.

Чей это был портрет, не помню — из глубин памяти, эдаким лох-несским чудищем, выплывает словосочетание «товарищ Долгих», но я не поручусь.

Демонстрация тронулась с места, и мы пошли вместе с ней. Я — с товарищем Долгих на руках. Мама призывала трудящихся поиметь совесть, я что-то жалобно подвякивал снизу, но дурного изображения у меня никто не забирал, причем все страшно веселились.

Наконец, решившись, мама вынула эту живопись из моих скрюченных рук, аккуратно прислонила товарища Долгих к стеночке, и мы от греха подальше отбежали вбок.

К Табакову

Весной 1974 года я случайно узнал, что Олег Табаков набирает театральную студию, и, разумеется, пошел на прослушивание. Разумеется — потому что мне нравилось кривляться, и я думал, что это — способности.

Из «дотабаковских» своих опытов хорошо помню чеховскую «Хирургию», разыгранную классе в шестом в вышеупомянутых Саулкрастах, на пару с приятелем Лешей, на лужайке перед домом, при большом стечении теть, бабушек и дедушек. Был большой успех. Дедушка трясся от хохота. Я не знаю, как я должен был сыграть, чтобы дедушке не понравилось…

Потом я занимался в театральном кружке Городского Дворца пионеров, где по случаю дефицита мальчиков играл чуть ли не купцов из Островского. Там меня и настигла весть о наборе в табаковскую студию.

В здании театра «Современник» на площади Маяковского набилось старшеклассников, как сельдей в бочку. Помню закоулки коридоров, в которых я с удовольствием заблудился, и собственный сладкий ужас от причастности к театру, который я заранее обожал.

Читал я стихотворение Александра Яшина про собаку, которую увели со двора, — ужасно жалостливое. По тонкому стратегическому замыслу, стихотворение это должно было разом свидетельствовать о моем хорошем вкусе и гуманистической ориентации. Грузил я своей интеллигентностью артиста Сморчкова, впоследствии известного стране по роли положительного простака Коли из фильма «Москва слезам не верит».

Борис Сморчков моей интеллигентностью не проникся, и я нагло протырился на прослушивание в соседнюю комнату, чтобы одарить своим репертуаром Константина Райкина. Косте в ту пору было уже двадцать четыре года, но вести он себя не умел: когда, ближе к кульминации, я взвыл и дал слезу в голосе, Райкин откровенно хрюкнул от смеха.

Хорошо помню рядом с его гуттаперчевым лицом озадаченное лицо Марины Нееловой.

Отхрюкав, Райкин передал меня вместе с моей собакой самому Табакову. Рядом с Олегом Павловичем сидело еще несколько неизвестных мне граждан. От волнения я плакал чуть ли не по-настоящему. Табаков был серьезен, потребовал прозу. Я начал читать Джерома, но рассмешить Олега Павловича историей про банку ананасного сока мне не удалось.

Было велено, тем не менее, прийти осенью на третий тур, выучив монолог короля Лира. Оценить глубину этого театрального проекта может только тот, кто видел меня в девятом классе, — с чувством юмора у Табакова всегда было хорошо. А у меня, видимо, не всегда, потому что к будущей роли Лира я отнесся с немыслимой основательностью. Всё лето штудировал Шекспира, до кучи прочел все примечания к трагедии, а уж сам монолог в пастернаковском переводе выучил так, что помню его до сих пор… «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки…»

К октябрю никто, кроме меня, про Шекспира не помнил, но я настоял на том, чтобы прочесть заданное на дом. То ли непогодой, то ли настырностью мне удалось напугать Олега Павловича — и я был принят в «режиссерскую группу» студии.

Груши и цыплята

С осени 1974 года мы оккупировали Бауманский дворец пионеров на улице Стопани — имя этого коммуниста до сих пор отзывается во мне бессмысленной нежностью. Мир за пределами студии съежился, исчез и потерял всякое значение. Школа стала восприниматься как досадное недоразумение на пути к славе и великим свершениям.

Поначалу нас было сорок девять человек, не считая педагогов, которых было тоже немало. Табаков сразу пообещал:

— Будете отпадать, как груши! И мы отпадали.

Исключение из студии было огромной, настоящей драмой — с рыданиями и ощущением конца жизни. Присутствие в этом магнитном поле заряжало всерьез. Валентин Гафт называл нас «цыплятами Табака», но, полагаю, больше мы напоминали саранчу. Всеми правдами и неправдами, неся как штандарт имя Табакова, студийцы при первой возможности прорывались в театр «Современник», и выкурить нас из-за заветных кулис было невозможно.

А уйти добровольно оттуда, где обитают и иногда проходят мимо тебя по лестнице или узкому закулисному коридору Даль, Неелова или Евстигнеев… — это, согласитесь, совершенно немыслимо! По крайней мере, когда тебе шестнадцать лет. …

«На дне» я смотрел раз, наверное, пять, «Двенадцатую ночь» — не меньше двенадцати уж точно… Одно из потрясений юности — «Валентин и Валентина» с Райкиным и Нееловой. Потрясение это было огромным и печальным. Огромным — потому что я находился в возрасте рощинских персонажей, и все это было мне безумно близко. А печальным — вот почему…

После спектакля я, разумеется, помчался на служебный вход, чтобы поблагодарить Райкина. Отловил его на выходе — и что-то такое говорил, вцепившись в рукав, когда из лифта вышла Неелова.

— Пока, Костя! — на ходу бросила она.

— Пока, — ответил Костя совершенно бытовым образом.

А пять минут назад они стояли.на сцене вместе — да так вместе, что представить себе их врозь было просто невозможно! Я вдруг ощутил художественный обман как обман человеческий, и мне стало ужасно грустно.

«Ничего не может случиться…»

Педагоги студии начали бороться за укрепление дисциплины лет за восемь до Андропова.

«Уважительной причиной для неявки на репетицию является смерть», — сформулировал добрейший Андрей Дрознин, а педагог Поглазов приводил в пример своего друга и однокурсника Константина Райкина.

— Я знаю его восемь лет, — сказал Владимир Петрович. — Пять лет в училище и три в театре. И ни одной пропущенной репетиции!

— Но ведь человек может заболеть, — сказал кто-то.

— Актеры не болеют, — парировал Поглазов.

— Но ведь может что-нибудь случиться!

— Ничего не может случиться, — назидательно ответил Владимир Петрович. Дальше было как в плохом кино, но было именно так. Дверь открылась, и, что называется, на реплику вошла наша студийка Лена Антоненко.

Вошла и сказала:

— Райкин сломал ногу.

…Во время репетиции «Двенадцатой ночи» Костя решил показать Валентину Никулину, как надо съезжать с тамошней конструктивистской декорации, и приземлился неудачно.

Отдельным кадром в памяти: загипсованный Костя сидит на подоконнике — на лестничной клетке в больнице Склифосовского, а рядом стоят Неелова и Богатырев…

Володин

Год на дворе — семьдесят пятый. Шахматная секция Дворца пионеров оккупирована для читки пьесы Володина «Две стрелы». Читает — Табаков.

Через час я пробит этими стрелами насквозь; целый год сердце бешено колотится при одном упоминании персонажей. Фамилия автора пьесы мне ничего не говорит, но я хорошо представляю себе лицо человека, написавшего *такое:* Леонардо, Софокл…

Проходит два года, мы уже студенты; место действия — подвал на улице Чаплыгина. Мы репетируем «Стрелы». Однажды в наш двор приходит старичок с носом-баклажаном.

— Саша, — говорит старичку Табаков, — проходи… Это — Володин? Я страшно разочарован.

С тех пор, время от времени, он приходит и сидит на репетициях, в уголке. Иногда Табаков просит его что-то дописать: своими словами рассказывает искомое, и Володин тут же начинает диктовать, а мы записываем. Каким-то до сих пор непостижимым для меня образом диктуемое оказывается не скелетом будущего диалога, а сразу — частью пьесы, без швов, с характерами и даже с репризами. Он не сочинял, ей-богу — просто герои жили в нем и там, внутри, разговаривали. Надо было только позволить им выйти наружу… Это поразительное качество володинской драматургии — прорастание пьесы из жизни и обратно в жизнь — делало ее совершенно уникальной.

Там же, в чаплыгинском дворе, Володин рассказывал мне своими словами «Осенний марафон». Я пристал к нему со своим школярским любопытством — что пишете сейчас? — и он обрадовался моим случайным ушам и вдруг начал подробно и взволнованно рассказывать эту, теперь уже классическую, историю. Он рассказывал ее, как жалуются на жизнь. Не на свою, а — вообще… На жизнь как источник несуразицы, несвободы, несчастья… И я очень хорошо помню, что в володинском изложении главным героем той истории был не Бузыкин, а две его несчастливые женщины.

Он вообще умел жалеть и любить. Других — больше чем себя: ведь Бузыкиным был он сам. Бузыкиным в кубе! Его неумение сказать «нет» приводило в отчаяние. Много лет спустя после тех встреч в чаплыгинском дворе я был несколько раз вынужден брать на себя эту функцию «отказника».

Однажды Александра Моисеевича, насквозь больного, не удосужившись даже прислать машину, тянули на ночь глядя на

спектакль какого-то погорелого театра, потому что туда должно было прийти некое начальство и решался вопрос о дотациях. Присутствие в зале Володина, по мысли приглашавших, помогло бы решить вопрос положительно. Он понимал, что его используют, но сказать «нет» не мог.

Говорили минут пятнадцать. Пообещали, что будут звонить еще. Брали измором.

— А что, хороший театр? — спросил я.

— Отвратительный! — крикнул Володин. — Они меня так мучают…

Я сказал все, что думаю про это драматическое искусство.

— Я скажу, что вы мне запретили, ладно? — обрадовался Володин.

Но это было уже очень много лет спустя. А в середине семидесятых…

«Кулёк»

Сначала я пытался поступить на режиссерский факультет ГИТИСа, к Марии Осиповне Кнебель — я прочел ей, чтобы мало не показалось, монолог Сальери (после Короля Лира, разученного в девятом классе, ниже поставить себе планку я не мог).

Секунд двадцать я читал — Марии Осиповне хватило для диагноза.

Когда Кнебель спасла от меня советскую режиссуру, я в полной тоске отправился на станцию Левобережная и поступил в Институт культуры — бывший Библиотечный. Сокращенно «Кулёк». У Фазиля Искандера по этому же поводу было сказано: «Я чувствовал, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу».

Славное заведение сие выпускало будущих культпросветработников. Получить какую-либо профессию в этих стенах было невозможно, но хорошо провести время — пожалуй. Для этого, в первую очередь, не следовало ходить на основополагающие дисциплины: одно их название могло испортить настроение на всю жизнь.

Некий партийный старичок-боровичок читал нам, помнится, предмет «История культпросветработы и клубного дела». Требовалось знать количество изб-читален после Гражданской войны и биографию Крупской. До сих пор не знаю, что мне делать с этим интеллектуальным богатством.

Художественным руководителем курса был крупный (в прямом смысле) пожилой красавец; как говорили, ученик Леонидова. Первое занятие по режиссуре под его руководством я не забуду никогда.

Мы сидели полукругом и смотрели ему в рот. Он обвел аудиторию взглядом. Прищурясь, останавливал его на каждом, будто провидя сквозь мглу времен будущее любого из нас — и, наконец, сказал.

— Режиссура, — сказал он…

У него был бархатный глубокий голос.

— Режиссура, — повторил он и задумался, подперев подбородок костяшкой среднего пальца. Будто ища некое заветное петушиное слово. Словно уже зная его, но раздумывая, как лучше донести это знание до наших некрепких мозгов.

И я понял, что сейчас (вот прямо сейчас) мне раскроется профессия.

Ученик Леонидова подержал мхатовскую паузу — и, наконец, сказал свое петушиное слово.

— … это серьезная профессия.

Дурак, говорил Светлов, бывает зимний и летний. Летний входит — и ты видишь: вошел дурак. А зимний должен снять пальто и шапку.

Бриллианты из «Кулька»

Зато, рядом с вышеописанным мастером, преподавала Ираида Александровна Мазур — чудеснейшая дама, получавшее свое образование в Оперной студии МХАТ, непосредственно у Станиславского. Не столько профессии, сколько вкусу и достоинству можно и должно было учиться у Ираиды Александровны. Разве этого мало?

А что касается непрофильных предметов, то время от времени из «Кулька» на нас вываливались настоящие бриллианты. Первым из них (по крайней мере для меня) стала Галина Викторовна Морозова.

Она преподавала сценическое движение и фехтование — единственная женщина-«фехтовальщик» в театральных училищах страны! Ее уроки оставляли послевкусие счастья, и дело было, конечно, не в профессии: присутствие Галины Викторовны заставляло выпрямить спину не только в фехтовальной стойке.

В эту женщину было невозможно не влюбиться.

Галина Викторовна на долгие годы втянула меня в свой предмет, и сегодня я понимаю: меня просто примагнитило. Если бы Морозова преподавала вокал, я бы, наверное, начал петь.

Джульетта Леоновна Чавчанидзе (предмет «Иностранная литература»), Клара Максимовна Ким («эстетика»)… Можно себе представить, в каких Оксфордах они должны были бы преподавать, если бы не «совок»; легко вообразить, какими судьбами оказались они в «Кульке». Полагаю, в более «элитные» советские образовательные учреждения людей с их убеждениями и внутренней свободой просто не пускали на порог.

«Отечеством называют государство, когда надо проливать за него кровь», — посреди афганской войны зачем-то цитировала Дюрренматта нам, будущим советским культпросветработникам, доцент Ким.

Спасибо, Клара Максимовна: я запомнил — и передаю цитату следующим поколениям.

Другие версии

Доцент Гриненко преподавала предмет, который назывался «Научный атеизм». Преподавала она его так.

— Историческим материализмом, — говорила Наталья Викторовна, — доказано, что Бога нет. Но есть другие версии — их мы и будем изучать на нашем предмете.

И подробно рассказывала нам — в конце семидесятых годов, в СССР! — про ветви христианства, иудаизм, буддизм…

Особенно впечатлил меня ее способ принимать экзамены.

— Кто согласен на тройки — давайте зачетки, остальных буду спрашивать.

Несколько зачеток передавалось в руки доцента Гриненко, и счастливые троечники освобождали аудиторию.

— Кто-нибудь претендует на пятёрку? — вкрадчиво интересовалась Наталья Викторовна. Несколько смельчаков подтверждали ее предположения. Гриненко отпускала с богом четверочников, собирала зачетки у оставшихся — и ставила пятерки.

Каждый получал то, на что считал себя вправе претендовать.

Перо к бумаге

Писательство свое я начал, разумеется, с поэзии. То есть я думал, что это поэзия, — на самом деле во мне просто бродили читательские соки. Я переписывал своими словами то Пастернака, то Лермонтова. Глубоко трагический я был поэт во время каникул в Павловске, после девятого класса! Самому жутко нравилось.

Окружающие, с которыми я начал делиться версификацией, оставались глухи к этим вершинам духа, но я был упорен и однажды дошел до редакции журнала «Юность», где по вторникам и пятницам проводил лит-консультации Юрий Ряшенцев.

Предбанник его кабинета по этим дням был заполнен страдальцами. Молодые и не очень молодые люди с тетрадками сидели, дожидаясь своей очереди. Это напоминало диспансеризацию и, в сущности, ею и было.

Юрий Евгеньевич изучал тетрадки, как истории болезни.

Потом начинался разбор. Разбор был захватывающим и очень обидным. Собственное стихотворение, такое тонкое и глубокое, спустя пару минут оказывалось кучкой необязательных слов. Случалось, впрочем, Юрию Евгеньевичу и бить ниже пояса.

— Смотрите, Виктор! Вот вы берете тему ностальгии — и едете на ней до финала без единого поворота. А у Цветаевой на эту же тему — помните? «Тоска по Родине — давно // Разоблаченная морока!»

Я кивал, хотя, разумеется, не помнил.

— Но в конце! — увлекаясь, восторженно говорил Ряшенцев. — «…Но если у дороги куст//Встает, особенно — рябина…» А?

Я был раздавлен. Впрочем, хотел бы я посмотреть на того, кто не будет раздавлен сравнением своих строк с цветаевскими… Я возвращался домой, в тоске осознавая постепенно, что я, наверное, не поэт.

Некоторая злобность, впрочем, помаленьку прорезалась во мне уже тогда — однажды я не утерпел и поинтересовался у Ряшенцева: рассказывает ли он про Цветаеву тем, чьи пыльные вирши публикует журнал «Юность»?

— Ну, вы нахал! — воскликнул Ряшенцев и радостно рассмеялся.

Прошло почти тридцать лет, и я нежно благодарен Юрию Евгеньевичу за масштабную сетку, которую он поставил перед моим задранным носом. Это помогло, хотя, конечно, не сразу…

Мои юношеские стихи так нигде и не опубликовали. Какое

счастье!

Галич

Дорога в стройотряд: плацкартное купе, оккупированное молодежью семидесятых, с гитарами в руках и либерализмом в башках. Человек, наверное, двадцать набилось.

А на нижней полке, свернувшись калачиком, спит бабка — полметра той бабки, не больше… Ну и бог с ней. Поехали! Взяли чаю, накатили какой-то спиртной ерунды, расчехлили гитары, и началось вперемешку: Высоцкий да Ким, да какой-то самострок, да Визбор с Окуджавой…

Допелись до Галича. А что нам, молодым-бесстрашным!..

А бабка спит себе — глуховатая, слава богу, да и, мягко говоря, не городская. Спели «Облака», дошли до «Памятников». Пока допели, поезд как раз притормозил и остановился.

— И будут бить барабаны! Тра-та-та-та!

Бабка зашевелилась, приподнялась, мутно поглядела вокруг и сказала:

— А-а… Галич… И снова легла.

Тут нам, молодым-бесстрашным, резко похужело. Бабка-то бабка, а в каком чине? Нехорошая настала тишина, подловатая… В этой тишине поезд, лязгнув сочленениями, дернулся, и мимо окна проплыло название станции.

Станция называлась Галич.

Визбор

Я учился курсе, наверное, на третьем, когда мой приятель с кино-фото-отделения позвал меня в гости к Визбору.

Это было чистое нахальство: мало того, что приятель сам напросился к классику на интервью для какого-то малолитражного журнала, так еще и взял с собой меня — Визбора, полагаю, даже не спросивши.

Мы приперлись вдвоем в чужую квартиру на Садовом кольце и несколько часов торчали на кухне у Юрия Иосифовича, испытывая его гостеприимство, которое мне нынешнему кажется несколько запредельным. Я бы выгнал таких нахалов взашей очень быстро.

Ничего этого тогда, разумеется, мне в голову не пришло. Я был переполнен своей жизнью — студией, спектаклями, стихами — и не очень понимал, у кого на кухне сижу. Та самая масштабная сетка не устоялась, и, кажется, я больше трендел сам, чем слушал.

Кто бы дал мне сейчас поговорить пару часиков с Юрием Иосифовичем… Я бы, пожалуй, больше молчал.

Маугли и стая

В сентябре 1976 года студия Табакова стала курсом ГИТИСа. К девяти школьникам московского набора, уцелевшим после табаковских экзекуций, добавились качаловы иногородние. Сегодня иных уж нет, а те далече; ни режиссером, ни артистом я не стал, но попадание в «Табакерку» до сих пор считаю одним из главных везений своей жизни.

Точнее сказать: я считаю это главным везением — после самого главного: того, что я родился у собственных родителей, а не по соседству.

Тренеры учат прыгунов в высоту целиться выше планки: гравитация сделает свое черное дело сама. В шестнадцать-семнадцать лет мы знали, что должны быть лучшими. Мы были влюблены друг в друга и в наш будущий театр, на студийных собраниях кипели шекспировские страсти: смертей не зафиксировано, но обморок от переизбытка эмоций имел место.

Планка была поставлена на мировой рекорд. А уж кто, как и докуда долетел — распорядилась судьба.

Среди «табаковцев» первого призыва сегодня есть и народные (заслуженно «народные»), и просто хорошие артисты; кто-то выбыл из этой гонки, кто-то спился. Многие уже не живут на белом свете. А те, которые живут, делают это в Киеве, в Монреале, в Москве, в Нью-Джерси… В Страну Басков уводят следы польской красавицы Марыси Шиманской (помните, ровеснички, блондинку из фильма «Берегите женщин»?).

А выше всех взлетела Лена Майорова. Я бы слукавил, если бы сказал, что это было ясно с самого начала. С самого начала было ясно другое: в Ленке обитает огромный темперамент. Малоуправляемый, он даже немного пугал: в игру она включалась абсолютно, восхищая самоотдачей больше, чем художественным результатом.

В дипломном спектакле по Николаю Островскому роли у Ленки не было вообще — одна реплика. Подавать ее студентка Майорова должна была фактически из-за кулис, просунутой в дверь головой. Реплика была такая:

— Ребята, Ленин умер!

Студия наша находилась в подвале на улице Чаплыгина — Ленка разгонялась, наверное, от Большого Харитоньевского. Вестник трагедии, по дороге умело роняя ведра, топотом немаленьких ног она оповещала зрителя о размерах грядущего ужаса. Какие отношения связывали Майорову с ленинизмом, я не знаю, но находиться в темном, узком студийном коридорчике, по

которому с горящими глазами неслась Ленка, было опасно для жизни.

Полную Ленкину включенность в игру мне однажды довелось испытать на себе, чуть ли не физически.

В спектакле «Маугли» я бегал в массовке — в стае. Ближе к финалу эта самая стая, наущаемая тигром Шер-ханом, шла, как полагается, убивать Маугли. На защиту Маугли-Смолякова, в числе прочих, вставала Багира-Майорова.

И говорила она нам, волкам, нечто вроде того, что, мол, вы можете убить его, но прежде умрут многие из вас… И обводя стаю взглядом, завершала эту панораму на мне (будучи маленького роста, в массовых сценах я всегда располагался на переднем плане).

И вот, на одном спектакле, декорации встали неточно, и телами товарищей-волков я был выдавлен гораздо ближе к пантере-Майоровой, чем предполагалось мизансценой. Обводя своими синими, подведенными черным, глазами нашу стаю, Майорова наткнулась взглядом на меня — сидящего не в двух с лишним метрах, а перед самым ее носом.

Будучи живой, как жизнь, Майорова удивилась чрезмерной наглости этого не слишком крупного волка, и мимо всякой режиссуры зафиксировала на мне очень отдельный взгляд, и чуть подалась вперед. Скулы ее свело, глаза потемнели, и безо всяких слов стало ясно, что первым умрет вот этот, и прямо сейчас.

От этого взгляда, помню, меня пробило какое-то совершенно животное чувство; я заскулил и начал судорожно отгребать передними лапами назад, в стаю. В зале засмеялись. Потом мы с Ленкой пытались этот эпизод закрепить, да ничего не получилось: актер я никакой.

Но этот потемневший взгляд я помню до сих пор. Ей-богу, это была уже не вполне Майорова — ее качало на теплых волнах хорошее актерское безумие…

«Все настоящее…»

Еще одна сценическая история, уже вполне кровавая в самом реальном смысле слова.

Подвальчик «Табакерки» был хорош, но невысок. Второго этажа прорублено еще не было, и свои дипломные спектакли мы играли там, где в «Табакерке» нынешней сидят зрители. До потолка, таким образом, было рукой подать.

Рукой — это, как оказалось, полбеды.

Ныне народный артист, а тогда просто студент Андрей Смоляков, Маугли наш темпераментный, в эффектном прыжке достал головой швеллер — чугунную балку под потолком, на которой крепились осветительные приборы.

По счастью (довольно относительному, но все же), дело было перед финалом спектакля. Сойдясь со швеллером, Андрей, размахивая бутафорским факелом, продолжал что-то яростно кричать волчьей стае, которая начала выть от ужаса уже самым всамделишным образом: соломенные Андрюшкины волосы быстро набухали кровью, и через минуту она ручьями потекла по голому смоляковскому торсу.

Зал тревожно загудел.

Во время сцены прощания с Маугли партнерам в тот раз пришлось обнимать его крепче обычного: выдавая текст «на автопилоте», Смоляков уже помаленьку валился с ног.

Последней вышла провожать своего своего Маугли Мать-Волчица, Аня Гуляренко. Что было делать Анне? Только по правде, как учили. И она начала вылизывать кровь со смоляковского тела. В зале начались легкие обмороки. Поддерживая общее настроение, Смоляков, едва добравшись до закулисья, сел на пол и немедленно потерял сознание.

— Скажите, — с надеждой спросила после спектакля одна дама, — но кровь-то — бутафорская?

— У нас в театре все настоящее, — ответил ей Андрей Дрознин, постановщик пластики спектакля, новатор, а впоследствии безоговорочный классик театральной педагогики.

На амбразуру

Упомянутая выше Мать-Волчица, Аня Гуляренко, была ленинградкой, и советские проблемы с пропиской задумала решить советским же способом: вступив в фиктивный брак.

Дело неожиданно осложнилось тем, что Аня была девушка весьма привлекательная, и из желающих помочь ей в решении жилищного вопроса немедленно образовалась небольшая очередь. Полагаю, многие надеялись, что фиктивность сожительства как-нибудь, сама собою, со временем рассосется…

Не скрою, готов был поучаствовать и я.

Предложил свою кандидатуру и Гриша Гурвич — впоследствии культовый режиссер, создатель театра «Летучая мышь», сверкавшего на московском театральном горизонте десять лет, вплоть до трагической Гришиной кончины. А начинал Гриша свое восхождение в нашем подвале, написав блестящие зонги к райкинскому спектаклю «Маугли».

Когда Гурвич, в числе прочих, предложил свою кандидатуру на роль Аниного мужа, Аня отказалась — и, может быть, сделала это чересчур поспешно и категорично.

Тогда Гриша сказал:

— Ну вот, я лег на амбразуру, а пулемет не работает…

Петя и Шекспир

Однажды мой товарищ по табаковской студии — назовем его Петей — пришел на экзамен по предмету «зарубежный театр». А принимал экзамен профессор, один из крупнейших знатоков эпохи Возрождения. Назовем его Алексей Вадимович Бартошевич, тем более что так оно и было.

И вытащил Петя билет, и достался Пете — Шекспир. А Петя про Шекспира знал примерно столько же, сколько Шекспир про Петю. То есть они были примерно на равных.

В отличие от Бартошевича, который про Шекспира знает чуть больше, чем Шекспир знал про себя сам.

И вот они сидят друг против друга (Петя и профессор Бартошевич) и мучаются. Петя — потому что дело идет к двойке, а Бартошевич — потому что, если он эту двойку поставит, Петя придет к нему снова. А он его уже видеть не может.

И оба понимают, что надо напрячься, чтобы эта их встреча стала последней. И Бартошевич говорит:

— Петя! Я сейчас задам вам вопрос на тройку. Постарайтесь ответить.

И спрашивает самое простое (по своему разумению):

— Как звали отца Гамлета?

Тут Петя напрягает все свои душевные силы и в каком-то озарении отвечает:

— Клавдий!

Алексей Вадимович Бартошевич вздрогнул, потом немного подумал, удивился и сказал:

— Возможно.

И поставил Пете тройку.

Кстати…

Своими глазами видел надпись на могильном камне: «Клавдию от любящего племянника». Как говорится, для тех, кто понимает.

Мандельштам

О его существовании я знал, и синий ущербный томик из «Библиотеки поэта» стоял на книжной полке, и, наверное, я в него даже заглядывал, но до времени все это словно проходило сквозь меня.

Я услышал его стихи — именно услышал — в семьдесят седьмом году от Константина Райкина, двадцатисемилетнего актера театра «Современник» и педагога табаковской студии.

«За гремучую доблесть грядущих веков…»

Костя читал нам это, совмещая репетиционный процесс с миссионерством. Он же, помню, поразил меня простым сравнением пушкинской судьбы и судьбы Мандельштама. И ханжество советской пушкинистики, с ее инвективами царскому режиму, травившему великого поэта… и далеко заводящие обобщения… и холодок в груди от постепенно приходящего понимания, в какой стране живешь… — все это случилось со мной в те годы.

«Моралка» и «аморалка»

А моего приятеля Володю Кара-Мурзу в те же годы исключали из комсомола за «аморальное поведение». «Аморалка» состояла в том, что он пел песни Окуджавы.

Через пару лет комсорг, исключавший Володю, прославился тем, что развелся с женой, брат которой был арестован по диссидентским делам. В заявлений о разводе этот прекрасный человек прямо написал, что не хочет жить с родственницей врага народа.

Это у них, стало быть, — «моралка».

Сейчас он полковник ГРУ. Но это так, к слову.

Конспиративное прощание

Моя однокурсница по «Табакерке» Оля Топилина. Она играла Валентину в отрывке по рощинской пьесе, и многие студенты (да, думаю, и педагоги) тихонечко завидовали ее партнеру: она была очень хороша. Сейчас это называется сексапильность, но мы этого слова не знали, а просто обмирали оптом и в розницу.

В восемнадцать лет Оля неожиданно для всех вышла замуж за сына известного диссидента.

Говорят, за любовь надо платить. За любовь с сыном еврейского отказника русская девочка из Реутова, сирота и красавица, заплатила без скидок. В конце семидесятых она получила отказ в прописке на жилплощади законного мужа с исчерпывающей формулировкой: «на основании действующего положения».

Насчет положения советская власть попала в точку: Оля была на девятом месяце, и эта формулировка была предпоследним «прости» от Родины. Последним «прости» была весточка из ОВИРа, ждавшая ее: после возвращения из роддома. ОВИР извещал Олю и ее мужа-диссидента о том, что им разрешено выехать, но сделать это надо немедленно.

«Ложиться надо сейчас…» — помните анекдот про место у Кремлевской стены?

Им дали две недели, и они уехали — с семнадцатидневным ребенком, почти без вещей, без ничего. Все-таки Родина у нас, я вам доложу, не сахар…

На Олькины проводы мы собирались конспиративно, инструктируя друг друга, что идем прощаться с однокурсницей, а про мужа-диссидента типа ничего не знаем. Репетировали допрос…

Многостаночник Табаков

От работы Олег Павлович отказываться не умел никогда, и пересечение графиков остановить его не могло. Табаков играет в Праге, Табаков ставит в Хельсинки, Табаков преподает в Штатах, снимается у Михалкова, ведет студию — и все это одновременно!

В спектакле «Балалайкин и К°» он играл заглавную роль, но появляться на сцене должен был только во втором акте. А театр «Современник» находился в минуте лихой табаковской езды от Дворца пионеров. Табаков, разумеется, совмещал — и однажды, кажется, досовмещался.

Сидим мы, стало быть, на улице Стопани, Олег Павлович ведет занятие — этюд, разбор… Время от времени, не прерывая процесса, он набирает телефонный номер и тихо говорит в трубку:

— Это Табаков. Какой там текст?

Звонит он на вахту «Современника», а вахтерша повторяет ему то, что слышит из трансляции со сцены.

— Еще этюд, — говорит Табаков.

Потом начинается разбор, а Табаков человек увлекающийся… Короче, в очередной раз Олег Павлович, поинтересовавшись у трубки, какой там текст, услышал нечто такое, отчего, не простившись, пулей вылетел в дверь.

Если я не ошибаюсь, он услышал реплику на свой выход.

Современная идиллия

Постановка по Салтыкову-Щедрину, задуманная театром «Современник» в начале 1970-х, с самого начала была предприятием рискованным: слишком много совпадений с эпохой имперского застоя обнаруживалось у эпохи развитого социализма…

Но Товстоногов был опытный тактик и начал заранее обкладывать острые углы ватой.

Писать инсценировку пригласили Сергея Михалкова. Собственно, никаких литературных усилий от гимнописца не требовалось (инсценировку театр сделал своими силами) — требовалось от Сергея Владимировича дать свое краснознаменное имя в качестве охранного листа, на что лауреат и подписался.

Как оказалось впоследствии, несколько опрометчиво.

На сдачу спектакля он пришел со всеми звездами на пиджаке. Это было частью круговой обороны. Ко встрече с комиссией Товстоногов вообще подготовился основательно. Над зеркалом сцены метровыми буквами было написано: «Без Салтыкова-Щедрина невозможно понять Россию второй половины XIX века. М.Горький».

Чтобы, значит, никаких вопросов к современности.

Но проверяющие были тертыми калачами, и запах свободной мысли чуяли за версту. Вопросы у них возникли, и по ходу спектакля вопросы эти начали помаленьку переходить в ответы, если не в оргвыводы.

Просмотр завершился, в полупустом зале зажгли свет.

— Ну, — после паузы произнес наконец один из экзекуторов, — может быть, автор хочет что-нибудь сказать?

И, за неимением в зале Салтыкова-Щедрина, все повернулись к Михалкову.

Герой Социалистического Труда, неожиданно для себя оказавшийся автором совершенно антисоветского произведения, сидел в полном иконостасе, но по всему выходило, что новых цацек от «Софьи Власьевны» ему может уже не обломиться.

— Сергей Владимирович, — повторило начальство, — какие у вас впечатления от спектакля?

И Михалков сформулировал свои впечатления:

— Д-да-а… — сказал он. — Такой п-пощечины царизм еще не п-получал!

Вставай, проклятьем заклейменный…

В конце спектакля «Большевики», по случаю того, что Ленин еще не умер, Совнарком в полном составе вставал и пел «Интернационал». Вставал и зал. А куда было деваться?

Впрочем, я, молодой дурак, вставал, помню, совершенно искренне.

А отец моего друга, Володи Кара-Мурзы, не встал.

Спустя несколько минут, уже на площади Маяковского, к нему подошли двое и поинтересовались: а чего это он не встал? Кара-Мурза объяснил — и его арестовали.

Вот такая волшебная сила искусства…

Где мак?

В станционном буфете у столика стояла женщина и разглядывала кусочек, оставшийся от съеденной булочки.

— Где же мак-то? — наконец она спросила.

— Чево? — не поняла буфетчица.

— Я говорю: где же мак-то? Я уж почти всю булочку съела, а мака так и нету…

— Не знаю, — отрезала буфетчица. — У меня все булочки с маком!

— Так вот мака-то нету. Я-то ем, ем, все думаю: мак-то будет когда?

— А ты посмотри, может, он в конце там, — обнадежил кто-то из сочувствующих.

— Да чего ж смотреть, уж ничего не осталось! — в сердцах крикнула женщина. — Нету мака-то!

Этот диалог дословно записал отец, при сем присутствовавший. Год на дворе стоял семьдесят девятый. Что мака не будет, было уже, в общем, понятно.

Конец эпохи

В театре «Современник» шел ночной просмотр фильма Анджея Вайды «Человек из мрамора». Зал, привыкший к аншлагам, был забит под завязку. История рабочего парня, обманутого и преданного Компартией, — в центре Москвы, пускай ночью и для актеров, но абсолютно легально! А год был, наверное, восемьдесят третий — во всяком случае до Горбачева, это уж точно.

Советская власть давала трещину, и ничего поделать с этим было уже нельзя.

Как заголялась сталь

В начале восьмидесятых один студент ГИТИСа нанялся ночным сторожем в музей Николая Островского.

Студент был не дурак: работа не бей лежачего (чуть ли не в прямом смысле), зарплата семьдесят целковых, внизу — ресторан ВТО… Но всей этой синекурой не удовлетворившись, студент, как раз на время своих посиделок в ресторане, начал сдавать кровать Николая Островского проституткам с Тверской, по трешке за сеанс.

Ту самую кровать, на которой было написано про жизнь, дающуюся человеку один раз.

Студент хлопотал насчет мелкого приработка, а грандиозная метафора сложилась сама.

Дом

Вышеупомянутый ресторан ВТО был частью родного для нас всех Дома актера. Дом этот сгорел в восемьдесят восьмом году, но и сегодня, за стенами новой галереи и торгового центра, я вижу призраки тех коридоров и гостиных.

…Год, наверное, семьдесят восьмой; вечер Давида Самойлова. Он читает стихи — маленький, крепкий, в огромных лупах-очках. Просят что-нибудь из совсем нового; он некоторое время копается в листках — вот это!

«На зато — дуэт для скрипки и альта!»

Я слышал, наверное, одно из первых исполнений этого чудесного стихотворения.

Потом — ответы на вопросы. Один из них остался в памяти как образец самойловской легкости и остроты ума.

— Почему вы, москвич, живете в Пярну? Секундная пауза.

— Давайте я вам лучше расскажу анекдот.

Анекдот Самойлов рассказал вот какой: некий английский лорд каждый вечер, ровно в шесть, приходил в гости к другому лорду. Они курили трубки, пили кофе… Так было двадцать лет подряд. И вот однажды — шесть вечера, а колокольчик у дверей молчит. Семь вечера, восемь… В девятом часу встревоженный хозяин велит запрягать и едет узнать, что случилось. Его приятель как ни в чем не бывало сидит у себя дома — курит трубку, пьет кофе.

— Сэр! Почему вы не у нас? Что случилось?

— Да знаете: надоело!

Другой вечер, другой классик — Рита Райт-Ковалева. Переводчик — в ее случае слово маловатое… Сэлинджеровский Холден заговорил на таком поразительном, живом русском языке! Она рассказывает о тех, кого знала близко: Володя, Аня, Боря, Осип… — и дух захватывает от гула времени. Вот же оно, рядом, в одном касании! На вопрос, кто ей нравится из пишущих стихи сегодня:

— Русский поэт Иосиф Бродский, живущий в настоящее время в Швеции.

Безукоризненно выбрав имя, Рита Яковлевна ошиблась с географией: Бродский в Швеции гостил, но жил все-таки в США. Я узнал все это много позже, а тогда…

Надо бы, думаю, запомнить: Иосиф Бродский.

Год на дворе — семьдесят восьмой.

Кориолан

В театры я проходил по студенческому билету, но шел, разумеется, не на галерку, а, дождавшись темноты, пробирался в партер, где всегда были свободные места из невыкупленной «брони».

Таким образом оказался я и в партере театра Моссовета, где армянский театр играл шекспировского «Корио-лана» — на армянском языке, с русским переводом. Я прополз по темному проходу, нащупал высмотренное заранее свободное кресло, сел и стал шарить руками в поисках наушников.

— Держите, — с легким акцентом сказал голос рядом.

— А вы? — шепнул я.

— Мне не надо, — ответил голос. И я надел наушники.

Хорен Абрамян был замечательным Кориоланом — огромным, страстным…

В антракте зажегся свет, и вдруг весь партер, по преимуществу, разумеется, состоявший из московских армян, повернулся в мою сторону и стал кланяться, улыбаться, воздевать руки и слать приветы.

Секунд пять я пытался вспомнить, чем бы мог заслужить такую любовь московской армянской общины, прежде чем догадался, что все эти знаки внимания адресованы не мне, а человеку рядом со мной — тому самому, который отдал мне наушники.

Я обернулся. Это был маршал Баграмян.

Как я был палестинским беженцем

Это со мною случилось году эдак в семьдесят седьмом. Режиссер Колосов снимал телефильм про то, как его жена, народная артистка Касаткина, будучи советским корреспондентом, гибнет в Бейруте от руки израильской военщины.

Бейрут нашли в Троицком переулке — там были такие развалины, что никаких бомбежек не надо. Подожгли несколько дымовых шашек — вот тебе и Бейрут.

Палестинских беженцев подешевле набрали в Институте Культуры, и в ясный весенний день я за три рубля несколько раз сбегал туда-сюда из дымящихся развалин на тротуар, а народная артистка Касаткина как раз в это время несколько раз умерла насильственной смертью от руки израильской военщины.

Израильской военщиной были несколько здоровенных грузин, найденных ассистентами Колосова там же, в Институте культуры. Ив целом тоже — очень правдивое получилось кино.

Не стрелять!

К концу семидесятых табаковская студия была на первом пике популярности: барыги в подворотне продавали бумажки-пропуски на дипломные спектакли — по пять рублей! Табаков нажимал на все рычаги, чтобы куре стал театром, — и в один прекрасный день в нашем подвале появился министр культуры Демичев.

Его появлению предшествовали существенные изменения в пейзаже. С обеда все подъезды к улице Чаплыгина были перекрыты, а вскоре к нам пожаловала охрана товарища Демичева. (От кого, кроме Суслова с Андроповым, нужно было Петра Ниловича охранять — я ума не приложу, но он был членом Политбюро; ему полагалось.)

Детинушки из «девятки» начали осваивать наш подвал — залезали под стулья, копались в вентиляции, обшарили склад декораций… Их было человек, кажется, шесть или семь.

Один сразу прошел в комнату, отведенную для отдыха товарища Демичева, и начал доводить ее до кремлевских кондиций: протер зеркала, постелил белоснежную скатерть; ближе к вечеру в комнату в эту доставили чемоданчик-холодильник с водой и фруктами, причем каждый персик был обернут в отдельную салфеточку. Я видел этот коммунизм своими глазами.

На случай, если товарищ Демичев пожелает поговорить с товарищами по строительству св.будущего, не выходя из подвала, человек в штатском что-то сделал с нашим телефоном, отчего телефон начал разговаривать самостоятельно. А именно: когда студент Леша (ныне заслуженный артист России Алексей Якубов) снял трубку, чтобы позвонить домой, трубка неприязненным мужским голосом велела ее положить и больше не трогать.

Старшим в группе охраны был здоровенный и, надо сказать, обаятельный дядька средних лет. Его Константин Райкин и начал готовить к особенностям предстоящего зрелища (играть мы должны были «Маугли»).

— Они побегут прямо на зал, и в этот момент начнет резко гаснуть свет, — предупреждал Райкин. — Не стреляйте в них, пожалуйста. Потом над головами пролетит полуголый человек на канате — это тоже не покушение…

Дядька кивал, улыбаясь.

Потом начали собираться зрители. Кроме Петра Ниловича и его партийной шарашки, случайных людей в этот вечер в зале не было — только мамы-папы, родственники и друзья. Наш педагог

по пластике Андрей Дрознин, стоя в дверях, каждого входящего представлял дядьке-охраннику персонально. Дошло до драматурга Малягина, чью пьесу мы в ту пору репетировали.

— Это наш автор, — сказал Дрознин, на что дядька среагировал вполне доброжелательно:

— Киплинг? Проходи.

Ближе к спектаклю люди в штатском активизировались и в целях повышения безопасности члена Политбюро, все по очереди, по несколько раз, заглянули в женскую гримерную. Потом они разошлись по точкам — один остался во дворе, другой за кулисами, а третий…

Третий этот имел при себе перешибленный нос и оловянные глаза, и впечатление производил, прямо сказать, жутковатое.

И вот этот «третий» сел по центру в первом ряду, и я сразу понял, что он будет охранять товарища Демйчева непосредственно от меня. А я играл в «Маугли» — точнее сказать, бегал в массовке — и уж не знаю, как зрители, а сам я был от этого в полном восторге.

В тот вечер восторг сменился смертельным ужасом.

Я уже упоминал одно драматическое обстоятельство моей биографии: из-за роста во всех массовых мизансценах я находился впереди. И когда вместе с другими начал собираться в пружину, чтобы волком рвануться на зрительный зал, то ясно увидел, что охранник тоже собирается в пружину. В оловянных глазах мерцала полная боевая готовность. Нас разделяло метра три.

Я успел вспомнить, что Райкин предупреждал о нашем рывке дядьку-руководителя, но предупредил ли дядька — этого? Я понял, что сейчас выясню это опытным путем. В тоске я увидел рядом полные симметричного ужаса глаза Леши Якубова, и мы всей стаей рванули на члена Политбюро.

До сих пор не понимаю, как я выжил.

На дворе стоял восьмидесятый год. Мы хотели славы и свободы, мы выли волками и скакали обезьянами. В темноте зрительного зала, в третьем ряду, поблескивали очки Петра Ниловича Демйчева, министра культуры с химическим образованием.

Театр Табакову дали. Правда, это случилось через семь лет.

Хьюм и Джессика

…А еще до приезда Демичева в «Табакерку», и тоже на «Маугли», к нам в подвал пришли Джессика Тенди и Хьюм Кронин — знаменитая бродвейская пара. Ромео и Джульетту они играли чуть ли не до войны.

А на гастроли в СССР артисты приехали в 1980-м — и это одно уже выдавало некоторую их оторванность от политических реалий.

Пожилым бродвейцам наш спектакль очень понравился. Маленькая Джессика, прослезившись, говорила, что хочет быть молодой и играть вместе с нами; Хьюм, высокий жилистый старикан, оказался человеком несколько более практичным.

Он сказал, что всё это покупает.

При этих словах г-н Кронин обвел пальцем пространство нашей студии — вместе со всеми студийцами, педагогами и лично Олегом Табаковым.

Далее г-н Кронин конкретизировал свое предложение: переезд в Америку, гастроли на Бродвее, тур по Европе… А на дворе, напоминаю, восьмидесятый год: Афганистан, бойкот Московской Олимпиады, и наши ВВС уже готовятся сбивать пассажирские авиалайнеры.

Олег Табаков, человек, значительно менее оторванный от этих реалий, мягко заметил бродвейскому мечтателю, что предвидит некоторые сложности с выездом такого количества советских студентов на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки…

На что Хьюм ответил:

— Никаких сложностей. С Госдепартаментом я договорюсь!

Как было объяснить этому марсианину, что такое «выездная комиссия»? Олег Табаков, как мог, ознакомил коллегу с обстановкой на шарике. Опечаленный политинформацией, американец спросил, не может ли он сделать нам какой-нибудь подарок. Табаков честно ответил, что может.

Через несколько месяцев Олега Павловича пригласили в американское посольство и вручили роскошный звукооператорский пульт. Этот царский подарок служил студии многие годы.

Спустя почти двадцать лет Джессика получила «Оскара» за главную женскую роль в фильме «Шофер мисс Дейзи». Ей было уже за восемьдесят… Весть о ее смерти и смерти Хьюма (он умер совсем недавно, глубоким стариком) неожиданно сильно опечалила меня.

Хорошим людям жизнь к лицу…

Джинсы — быть!

Вместо года на Бродвее советская власть разрешила нам гастроли в Венгрии.

И вот в последних числах мая 1980 года я шагал по Будапешту — свободный, как перышко в небе. Мне нравился Будапешт, но еще больше нравилась свобода. Я брел, куда глаза глядят, и набрел на лавочку, в витрине которой штабелями лежали джинсы. Настоящие! Не сваренный в кастрюле подольский «самострок», а натуральные «левайсы»!

Ровесники поймут мои чувства без слов, а молодежи всё равно не объяснить.

Я судорожно захлопал себя по карманам — и понял, что все мои хилые форинты остались в гостинице. Сердце оборвалось, но интеллект работал, как часы. Я подошел к ближайшему углу, записал название улицы, вернулся к джинсам, записал номер дома, идентифицировал место на карте — и рванул в гостиницу/

Уже с форинтами в кармане, выбегая из отеля, я столкнулся с Катариной, нашей переводчицей и гидом.

— О, ВиктОр! — обрадовалась она. — Как хорошо, что вы тут! Мы идем в музеум: Эль Греко, Гойя…

Какой Эль Греко — «левайсы» штабелями! Я, как мог, объяснил Катарине экстремальность ситуации, но не убедил.

— Джинсы — завтра, — сказала она. И тут я Катарину напугал:

— Завтра может не быть.

— Почему не быть? — В глазах мадьярки мелькнула тревога: может быть, я знаю что-то о планах Варшавского Договора? Почему бы завтра в Будапеште джинсам — не быть? Но я не был похож на человека из Генштаба, и Катарина успокоилась.

— Быть! — сказала она. — Завтра джинсы — быть! А сейчас — музеум…

Репутация культурного юноши была мне дорога, и я сдался. И пошел я в музеум, и ходил вдоль этого Эль Греко, а на сердце скребли кошки, и все думал: ох, пролечу. Не достанется. Расхватают. Закроют…

Но Катарина была права — джинсы «быть» в Венгрии и назавтра. На каждом углу и сколько хочешь. Я носил их лет пятнадцать.

Будапешт

Среди вещей, поразивших меня в той поездке, были пакеты молока и хлеб, выставленные ночью перед дверями продуктовых магазинов, для нужд припозднившихся мадьяр, с чашечками для мелочи. Это был мираж коммунизма.

Поразили маленькие частные ресторанчики, работавшие по ночам. Мысль о том, что в десять вечера жизнь не прекращается, согревала душу несоветским теплом.

К хорошему привыкаешь быстро, и к середине второй недели с жадностью мальчика, оторвавшегося от родителей, я перешел на полуночный режим. Моих форинтов хватало только на чашечку кофе и бутерброд, но понтов было гораздо больше.

И вот однажды, часу в одиннадцатом вечера, я сидел в кафе, глядел на иллюминированный Дунай и марал бумагу. И вдруг очнулся от непривычной тишины. Я оглянулся: в кафе никого не было, полы были вымыты, стулья стояли на столах ножками вверх. Стул стоял и в дверях, под веревочкой, натянутой поперек входа. Две женщины — хозяйка заведения и официантка — негромко разговаривали у стойки.

Я вопросительно постучал по циферблату, и хозяйка виновато развела руками.

Кафе давно было закрыто! Они ждали только меня. Я чуть не заплакал. В Москве уборщицы начинали махать вонючими тряпками перед носами посетителей за полчаса до времени, указанного на табличке…

Короля играют придворные. В Будапеште я впервые почувствовал себя человеком. Чуть ли не в первый раз в жизни я подумал, что заслуживаю уважения — просто так, фактом существования на земле.

Мои контакты с польской оппозицией

Когда мне было двадцать, я был влюблен, что не мешало мне хотеть всех подруг моей девушки, а также всех остальных девушек в метро и на улице. Жить я при этом продолжал довольно монашески, потому что темперамент входил, как сказал бы Маркс, в антагонистическое противоречие с воспитанием.

И воспитание побеждало (увы).

А было оно довольно старорежимным: не то чтобы «взялся за руку — женись», но… В общем, нехитрая мысль о том, что мухи бывают отдельно от котлет, посетила меня только на излете юности. И как раз в Будапеште.

Мы жили в гостинице, набитой, по линии всевозможных комсомолов, соцлагерной молодежью. И вот в один прекрасный вечер, на дискотеке, мы дотанцевались с одной прекрасной пани до того, что во втором часу ночи оказались вдвоем в одном прекрасном сквере. Был конец мая и т.д.

Главная удача момента заключалась в том, что пани ни слова не понимала по-русски, а я совсем ничего — по-польски. Вериги культурного общения отвалились от моих конечностей. На пальцах мы выяснили, что завтра утром она уезжает в свой Щецин, — и больше наши пальцы на подсчеты не отвлекались. С той ночи я знаю несколько польских слов — по-моему, самых главных.

Потом я ехал в Москву и рефлексировал. Мозги делали какие-то воспитательные усилия, но сердце не чувствовало вины. Я был поражен этим бесчувствием и подумал, что я, наверное, законченный негодяй. Но сердце говорило, что вовсе нет. И чем ближе я подъезжал к дому, тем больше скучал по своей московской девушке и хотел ее видеть…

Через полгода, зимой, пани написала мне письмо — на трогательном, корявеньком русском языке. Родители переслали письмо в Забайкалье, куда к тому времени, не видя другого применения, отправила меня Родина. Замполит Ярошенко тряс у меня перед носом синим нерусским конвертом и требовал всей правды о моих контактах с польской оппозицией.

На дворе стоял декабрь 1980-го, портовый Щецин, где жила моя пани, был охвачен забастовкой, Польша стояла в двух шагах от ввода советских войск…

Если бы я был романист, я бы придумал этот ввод войск, чтобы герой повествования — в форме советского танкиста — встретился с *нею*. Но я не романист. Синий конверт с обратным адресом лежит где-то в ящиках стола — можно написать и даже

подъехать. Предположим, адрес даже не изменился… Выйдет навстречу пятидесятилетняя женщина — наверное, располневшая, может быть, некрасивая… Еще, не дай бог, начнем-таки разговаривать. О чем?

Нет, нет, нет! Май 80-го, ночной сквер в Будапеште, тонкие прохладные пальцы, несколько главных польских слов. Лучше не будет.

«Дядюшкин сон» в Забайкалье

Ночь в майском Будапеште вполне могла оказаться последним романтическим приключением в моей жизни.

…Начало восемьдесят первого, Забайкальский ордена Ленина военный округ. Я служу уже несколько месяцев и в эти несколько месяцев мало сплю, плохо ем и много работаю не по специальности. В живых меня можно числить лишь условно.

И вот однажды возвращаюсь из наряда в казарму — и слышу за спиной знакомый женский голос. Оборачиваюсь: сержанты и «деды» сидят перед телевизором, а в телевизоре красивая молодая женщина в вечернем платье не из этого века говорит что-то совершенно родным голосом.

Только через несколько секунд я понимаю, что красавица в телевизоре — это Лена Майорова.

— Ой! — сказал я. — Ленка!

«Деды» обернулись. Я стоял, не в силах отвести глаз от телевизора. Майорова и Марк Прудкин играли «Дядюшкин сон» Достоевского. А я последние полгода провел в ротном сортире, где чистил бритвой писсуары. Ее голос был сигналом, дошедшим сквозь космическую толщу, из родной полузабытой цивилизации…

— Обурел, солдат? — поинтересовался кто-то из старослужащих. — Какая Ленка?

— Майорова, — ткнув пальцем в сторону телевизора, объяснил я. Я не мог отойти от телевизора. Это был глоток из кислородной маски.

«Деды» посмотрели в экран. «Я прошу вас, князь!» — низким, прекрасным голосом сказала высокая красивая женщина в белом платье с открытыми плечами…

— Ты что, ее знаешь? — спросил наконец один из старослужащих.

— Да, — ответил я. — Учились вместе.

«Деды» еще раз посмотрели на женщину на экране — и на меня.

— Пиздишь, — сопоставив увиденное, заключил самый наблюдательный из «дедов».

— Честное слово! — поклялся я.

— Как ее фамилия? — прищурился «дед».

— Майорова, — сказал я.

— Майорова? — уточнил «дед». —Да.

— Свободен, солдат, — сказал «дед». — Ушел от телевизора!

Справка для женщин и невоеннообязанных: приказы в армии

отдаются в прошедшем времени. «Ушел от телевизора!» — не выполнить такой приказ психологически невозможно, ибо в воображении командира ты уже ушел. А за несовпадение реальности с командирским воображением карается обычно реальность.

И я ушел от телевизора и, спрятавшись за колонну, в тоске слушал родной голос… Первая часть телеспектакля закончилась, по экрану поплыли титры: «Зина — Елена Майорова»…

— Солдат! — диким голосом крикнул «дед». — Ко мне!

Я подбежал и встал столбиком возле табуреток. Старослужащие смотрели на меня с недоверием и, на всякий случай, восторгом.

— Ты что, вправду ее знаешь? — спросил наконец самый главный в роте «дед».

— Правда, — сказал я. — Учились вместе.

— Ты — с ней?

— Да, — ответил я. Диалог уходил на четвертый круг. Поверить в этот сюжет они не могли. Впрочем, после полугода армейских радостей я и сам верил во все это не сильно.

— Красивая баба, — сказал «дед», буровя меня взглядом.

— Очень, — подтвердил я. «Деды» продолжали испытующе рассматривать меня. Прошло еще полминуты, прежде чем злой чечен Ваха Курбанов озвучил вопрос, все это время, видимо, одолевавший старослужащих:

— Ты ее трахал?

— Нет, — честно признался я.

Тяжелый выдох разочарования прокатился по казарме, и дембельский состав тут же потерял ко мне всякий интерес. С таким идиотом, как я, разговаривать было не о чем.

— Иди, солдат! — раздраженно кинул самый главный «дед». — Иди, служи.

Курсант Керимов

Служба в Советской армии могла завершить мою жизнь самым немудреным образом: безо всякого Афгана мерли и гибли мы в Забайкальском военном округе довольно регулярно. Но рулетка остановилась не на мне, и я вернулся домой, переполненный впечатлениями от этой марсианской командировки. О возвращении чуть позже, а пока — о курсанте Керимове.

Начну, однако, с затакта…

Армия — вообще местечко не для эстетов, а в моем случае перепад был просто чудовищный. Достроевое мое представление о советском народе основывалось на лицах в родительских застольях и табаковской студии.

А добрый Олег Павлович, балуя нас, как балуют только первых детей, кого только в наш подвал не приводил: бывал в студии первый мхатовский завлит Павел Александрович Марков (Миша Панин, молодой человек с траурными глазами из «Театрального романа»!), Катаев пробовал на нас «алмазный свой венец» — устный вариант этой повести я помню отлично; приходили Ким и Окуджава, Высоцкий пел два часа персонально нам, первокурсникам; пел главные свои песни и, что называется, на разрыв аорты — по-другому не умел. Жилы на шее вздувались и натягивались хрипом-голосом, лицо становилось красным — помню, что было немного тревожно и даже страшновато за него. Но понимания уникальности — и размеров этой уникальности! — кажется, не было: ну, Высоцкий… Мы тут сами гении!

Даже немного обиделись, когда, пропев два часа напролет, Владимир Семенович отказался выполнить новую череду «заказов» на свои песни: простите, ребятки, у меня вечером спектакль, голоса не будет совсем…

Володин во дворе нашей студии… Товстоногов и Ефремов — в зрительном зале… Аркадий Райкин, принимающий по Костиной протекции в своем доме…

Все это я вспоминаю здесь для того, чтобы вы поняли контрастную силу моих впечатлений от курсанта Керимова, с которым судьба свела меня за одним столом — чуть ли не вплотную после Аркадия Исааковича, зимой восьмидесятого года.

Стол этот стоял в столовой образцового мотострелкового полка, входившего в состав образцовой мотострелковой дивизии, — в образцовом ЗабВО имени Ленина, под Читой. В дивизии этой, по молодости лет, служил Брежнев, и мы были обречены на образцовость до скончания его дней.

Впрочем, там было уже недалеко.

Но зимой восьмидесятого я сидел за столом, где обедали девять моих товарищей по учебному взводу во главе с курсантом Керимовым…

Следует все же объяснить мое появление за этим столом. Во-первых, в Институте культуры не было военной кафедры, а во-вторых, мой отец скорей бы умер, чем попытался дать «на лапу» военкому.

Эти два обстоятельства частично объясняют Забайкалье; остается объяснить курсанта Керимова на лавке напротив. Тут все еще проще: взводы набирались по росту, и мне, разумеется, досталось служить в четвертом, узбеко-азербайджанском, взводе, в третьем отделении.

Единственным русским в этом отделении был я.

И вот мы сидим за столом, десять человек лысых дураков, и едим. То есть едят девять, а я на них смотрю. Теоретически, по уставу, еды должно было хватать всем. В реальности — уже на подступах к узкой двери полковой столовки начинались бои рота на роту. Пробившиеся первыми татаромонгольской лавой рассыпались по проходам, сметая с чужих столов еду и ложки. Добежавшие до лавок тут же начинали дележ.

К моменту, когда на лавку садился последний (а это был я), в чане и мисках не оставалось почти ничего. Умения дать человеку в рыло Бог мне не дал, и в борьбе за существование я довольно скорыми темпами направлялся в сторону, противоположную естественному отбору.

В день, о котором я вспоминаю сейчас, в чане и мисках не осталось совсем ничего — девятеро боевых товарищей, между тем, уминали свои порции (заодно с моею) с неослабевающим аппетитом. Это зрелище было столь завершенным этически, что мне даже расхотелось есть. Я стал по очереди рассматривать боевых товарищей — в ожидании момента, когда кто-то заметит мой взгляд, а потом мою пустую миску.

Я полагал, что вслед за этим у человека должен встать кусок в горле.

Потом вертеть головой надоело, и я начал гипнотизировать сидевшего напротив. Напротив как раз и сидел курсант Керимов.

Заметив мой взгляд, он, как я и полагал, перевел глаза на мою миску; на этом мое знание человеческой природы завершилось. Керимов вцепился в свое хлебово и на всякий случай укрыл его локтями. А когда убедился, что вступать в схватку за калории я не собираюсь, расслабился, улыбнулся и доброжелательно и негромко сказал:

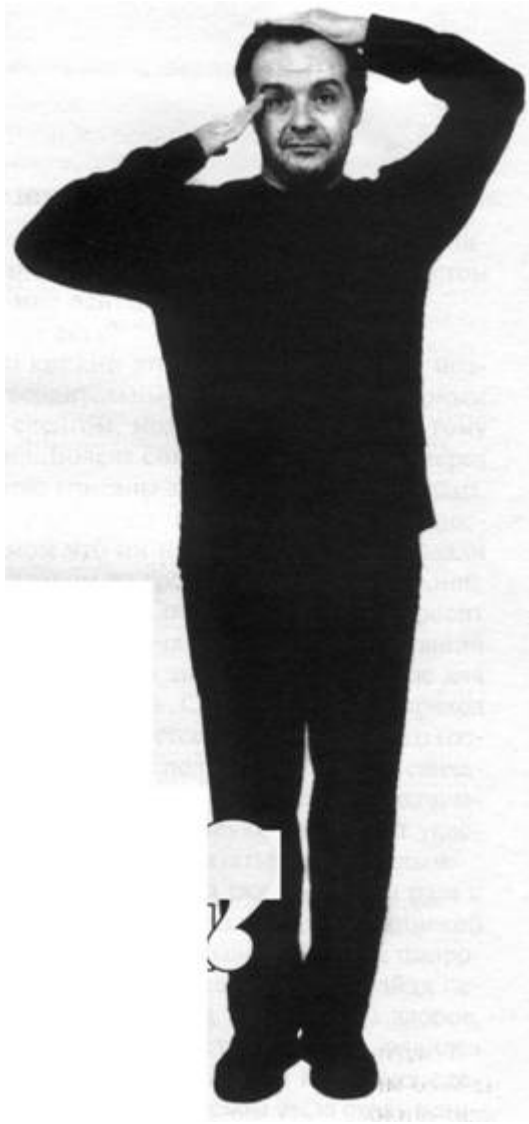
— Хуй.

Чем навсегда закрыл для меня тему армейского братства.

Ты помнишь наши встречи?

МЕМУАРЫ
СЕРЖАНТА ЗАПАСА
Посвящается С.А.

Несколько бесхитростных историй, рассказанных ниже, наряду со множеством недостатков, на которые автору, несомненно, будет указано, имеют одно скромное достоинство: все они произошли на самом деле.



История болезни

В конце февраля 1981 года меня, прямо со стрельбища, увезли в медсанбат. Из зеленой машины с крестом вылез незнакомый мне лейтенант и зычно крикнул:

— Шендерович тут есть?

Не поручусь, что крикни это лейтенант на месяц позже, ответ был бы утвердительным. Пользуясь популярным в стране лагерным сленгом, можно сказать, что я к тому времени уже доходил. Болела спина. Зеленые круги перед глазами были намертво вписаны в квадрат полкового плаца. Я задыхался, у меня разжимались кулаки — не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом: выпадали из рук носилки со шлаком во время нарядов в котельной.

Человек, не служивший в Советской Армии, спросит тут: не обращался ли я к врачам? Человек служивший такого не спросит, потому что знает: самое опасное для советского солдата — не болезнь. Самое опасное — приход в санчасть. Тут солдату открывается два пути: либо его госпитализируют, и он будет мыть полы в означенной санчасти, с мылом, каждые два часа, пока не сгниет окончательно, — либо его не госпитализируют, и умысел уклониться от несения службы будет считаться доказанным.

Меня из санчасти возвращали дважды — и оба раза с диагнозом «симуляция». В первый раз майор медицинской службы Жолоб постучал меня по позвоночнику и попросил нагнуться. Кажется, он искал перелом. Не найдя перелома, майор объявил мне, что я совершенно здоров. Через неделю после первичного обстукивания я заявился в этот нехитрый Красный Крест снова и попросил сделать мне рентген. Наглость этой просьбы была столь велика, что майор временно потерял дар командной речи — и в воскресенье меня повезли на снимок.

Еще через неделю я был вторично поставлен в известность о своем совершенном здоровье. A propos майор сообщил, что если еще раз увидит меня на территорий полковой санчасти, то лечить меня будут на гауптвахте.

Проверять, как держит слово советский офицер, я не стал. Мне хватало ежедневного лечения у старшего сержанта Чуева, о каковом сержанте и первых четырех месяцах службы под его началом я, если хватит цензурных слов, расскажу как-нибудь отдельно.

Я вернулся в строй: днем топтал плац, по ночам не вылезал из нарядов, и с некоторым уже интересом, как со стороны, наблюдал за постепенным отказом организма бороться за

существование — поэтому въезд прямо на стрельбище медицинской машины и крик незнакомого лейтенанта воспринял как внеочередное доказательство бытия Господня.

В медсанбате мне выдали пижаму, отвели в палату и велели лежать не вставая. В истории всех армий мира не наберется и десятка приказов, выполненных с такой педантичностью: я лег и тут же уснул.

Когда к концу дня меня растолкали на прием пищи, я, одурев от сна, попросил принести мне чаю в постель. «А палкой тебе по яйцам не надо?» — спросили меня мои новые боевые товарищи. «Не надо», — вяло ответил я и снова уснул.

Что интересно, чаю мне принесли.

На третий день к моей койке начали сходиться медсанбатовские ветераны. Разлепляя глаза среди бела дня, я видел над собой их уважительные физиономии. Еще никогда выражение «солдат спит—служба идет» не реали-зовывалось так буквально.

При первой встрече со мной рентгенолог, лейтенант медслужбы Анкуддинов, с нескрываемым любопытством переспросил:

— Так это ты и есть Шендерович? И я ответил:

— В этом не может быть сомнений.

Тут я был неправ дважды. Во-первых, окажись на месте Анкуддинова другой офицер, я бы за такой ответ мог огрести по самое не могу, а во-вторых: сомнения в том, что я Шендерович, уже были.

На второй или третий день после доставки в ЗабВО им. Ленина нас, лысых дураков, построили в шеренгу — и прапорщик Кротович выкликнул, глядя в листочек:

— Шендер*е*вич!

— Шендерович, товарищ прапорщик, — неназойливо поправил я.

Прапорщик внимательно посмотрел, но не на меня, а в листочек.

— Шендеревич, — повторил он, потому что так было написано.

Я занервничал.

— Шендерович, товарищ прапорщик.

Моя фамилия мне нравилась, и я не видел основания ее менять.

Прапорщик снова внимательно посмотрел — но уже не на листочек, а на меня.

— Шендеревич, — сказал он очень раздельно. И что-то подсказало мне, что ему виднее.

— Так точно, — ответил я и проходил Шендеревичем до следующей переписи.

А в начале марта 1981 года (уже под своей фамилией) я стоял перед лейтенантом медслужбы Анкуддиновым, и он держал в руках снимок моей грудной клетки. Не знаю, какими судьбами этот снимок попал от полковых ветеринаров к профессиональному рентгенологу — но, видимо, чудеса еще случаются в этом мире.

Рассмотрев на черном рентгеновском фоне мой позвоночник и узнав, что его владелец все еще бегает по сопкам в противогазе, Лев Романович Анкуддинов предложил доставить нас обоих (меня и мой позвоночник) в медсанбат. Лев Романович считал, что на такой стадии остеохондроза долго не бегают — даже по равнине и без противогаза.

Так благодаря чудесному случаю я все-таки сменил шинель на пижаму.

В медсанбате мне было хорошо. Я понимаю, что рискую потерять читательское доверие; что как раз в этом месте повествования следует вспомнить, как тянуло в родную часть к боевым товарищам, как просыпался я по ночам от мысли, что где-то там несет за меня нелегкую службу мой взвод, — но чего не было, того не было. Не тянуло. Не просыпался.

Зато именно в медсанбате мне впервые после призыва захотелось женщину. До этого целых пять месяцев мне хотелось только есть, спать и чтобы ушли вон все мужчины. Признаться, я даже тревожился на свой счет, но тут как рукой сняло.

Здесь же, впервые за эти месяцы, я наелся. Причем «наелся» — это мягко сказано. Как-то ночью меня, в лунатическом состоянии ползшего в туалет, окликнул из кухни повар Толя.

— Солдат, — сказал он, — есть хочешь?

Ответ на этот вопрос был написан на моем лице большими транспарантными буквами уже несколько месяцев.

— Подгребай сюда через полчасика, солдат, — сказал Толя, — я тебя покормлю. Только без шума.

Полчаса я пролежал в кровати, боясь уснуть. Слово «покормлю» вызывало истерические реакции: это было слово из предыдущей жизни. В ордена Ленина Забайкальском военном округе имелись в обращении: словосочетание «прием пищи», существительное «жрачка» и глагол «похавать». На двадцать девятой минуте я стоял у кухонных дверей. Не исключено, что стоял, поскуливая. Из-за дверей доносились немыслимые запахи. До ЗабВО Толя работал шеф-поваром в ресторане и не хотел терять квалификацию.

В эту ночь я обожрался. Еда стояла в носоглотке, но

остановить процесс я не мог.

Лирическое отступление о еде. Не буду утверждать, что в Советской Армии ее не было никогда, но ко дню моего призыва еда там кончилась — это я утверждаю как очевидец. Я еды не застал. Новобранцам образцовой «брежневской» дивизии образца 1980 года доставалось только то, что не представляло интереса для ворья, кормившегося при кухне. Хорошо помню ощущение безграничного счастья, испытанное в момент покупки и съедения всухомятку в городе Чита полукилограмма черствых пряников. Могу также поклясться на общевойсковом Уставе Вооруженных Сил СССР, что однажды, уронив кусочек сахара на затоптанный в серое месиво цементный пол, я поднял его, обдул и съел. Подо всем, что читатель подумает о моем моральном состоянии, я готов безусловно подписаться.

Впрочем, я отвлекся.

Итак, сначала в медсанбате мне было хорошо, а потом началась вообще сказка! Однажды, после утреннего осмотра, командир медроты капитан Красовский ни с того ни с сего, весьма конфиденциально, поинтересовался: не знаю ли я, часом, генерала Громова из областной прокуратуры? Никакого генерала я, разумеется, не знал. Ну, хорошо, как-то неопределенно сказал Красовский, — иди, лечись…

Через несколько дней меня попросили зайти.

В кабинете у командира сидел старлей с щитом и мечом в петлицах — сам же Красовский, пытливо на меня глянув, сразу из кабинета вышел. Тут, должен сказать, мне стало немножко не по себе. Дело заключается в том, что человек я мнительный, со стойкими предрассудками как к щиту, так и, в особенности, к мечу.

— Рядовой Шендерович? — спросил офицер госбезопасности.

Не вспомнив за собой никакой вины, заслуживающей трибунала, я ответил утвердительно.

— Как себя чувствуете? — поинтересовался старлей. — Как лечение? Может быть, есть какие-нибудь жалобы?

И на лице офицера госбезопасности отразилась искренняя тревога за процесс моего выздоровления.

Не буду врать, что захотелось себя ущипнуть (скорее, захотелось ущипнуть лейтенанта), но ощущение некоторого сдвига по фазе над мозгами повисло и продолжало сгущаться.

— Где желаете продолжить службу?

Клянусь своим остеохондрозом — он так и спросил! Эх, ну что мне стоило попроситься в кремлевские курсанты? Вот бы народу набежало посмотреть! Но я, как мешком ударенный, только промямлил что-то благонравное.

Старлей светло улыбнулся и в последний раз спросил:

— Значит, все в порядке?

Тут мне захотелось зарыдать у него на погоне. Я ни черта не понимал.

После ухода старлея в кабинет тихо вошел капитан Красовский и совсем по-домашнему попросил меня не валять ваньку и сознаться, кем я прихожусь генералу Громову из прокуратуры. Тут я подумал, что сейчас шизанусь. Я призываю в свидетели всех, кто знает меня в лицо, и спрашиваю: могут ли быть у генерала Громова из прокуратуры такие родственники? За очевидностью ответа возьмем шире: могут ли у генерала быть такие знакомые? Ну, нет же, о господи! Я спросил капитана: в чем дело? Я поклялся, что фамилию генерала слышу второй раз в жизни, причем в первый раз слышал от него же. Капитан задумался.

— Понимаешь, — ответил он наконец, — генерал Громов чрезвычайно интересуется состоянием твоего здоровья.

И с опаской заглянул ко мне в глаза.

Я был потрясен, а когда отошел от потрясения, то сильно струхнул. Только тут я догадался, что меня принимают за кого-то другого. Тень Хлестакова осенила меня: я понял, что играю его роль, — с той лишь разницей, что не имею никаких шансов смыться до того, как обман откроется. Только что, за пять минут, Советская армия израсходовала на меня стратегические запасы внимания к рядовому составу лет на пятнадцать вперед, — и мне страшно было подумать о том, какой монетой придется за это расплачиваться.

Но расплаты так и не последовало.

День за днем я читал в глазах госпитального персонала посвященность в мою родовую тайну. Статус то ли тайного агента, то ли внебрачного генеральского сына располагал к комфорту, и в полном соответствии с гоголевской драматургией я начал постепенно входить во вкус: смотрел после отбоя телевизор с фельдшерами, в открытую шлялся на кухню к повару — только что не врал про государя императора! Я, впрочем, вообще не врал — и на все вопросы по-прежнему отвечал чистую правду, но растущая нагловатость поведения придавала моим ответам смысл вполне определенный.

Потом я перестал ломать голову над этой шарадой — просто жил как человек впервые со дня призыва.

Впоследствии выяснилось, что весь этот неуставной рай устроила мне моя родная мама. Получив открытку из медсанбата, а обещанного письма вслед за тем не получив, мама начала фантазировать и дофантазировалась до полной бессонницы. И

тогда, уже в некоторой панике, она позвонила доброму приятелю юности, который — так уж случилось — «вырос» до секретаря Верховного суда РСФСР, и попросила разузнать, где я и что со мной.

Секретарь Верховного суда (видимо, припомнив, что все свое детство я называл его дядей Левой) позвонил по вертушке генералу Громову из Читинской прокуратуры и, для скорости процесса назвавшись именно что моим дядей, попросил генерала найти пропавшего племянничка и уточнить состояние его здоровья.

Бедный генерал Громов! Натерпелся он страху, пока меня искали. Если бы на вверенных ему просторах Забайкальского ордена Ленина военного округа загнулся племянник секретаря Верховного суда РСФСР, многим, полагаю, мало бы не показалось…

Возле еды

В конце мая 1981 года я стал хлеборезом.

Этому событию предшествовало исчезновение из полка прежнего хлебореза — всесильного Соловья. До сих пор не знаю, фамилия это была или кликуха, но то ли проворовался Соловей так, что продуктов перестало хватать уже и прапорщикам, то ли прибил кого-то сильнее нормы — короче, его отправили в дисбат, наводить ужас на внутренние войска.

А вместо него как раз вернулся из медсанбата я — отъевшийся, как хомяк, с записью в медкарте насчет ограничения физических нагрузок и с высшим образованием, что в умах местных стратегов справедливо связалось со знанием арифметики.

Глубина моего морального падения к этому времени была такова, что, узнав о назначении, я не только не стал проситься обратно в строй, но даже и обрадовался. Я вообще человек с кучей гуманистических предрассудков, тихий в быту и вялый в мордобое, и глубочайшее мое убеждение состоит в том, что чем меньшее я буду иметь отношение к обороноспособности страны, тем для нее же лучше.

В первый же день я получил от подполковника Гусева Устав тыловой службы с приказом выучить наизусть нормы выдачи продуктов — и погрузился в чтение. После «Графа Монте-Кристо» я не держал в руках текста столь увлекательного. Тихо икая от волнения, я узнавал, что и в каких количествах мне полагалось все это время.

Через полчаса я запер хлеборезку и начал следственный эксперимент.

Я взвесил указанные в Уставе 65 граммов сахара и обнаружил, что это шесть кусочков. Я несколько раз перепроверял весы и менял кусочки, но их все равно получалось — шесть. А в дни моей курсантской молодости никогда не выходило больше трех! Двадцать уставных граммов масла оказались высоченной, с полпальца, пайкой, от получения которой на завтрак в курсантские времена меня бы хватил удар. То масло, которое иногда, по недосмотру Соловья, падало на наши столы, можно было взвешивать на микронных весах. А вообще-то жрали мы маргарин.

Подполковник Гусев приказал мне выучить нормы выдачи, и я их выучил, но дальше начались недоразумения. Я почему-то понял подполковника так, что в соответствии с нормами надо продукты и выдавать, но в этом заблуждении оказался

совершенно одинок.

В первом часу первой же ночи в окошке выдачи появилась физиономия. Физиономия сказала: «Дай сахарку», — «Не дам», — сказал я. «Дай, — сказала физиономия. — Водилы велели». «Скажи им: нету сахара», — ответил я. «Дай», — сказала физиономия. «Нет», — сказал я. «Они меня убьют», — сообщила физиономия. «Откуда я возьму сахар?» — возмутился я. Физиономия оживилась, явно готовая помочь в поиске. «А вон!» — «Это на завтрак», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. «Уйди отсюда», — попросил я. «Они меня убьют», — напомнила физиономия. «О господи!» Я выгреб из верхней пачки несколько кусков, положил на ломоть хлеба и протянул в окошко. «Мало», — вздохнула физиономия. Я молчал. Физиономия вздохнула. «И маслица бы три паечки», — сказала она и тут же пояснила: «Водилы велели!» — «Масла не дам!» — крикнул я. «Они меня убьют», — печально констатировала физиономия. «Я тебя сам убью», — прохрипел я и запустил в физиономию кружкой. Физиономия исчезла. Кружка вылетела в окошко выдачи и загрохотала по цементному полу. Я отдышался и вышел за ней. Физиономия сидела у стола, глядя с собачьей кротостью. Я длинно и грязно выругался. Физиономия с пониманием выслушала весь пассаж и предложила: «Дай маслица».

Когда я резал ему маслица, в окошко всунулась совершенно бандитская рожа, подмигнула мне и сказала:

— Э, хлэборэз, масла дай?

Стояла весенняя ночь. Полк хотел жрать. Дневальные индейцами пробирались к столовой и занимали очередь у моего окошка. И когда я говорил им свое обреченное «нет», отвечали удивительно однообразно:

— Они меня убьют.

И я давал чего просили.

От заслуженной гауптвахты меня спасала лишь чудовищная слава предшественника — после его норм мои недовесы казались гарун-аль-рашидовскими чудесами. Все это, впрочем, не мешало подполковнику Гусеву совершать утренние налеты на хлеборезку, отодвигать полки, шарить в холодильнике и проверять хлебные лотки.

Отсутствие там заначек убеждало его только в моей небывалой хитрости. «Где спрятал масло?» — доброжелательно спрашивал подполковник. «Все на столах», — отвечал я. От такой наглости подполковник крякал почти восхищенно. «Найду — посажу», — предупреждал он. «Не найдете», — отвечал я. «Найду», — обещал подполковник. «Дело в том, — мягко пытался объяснить я, — что я не ворую». «Ты, Шендерович, нахал!» —

отвечал на это подполковник Гусев — и наутро опять выскакивал на меня из-за дверей, как засадный полк Боброка.

Через месяц полное отсутствие результата заставило его снизить обороты — не исключено даже, что он мне поверил, хотя, скорее всего, просто не мог больше видеть моей ухмыляющейся рожи.

Мне между тем было не до смеха. Бандит Соловей успел так прикормить дембелей и прапорщиков, что мои жалкие попытки откупиться от этой оравы двумя паечками и десятью кусочками сахара только оттягивали час неминуемой расправы.

Лавируя между мордобоем и гауптвахтой, я обеспечивал всеобщее пропитание. Наипростейшие процедуры превращались в цирк шапито. Рыжим в этом цирке работал кладовщик Витя Марченков. Он бухал на весы здоровенный кусище масла и кричал:

— О! Хорош! Забирай!

— Витя, — смиренно вступал я, — подожди, пока стрелка остановится.

Витя наливался бурым цветом.

— Хули ждать! — кричал он. — До хуя уже масла!

— Еще триста грамм надо, — говорил я.

— Я округлил! — кричал Витя, убедительно маша перед моим носом руками-окороками. — Уже до хуя!

Названная единица измерения доминировала в расчетах кладовщика Марченкова, равно как и способ округления в меньшую сторону с любого количества граммов. На мои попытки вернуться к общепринятой системе мер и весов Марченков отвечал речами по национальному вопросу, впоследствии перешедшими в легкие формы погрома.

Получив масла на полкило меньше положенного, я, как Христос пятью хлебами, должен был теперь накормить им весь полк плюс дежурных офицеров и всех страдавших бессонницей дембелей. И хотя ночные нормы я снизил до минимума, а начальника столовой прапорщика Кротовича вообще снял с довольствия (за наглость, чрезмерную даже по армейским меркам), а все равно: не прими я превентивных мер — как минимум трех бы тарелок на утренней выдаче не бывало.

Приходилось отворовывать все это обратно — и взяв ручку, я погрузился в расчеты.

Расчеты оказались доступными даже выпускнику Института культуры. Полграмма, слизанные с каждой пайки и помноженные на количество бойцов, давали искомые три тарелки масла — плюс еще несколько, которые я мог бы съедать хоть самолично, если бы меня не тошнило от одного запаха. Впрочем, лишние

тарелки эти, опровергая закон Ломоносова—Лавуазье, бесследно исчезали и без моей помощи.

Так я вступил на стезю порока. Как и подобает стезе порока, она бы не принесла мне ничего, кроме барской жизни и уважения окружающих — если бы не вышеупомянутый прапорщик Кротович.

До моего появления в хлеборезке он уже откормился солдатскими харчами на метр девяносто, и я посчитал, что поощрять его в этом занятии дальше опасно для его же здоровья. Прапорщик думал иначе — и как раз к тому времени, как меня оставил в покое подполковник Гусев, забота о рядовом составе прорезалась в Кротовиче: он начал приходить по ночам и проверять чуть ли не каждую тарелку, ища недовесы.

Бабелевский Мендель Крик слыл грубияном среди биндюжников; Кротовича считали ворьем — прапорщики.

Его интеллект и манеры частично подтверждали дарвиновскую теорию происхождения видов — частично, потому что дальними предками Кротовича были никак не обезьяны; мой выбор колеблется между стегоцефалом и диплодоком. Единственное, что исключено совершенно, — это божественное происхождение. Я не поручусь за все человечество, но в данном случае Господь абсолютно ни при чем. В день создания Кротовича Всевышний на что-то отвлекся.

Прапорщик начал искать у меня недовесы. Делал он это ретиво, но безрезультатно, и вот почему. Вскоре после назначения, поняв, с кем придется иметь дело, я отобрал из полутора тысяч тарелок десяток наиболее легких и, пометив их, в артистическом беспорядке разбросал по хлеборезке. Взвешивая масло, Кротович ставил первую попавшуюся такую тарелку на противовес — и стрелка зашкаливала грамм на двадцать лишних. Кротович презрительно кривился, давая понять, что видит все мои фокусы насквозь.

— А ну-ка, сержант, — брезгливо сипел он, — дайте мне во-он ту тарелку!

Я давал «во-он ту», и стрелку зашкаливало еще больше.

Прапорщик умел считать только на один ход вперед. При встрече с двухходовкой он переставал соображать вообще. Иметь с ним дело для свободного художника вроде меня было тихой радостью.

Впрочем, чего требовать от прапорщика? Однажды в полк прилетел с проверкой из Москвы некий генерал-лейтенант, будущий замминистра обороны. Генерал проверял работу тыловой службы, и к его появлению на наших столах расстелились скатерти-самобранки. Солдаты, пуча глаза, глядели

на плотный, наваристый борщ и инжирины, плававшие в компоте среди щедрых горстей изюма. Это был день еды по Уставу.

Все вышеописанное исчезло в час генеральского отлета в Москву — как сон, как утренний туман.

Но в тот исторический день генерал размашистым шагом шел к моей хлеборезке, держа на вытянутых руках чашку с горсткой мяса («чашкой» в армии почему-то зовется миска). За московским гостем по проходу бежали: комдив, цветом лица, телосложением и интеллектом заслуживший в родной дивизии прозвище Кирпич, несколько «полканов», пара майоров неизвестного мне происхождения — и прапорщик Кротович.

Кинематографически этот проход выглядел чрезвычайно эффектно, потому что московский генерал имел рост кавалергардский, и семенившие за ним офицеры едва доходили высокому начальству до погона, не говоря уже о Кирпиче. Единственным, кто мог бы тягаться с генералом длиной, был Кротович, но в присутствии старших по званию прапор съеживался автоматически.

Вся эта депутация влетела ко мне в хлеборезку, и, приставив ладонь к пилотке, я прокричал подобающие случаю слова. Генерал среагировал на приветствие не сильнее, чем тяжелый танк на марше на стрекот кузнечика. Он прошагал к весам и, водрузив на них чашку с мясом, уставился на стрелку. Стрелка улетела к килограммовой отметке. «Пустую чашку!» — приказал генерал, и я, козырнув, шагнул к дверям, чтобы выполнить приказ, но перед моим носом, стукнувшись боками, в проем проскочили два майора.

Мне скоро было на дембель, а им еще служить и служить…

Через несколько секунд майоры вернулись, держа искомое четырьмя руками. В четырех майорских глазах светился нечеловеческий энтузиазм. За их спинами виднелось перекошенное лицо курсанта, который только что собирался из этой чашки поесть.

Чашка была поставлена на противовес, но стрелка все равно зашкаливала на двести лишних грамм.

— А-а, — понял наконец генерал. — Так это ж с бульоном… Ну-ка, посмотрим, — сказал он, — сколько там чистого мяса!

И — внимание! — перелил бульон из правой чашки — в левую, в противовес!

Теперь вместо лишних двухсот граммов — двухсот же стало недоставать! Генеральский затылок начал принимать цвет знамени полка. Не веря своим глазам, я глянул на шеренгу товарищей офицеров. Все они смотрели на багровеющий генеральский затылок, а видели сквозь него каждый свое: снятие,

лишение звания, отправку в Афган… В хлеборезке царил полный ступор, и я понял, что час моего Тулона настал. Я шагнул вперед и сказал:

— Разрешите, товарищ генерал?

Не рискуя ничего объяснять, я вылил за окошко коричневатый мясной навар и поставил чашку на место. И весы показали наконец то, что от них и требовалось с самого начала.

Офицеры выдохнули. Особенно шумно выдохнул Кирпич.

Внимательно рассмотрев местонахождение стрелки, генерал-лейтенант обернулся, посмотрел на меня со своей генерал-лейтенантской высоты и задал вопрос, выдавший в нем стратегическую жилку.

— Армянин? — спросил меня будущий замминистра обороны страны.

— Никак нет, еврей, — ответил я.

— А-а, — сказал он и, не имея больше вопросов, нагнулся и вышел из хлеборезки. Следом пулями вылетели Кирпич, несколько «полканов», парочка майоров и прапорщик Кротович. Последним выходил новый замполит полка, майор Найдин. Внезапно остановившись в дверях, замполит похлопал меня по плечу и, сказавши:

— Молодец, сержант! — подмигнул совершенно воровским образом. В присутствии проверяющего из Москвы разница между хлеборезом и замполитом полка стиралась до несущественной. Надувая столичное начальство, мы делали одно большое общее дело.

Но что генерал-лейтенант! Осенью того же восемьдесят первого по округу пронеслось: скоро в Забайкалье нагрянет товарищ Устинов. Для молодых читателей, а также тех, кому за прошедшие годы отшибло память, сообщу, что Устинов этот был министр обороны. С его просторных погон к той осени уже третий год лилась кровь Афганистана, но летел маршал почему-то не в Афганистан, где самое ему было место, а на учения в Монголию. (Монголия в те ясные времена была частью Забайкальского военного округа. Как говорила мужу леди Макбет, «о вещах подобных не размышляй, не то сойдешь с ума».)

В общем, Устинов летел на учения — с промежуточной посадкой в штабе округа в Улан-Удэ. А так как неподалеку находилась наша образцовая «брежневская» дивизия, а в ней — наш образцовый мотострелковый полк, вероятность увидеть члена Политбюро своими выпученными глазами была достаточно велика.

Немедленно по получении страшной информации из Москвы полк прекратил свое существование как боевая единица и

переквалифицировался в ремонтное управление. На плацу целыми днями подновляли разметку и красили бордюры, в казармах отдраивались такие медвежьи углы, в которые ни до, ни после того не ступала нога человека. Я неделю напролет белил потолок. В последний день перед прилетом министра всё в полку посходило с ума — майоры собственноручно отдраивали двери, а командир полка носился по гарнизону, как муха по каптерке. Рядового, замеченного в перекуре, могли запросто пристрелить на месте.

Но главное было — борьба с осенью. Плац подметали дважды в день, но через час после очередной расчистки он был снова завален палой листвой. Так продолжалось до последнего дня, а наутро, выйдя из казармы после очередного недосыпа, я увидел: на осине сидел маленький якут и обрывал с осины листву. На якуте была шинель и шапка с красной звездой. На соседних осинах сидели другие якуты. Крыша моя накренилась и поехала.

Только через несколько секунд я вспомнил обстоятельства места и времени, включая то, что наша четвертая рота полностью укомплектована в Якутии. Но эти несколько секунд я прожил в вязком тумане личного сумасшествия.

А с другой стороны — ведь министру обороны не объяснишь, почему плац в листве. Маршал увидит расхождение между долженствующим и существующим — и огорчится. А когда маршалы огорчаются, полковники летят в теплые страны.

— Осень, товарищ маршал!

Это довод для гражданского ума, не вкусившего нормативной эстетики Устава, — а маршал запросто решит, что над ним издеваются. В армии не существует демисезонной формы одежды! Деревья должны либо дружно зеленеть, либо молча стоять голыми. А плац должен быть чист. А личный состав смотреть программу «Время». Даже если телевизор, по случаю чемпионата мира по хоккею, унесен из роты в штаб.

— Рота, рассесться перед телевизором в колонну по шесть!

— Так нет же телевизора, товарищ прапорщик!

— Что по расписанию?

— Просмотр программы «Время»…

— Рассесться в колонну по шесть!

Сидим в колонну по шесть, смотрим на полку со штепселем. Ровно полчаса, пока в соседних казармах не кончится программа «Время». Привет от Кафки.

А Устинов в наш полк так и не приехал.

«Под колпаком»

Фамилия полкового особиста была Зарубенко. Капитан Зарубенко. С учетом специфики работы звучит, согласитесь, особенно хорошо. Специфика эта была такова, что, хотя капитан несколько месяцев копался в моей судьбе, как хирург в чужих кишках, я до сих пор не представляю его в лицо. Просто однажды в спортзале повар Вовка Тимофеев сказал мне:

— Зёма, ты это… следи за языком.

— А что случилось? — поинтересовался я.

— Ничего, — ответил Вовка. — Просто думай, что говоришь. И считай, что я тебя предупредил.

— Ну а все-таки? — спросил я. Потом спросил то же самое еще раз.

— Капитан Зарубенко тобой интересуется, — пробурчал наконец Вовка. — Что-чего — не знаю, но интересуется.

Кто такой этот Зарубенко, я толком не знал, но Вовка мне напомнил.

Год назад один из наших, стоя на посту у знамени части, слышал (и в ужасе рассказывал потом в караулке), как некий загадочный капитан орал на командира полка, обкладывая его таким матом, что знамя краснело дополнительно. Полковник, чья крепенькая фигурка обычно наводила ужас на окрестности плаца, стоял перед капитаном навытяжку — и молчал.

Как бы то ни было, а я уже успел позабыть о Вовкином предупреждении, когда в одно весеннее утро меня, отсыпавшегося после продуктовых баталий, разбудил батальонный замполит капитан Хорев и предложил прокатиться в штаб дивизии.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю, — соврал он, и мы поехали.

В штабе дивизии капитан Хорев скрылся за какой-то дверью и бодро доложил там какому-то полковнику, что младший сержант Шендерович по его приказанию доставлен, но даже это не замкнуло в моей авитаминозной башке логической цепочки.

Доставленного пригласили присесть и рассказать о себе: кто, да откуда, да кто родители… Я бы, пожалуй, рассказывал семейный эпос до самого дембеля, если бы не майор. Майор этот с самого начала тихонечко сидел в углу комнаты, имея при себе цепкий взгляд и черные артиллерийские петлицы. Артиллеристом майор был замечательным: минут через пять он начал заряжать в мою сторону вопросы — и всякий раз попадал в точку.

Только тут до меня наконец дошло, что это допрос. Лицо

Вовки Тимофеева всплыло в бедовой голове вместе с фамилией Зарубенко. Дивизионный майор знал обо мне все!

Я вертелся на стуле, как плевок на сковородке, ужасаясь и одновременно проникаясь уважением к собственной персоне: оказалось, что за время службы я успел рассказать боевым товарищам довольно много правды про советскую власть.

Широта особистских интересов поражала: среди прочего мне инкриминировалась любовь к Мандельштаму — спятивший миссионер, я читал кому-то его стихи. По счастью, в соседних показаниях была зафиксирована любовь к Маяковскому. За Маяковского Мандельштама мне и скостили — баш на баш.

Уточнять, что моя любовь относится к раннему Маяковскому, я не стал.

Мозги были заняты другим. Как и всякого человека на моем месте, меня, разумеется, чрезвычайно интриговал главный вопрос: кто стукнул? И моя любознательность была удовлетворена самым замечательным образом.

…Кажется, летом 1981-го в наш полк прибыл свежеиспеченный замполит Седов. Родом он был из Москвы, чем порождал в моей расшатанной психике некоторую ностальгию. Все это я говорю исключительно в оправдание собственной лопоухости.

Кстати, о лопоухости.

За полгода до допроса я сидел в Ленинской комнате и читал свежую «Литературку», в которой некто, как сейчас помню, Н.Машовец топтал ногами автора Чебурашки. Я читал, ужасаясь. Мирное ушастое существо при ближайшем рассмотрении оказалось безродным космополитом, дезориентирующим советских детей. Бдительный Машовец сообщал всем заинтересованным органам, что не нашел у Эдуарда Успенского ни одного стихотворения о Родине, о хлебе, о гербе.

Это было невиданно даже по тем пещерным временам.

— Бред! — сказал я зачем-то вслух.

— Что бред? — с готовностью поинтересовался лейтенант Седов, на мое еврейское счастье, зашедший в Ленинскую комнату — видимо, почитать на сон грядущий классиков.

И я рассказал ему, что именно и почему считаю бредом.

А когда через полгода полковник сообщил мне, что в придачу ко всем грехам я неуважительно отзывался о гербе страны, у меня в голове наконец замкнуло, и я сказал:

— Ну, тут лейтенант Седов все перепутал!

— Ничего он не перепутал! — оборвал меня полковник — и осекся под артиллерийским взглядом майора. На сердце у меня стало легко: теперь я знал, откуда дует этот вонючий ветерок.

— Перепутал-перепутал, — сказал я.

После этого допрос ни шатко ни валко тянулся еще полчаса, но майор все ощутимее терял к нему интерес и вскоре ушел. Как ни прискорбно для моего самолюбия, на полновесную идеологическую диверсию я не тянул.

Оставшись со мной с глазу на глаз, полковник сразу помягчел. В отсутствие особиста полковник начал приобретать черты настолько человеческие, что я, осмелев, спросил напоследок: что он думает о замполите, который стучит на солдат?

— Дерьмо он, а не замполит! — с чувством ответил полковник. — Но ты, сержант, тоже хорош: ты же думай, кому что говоришь!

В точности повторив, таким образом, совет Вовки Тимофеева, полковник отпустил меня восвояси. Выходя, я посмотрел табличку на двери и ахнул: допрашивал меня… полковник Вершинин. О, господи… В Москву, в Москву!

Через несколько дней в полк вернулся из отпуска мой землячок-лейтенант. Увидев меня, он радостно протянул ладошку:

— Здравствуй!

— Здравия желаю, — ответил я. Седов удивился.

— Ты не подаешь мне руки?

Я был вынужден подтвердить его подозрение.

— Почему? — спросил он.

— А вы сами не догадываетесь, товарищ лейтенант? И он догадался!

— А-а, — протянул как бы даже с облегчением, — это из-за докладной?

— Из-за докладной, — подтвердил я. Слово «донос» мои губы не выговорили: трусоват был Ваня бедный…

— Так это же моя обязанность, — объяснил Седов, как если бы речь шла о выпуске боевого листка. — А вдруг ты завербован?

Я заглянул ему в глаза. В них светилась стеклянная замполитская правота, Он не издевался надо мной и не желал мне зла. Он даже не обижался на мое нежелание подать ему руку, готовый терпеливо, как и подобает идеологическому работнику, преодолевать мои интеллигентские предрассудки.

— Видишь, — сказал он, — проверили, отпустили; все в порядке. Поздравляю.

В слове «проверили» был какой-то медицинский оттенок. Меня передернуло.

— Разрешите идти?

Он разочарованно пожал плечами:

— Идите.

И я пошел — по возможности подальше от него.

Единственным реальным следом этой истории в моей жизни стала внезапная отправка из образцовой части на дивизионный хлебозавод и автоматическое снятие с лейтенантских сборов, благодаря чему я вернулся домой на две недели раньше, так и не став советским офицером.

За что я отдельно благодарен лейтенанту Седову, капитану Зарубенко, майору-артиллеристу и всем остальным бойцам невидимого фронта…

Крыса и опоссум

Всю юность я мучил литконсультантов стихами. Версификации эти были довольно вторичными: личный опыт отсутствовал начисто. За опытом я поехал в Забайкальский ордена Ленина военный округ и приобрел его там, пожалуй, даже чересчур — но насчет дозировки меня никто не спрашивал.

Когда я оклемался, ни о какой поэзии речи уже не шло — то, что я начал писать по возвращении «на гражданку», в восемьдесят третьем, было в чистом виде ябедой на действительность. Мне казалось важным рассказать о том, что я увидел. Я был уверен, что, если рассказать правду, что-то в мире существенно изменится.

Кстати, я уверен в этом и сейчас.

Рассказ, о котором пойдет речь, был чуть ли не первым из написанных мною армейских рассказов. Сюжет его прост. Перед самым моим дембелем личный состав армейского хлебозавода, где я дотягивал свой срок, поймал здоровенную крысу. Это событие изменило иерархию; крыса была ниже последнего салаги, и возможность безнаказанно замучить ее до смерти на целый день объединила всех, включая офицера, начальника хлебозавода.

За время службы я навидался всякого, но в этом эпизоде сошлось слишком много.

Спустя полгода я вынул из забайкальского апреля тот памятный день и положил его на лист бумаги. Я был молод, и следует снисходительно отнестись к моему желанию увидеть рассказ напечатанным.

В журнале «Юность» я получил на «Крысу» рецензию, которую считаю лучшей из возможных. Звучала рецензия так: «Очень хорошо, но вопрос о публикации не встает». По молодости лет я попытался получить объяснение обороту «не встает» и получил в ответ, что если встанет, то мне же хуже.

Засим мне было объяснено, что такое Главное политуправление.

Аналогичные разговоры со мной разговаривали и в других редакциях, а в одной прямо предложили этот рассказ спрятать и никому его не показывать. Но не убедили.

Тут я подхожу к самой сути истории.

В те годы я дружил с очаровательной девушкой. Ее звали Нора Киямова, она была переводчиком с датского и норвежского. По дружбе и, признаться, симпатии я давал ей читать кое-что из того, что писал. Дал прочесть и «Крысу».

— Слушай, — сказала Нора. — Хочешь, я покажу это Ланиной?

Ланина! Журнал «Иностранная литература»! Еще бы я не хотел…

Через неделю Нора сказала:

— Зайди, она хочет тебя видеть.

Я зашел в кабинет и увидел сурового вида даму. Несколько секунд она внимательно разглядывала меня из-за горы папок и рукописей. Мне было двадцать пять лет, и я весь состоял из амбиций и комплекса неполноценности.

— Я прочла ваш рассказ, — сказала Данина, — Хороший рассказ. Вы хотите увидеть его напечатанным?

— Да, — сказал я.

— В нашем журнале, — уточнила Ланина и поглядела на меня еще внимательнее.

— Но…

— Это будет ваш перевод.

— Как перевод? — спросил я. — С какого?

— С испанского, — без колебаний определила Ланина. — Найдем какого-нибудь студента из «Лумумбы»… Где у нас хунта? — перебила она сама себя.

— Гватемала, — сказал я, — Чили. Гондурас. Я был грамотный юноша.

— Вот, — обрадовалась Ланина, — Гондурас! Прекрасно! Переведем рассказ на испанский, оттуда обратно на русский. Солдаты гондурасской хунты затравили опоссума. Очень прогрессивный рассказ. Ваш авторизованный перевод.

Дорого я бы дал сейчас, чтобы посмотреть на выражение своего лица в тот момент.

— Ну? — спросила она. — Печатаем?

Я ответил, что никогда не бывал в Гондурасе. Я спросил, кто такой опоссум.

— Не все ли вам равно? — резонно поинтересовалась Ланина.

Я сказал, что мне не все равно, не говоря уже об опоссуме. Я забрал рукопись и ушел. Я был гордый дурень.

…В последний раз я пытался напечатать «Крысу» уже в 1992 году. Сказали: неактуально. Сказали: ведь в вашем рассказе речь идет о Советской армии, а теперь у нас создается новая, российская!

Конечно, конечно…

Спустя много лет я узнал, что Ланиной уже нет на свете. Я вспомнил ту нашу единственную встречу — и вдруг остро пожалел о неосуществленном переводе с испанского. Сейчас я

думаю: может быть, Ланина просто шутила? Говорят, это было в ее стиле — вот так, без единой улыбки…

Но то она, а я? Почему я не ударил тогда по гондурасской военщине? Какая разница, Иван или Хуан? Как я мог пройти мимо этой блестящей игры?

…Когда я уходил из редакции, Ланина предложила мне не торопиться — и подумать. Что я и сделал.

Сделал, правда, спустя шестнадцать лет — но ведь лучше поздно, чем никогда. И потом, Татьяна Владимировна сама просила меня не торопиться с ответом.

Приложение

Светлой памяти Татьяны Ланиной

Хулио Сакраментес*. ОПОССУМ

Гарнизонные склады находились в стороне от остальных казарм.

Надо было идти полкилометра вдоль колючей проволоки по раскисшей дороге — тогда только появлялись наконец металлические ворота воинской части. В ту сторону никто из солдат не шел. Шли прямо через дорогу — к дыре, проделанной в проволоке еще при прежнем гаудильо.

Шли и направо — через пару минут пути — проволока кончалась, дорога уходила в горы, к индейскому поселку, где жила, переходя от призыва к призыву, утеха солдатских самоволок толстая Хуанита.

Впрочем, речь не о ней.

Старшина Мендес допил чай и поднялся. Тут же поднялись и остальные — и по одному вылезли из мазанки, служившей сразу складом маисовых лепешек, кухней и местом отдыха.

Рядом с мазанкой, похлопывая на ветру парусиной, лежала новая палатка. Старую палатку лейтенант Пенья приказал снять и сдать на списание до обеда.

Ее прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Палатка стояла тут много лет.

— Можно? — спросил Глиста (когда-то мама назвала его Диего, но в армии имя не прижилось).

— Мочи, — сказал старшина Мендес.

Через пару минут, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело легла на землю.

— Л-ловко мы ее! — Рядовой Рамирес попытался улыбнуться всем сразу, но у него не получилось.

— Вперед давай, — выразил общую старослужащую мысль Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов. — Разговоры. Терпеть ненавижу.

Через полчаса палатка уже лежала за складом, готовая к списанию. На ее месте дожидались своей очереди гнилые доски настила и баки из-под воды.

Старшина Мендес, прикрыв веки, лежал за занавеской, спасавшей от москитов. Он думал о том, что до дембеля осталось никак не больше месяца; что полковник Кобос обещал отпустить

«стариков» сразу после приказа, и теперь главное было, чтобы штабной капитанишко Франсиско Нуньес не сунул палки в колеса. С Нуньесом он был на ножах еще с ноября: на светлый праздник Гондурасской революции штабист заказал себе филе тунца, а Мендес, при том складе сидевший, ему не дал. Не из принципа не дал, а просто — не было уже в природе того тунца: до Нуньеса на складе рыбачили гарнизонные прапорщики…

Между тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись и отодвинув занавеску, старшина увидел, как хлопает себя по ляжкам Глиста, как застыл с доской в руках Рамирес. Невдалеке сидел огромный даже на корточках Хосе Эскалон, а рядом гоготал маленький Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов.

— Давай сюда! — Лопес смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. — Скажи Кармальо — у нас в обед мясо будет!

Кармальо был поваром — он тер в палатке маис и, услышав снаружи свое имя, привычно сжался, ожидая унижения. Но было не до него.

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же зияла огромная нора. Рамирес отложил доску и присел рядом.

— Опоссум, — определил Хосе Эскалон.

Личный состав собрался на военный совет. Старшина Мендес обулся и подошел поучаствовать. Район предстоящих действий подвергся разведке палкой, но до водяной крысы добраться не удалось.

— М-может, нет его там? — с тревогой в голосе спросил рядовой Рамирес, пытаясь передать свою преданность всем сразу.

— Куда на хер денется, — отрезал мрачный Эрреро. Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

— Я придумал!

Лопес не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Глиста сиял.

— Надо залить его водой!

Эрреро просветлел, старшина Мендес самолично похлопал Глисту по плечу, а Лопес восхищенно выругался. Городской мат звучал в его индейских устах заклинанием: смысла произносимого Лопес не понимал, как научили, так и говорил.

Рамирес побежал за водой, следом заторопился Глиста.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась между сапог пинг-понговым шариком и была затоптана. В этот момент на территорию гарнизона вступил лейтенант Пенья. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, более ничего с тех пор не выражало.

— Вот, господин лейтенант. Опоссум, — уточнил старшина.

Круг раздвинулся, и лейтенант Пенья присел на корточки перед норой. Посидев так с полминуты, он оглядел присутствующих, и стало ясно, что против опоссума теперь не только количество, но и качество.

— Несите воду, — приказал лейтенант. Хосе Эс-калон хмыкнул, потому что из-за угла уже показалась нескладная фигура Рамиреса. Руку его оттягивало ведро.

Лицо лейтенанта Пеньи сделалось еще брезгливее.

— Быстрее давай, Рамирес гребаный! — Лопеса захлестывал азарт, а лейтенанта здесь давно никто не стеснялся. Виновато улыбаясь, Рамирес ковылял на стертых ногах, и у самого финиша его обошел с полупустым ведром Глиста.

— Я гляжу: ты хитрожопый, — заметил ему внимательный старшина Мендес.

— Так я чего? — засуетился Глиста. — Ведь хватит воды-то. Не хватит — еще принесу.

— Ладно. Бегом еще за пустыми ведрами… Через минуту к засаде на опоссума все было готово, и Лопес начал затапливать шахту.

Опоссум уже давно чувствовал беду — он не ждал ничего хорошего от света, проникшего в нору, и когда свет обрушился на него водой, опоссум понял, что настал его последний час.

Крик торжества потряс территорию.

Зверек, рванувшийся на волю от потопа, сидел теперь на дне высокой металлической посудины — мокрый, оскаленный, обреченный. На крик из палатки высунул голову повар Кармальо. Увидел все — и нырнул обратно.

Лейтенант Пенья смотрел на клацающее зубами, подрагивающее животное. Опоссум был ему противен. Ему было неприятно, что животное так хочет жить.

— Старшина, — сказал он, отходя, — давай решай с этим…

Калитка заскрипела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут опоссум перестал бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучал зубами. Там, наверху, решалась его судьба. Людям хотелось зрелищ.

Смерти оппосума надлежало быть по возможности мучительной. Суд велся без различия чинов.

— Ут-топим, а? — предложил Рамирес. Предложение было односложно забраковано Хосе Эскалоном. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось.

— Повесить сучару! — с оттягом сказал Эрреро, и на мощной шее его прыгнул кадык. Эрреро понимал всю затейливость своего плана, но желание увидеть опоссума повешенным внезапно поразило рассудок.

Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов, все это время сосредоточенно тыкал в морду опоссума прутиком, а потом поднял голову и, блеснув улыбкой, сказал:

— Жечь.

Приговор был одобрен дружным гиканьем. Признавая правоту Лопеса, Хосе Эскалон сам пошел за соляркой. Опоссума обильно полили горючим, и Мендес бросил Рамиресу:

— Бегом за поваром!

Рамирес бросился к палатке, но вылез из нее один. Виноватая улыбка будто приросла к его лицу.

— Он не хочет. Говорит: работы много…

— Иди, скажи: я приказал, — тихо проговорил старшина Мендес.

Лопес выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а опоссум ждет. Эрреро парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Хосе Эскалон высказался по национальному вопросу, хотя в Гондурасе давно не было евреев.

Тут из палатки вышел счастливый Рамирес, а за ним и Кармальо-индивидуалист. Пальцы повара нервно застегивали пуговицу у воротника.

— Ко мне! — рявкнул старшина Мендес и, когда Кармальо вытянулся по струнке рядом с ним, победительно разрешил:

— Лопес, давай!

Опоссум, похоже, давно все понял, потому что уже не стучал зубами, а, задрав морду, издавал жалкий и неприятный скрежет.

Лопес чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Опоссум умер не сразу. Вываленный из посудины, он еще пробовал ползти, но заваливался набок, судорожно открывая пасть. Собака, притащенная Лопесом для поединка со зверьком, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где, шмыгая носом, яростно тер маис повар Кармальо, молча вошёл Хосе Эскалон. Он уселся на настил, заваленный лепешками, и начал крутить ручку старого транзистора. Он занимался этим целыми днями — и по вечерам уносил транзистор с собой в казарму. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, бил на звук москитов — и светящаяся перекладинка полночи ползала туда-сюда по стеклянной панели.

Эрреро метал нож в стены нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть опоссума не утолила ее.

Рамирес растаскивал в стороны гнилые доски. Нежданный праздник закончился. Впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и сна,

в котором он был горд, спокоен и свободен.

Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел людей, с которыми свела его судьба на этом огороженном пятачке между гор.

Лейтенант Пенья, взяв свою дозу, лежал, истекая потом, на постели и презрительно глядел в потолок.

Старшина Мендес дремал на койке за занавеской. Голые коричневые ноги укрывала шинель. Приближадся обед. Солнце, намертво вставшее над горами, припекало стенку, исцарапанную датами и названиями индейских поселков. До дембеля оставался; месяц, потому что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» в первые же дни.

А опоссума, попинав для верности носком сапога, Лопес вынес, держа за хвост, и, поднявшись в поселок, положил посреди дороги, потому что был веселый человек.

1983-1999*.

** Хулио Сакраментес — псевдоним. Свое истинное имя молодой латиноамериканский автор вынужден скрывать, поскольку у власти в Гондурасе по-прежнему находится военщина.*

*** Рассказ «Опоссум» был опубликован в журнале «Иностранная литература» (№ 2, 2000).*

Автобиограффити

(часть вторая)

«Жаль, что вас не было с нами…»

За пару дней до демобилизации я стоял в Чите возле киоска «Союзпечати» — в сильном и приятном недоумении. В киоске, в свободной и легальной продаже, лежала пластинка с рассказом Василия Аксенова в исполнении автора.

На дворе стоял май 1982 года. Аксенов уже несколько лет был беглецом и вражьим голосом. Из московских магазинов давно исчезли его книги, его повести аккуратно выдирались из библиотечных подшивок… А в Чите, в сотне метров от обкома, продавалась эта пластинка.

Не дошла до этих мест политинформация со Старой площади. То ли чересчур большая страна, то ли слишком тяжелый маразм.

Здесь было бы элегантным сказать: уже тогда, стоя у киоска «Союзпечати», я почувствовал — советские времена на исходе. Но ничего такого я не почувствовал. Только приятный холодок в животе.

Аксенова к тому времени я видел только однажды: незадолго до своего отъезда в Америку он заходил к нам на Стопани, чтобы повидаться с Табаковым… Все это было в прошлой жизни. Какой будет моя новая жизнь, я, стоя у того киоска, совершенно не представлял.

Назад в будущее

Домой из Читы я вернулся странным маршрутом — через Казахстан. Не дождавшись самолета на Москву и не в силах более съесть ни одной «пайки», я полетел спецрейсом в Павлодар и уже оттуда, андижанским поездом, добирался до Казанского вокзала.

Психическая реабилитации после встречи с Советской армией проходила медленно. По целым дням я лежал на диване и слушал Второй концерт Рахманинова, Что-то есть в этой музыке, отчего хочется жить и за что не жалко умереть.

Но умереть не умереть (для самоубийства я человек чересчур легкомысленный), а жить мне в ту пору не хотелось. Вернувшись, я не застал ни своей девушки, ни студии Табакова, которую благополучно придушила фирма «Демичев и К°». Пытаясь нащупать хоть какой-то сюжет для последующей жизни, я начал встречаться с хорошими людьми из жизни прошлой. Зашел к Константину Рай-кину: он к тому времени убыл из «Современника» и работал у папы.

Мы договорились встретиться после спектакля; Костя вышел под руку с Аркадием Исааковичем — и я вторично, спустя семь лет, был представлен корифею. Костя напомнил папе про свой спектакль «Маугли», в котором тот мог меня видеть.

Райкин-старший вгляделся в меня и через паузу сказал:

— Я помню.

Разумеется, он меня не помнил, не с чего ему было меня помнить, но эта мастерски исполненная пауза сделала узнавание таким достоверным, что я почувствовал себя старым добрым знакомым Аркадия Исааковича.

Потом он пожал мне руку. Эту руку спустя пару часов я продемонстрировал родителям, предупредив, что мыть ее не буду никогда.

«Смешно…»

Костя делал в «Сатириконе» свой первый спектакль, и вскоре я познакомился с молодым драматургом Мишиным — его пьесу «Лица» как раз и должны были ставить.

На читку этой пьесы труппе я пришел в знакомый до сердечного нытья Бауманский Дворец пионеров. Кого только не видел этот Дворец — в тот день он дождался Аркадия Райкина: судьбу постановки, как и судьбу всего и всех в своем театре, решал, разумеется, лично Аркадий Исаакович.

Очень симпатичную пьесу Мишина читал Райкин-младший — автор сидел рядом, красный и напряженный. В нескольких метрах от него с неподвижным лицом сидел Аркадий Исаакович.

Меня бы на месте Мишина просто хватил кондратий.

Труппа смеялась до упаду; Райкин-старший слушал, как слушают панихиду. Он был строг и печален. Только в одном месте, когда хохот стал обвальным, Аркадий Исаакович приподнял бровь, прислушался к себе и тихо (и несколько удивленно) констатировал:

— Смешно.

Ноябрь-82

Работать после армии я пошел в городской Дворец пионеров. Это была попытка, вопреки Геродоту, войти вторично в ту же реку — правда, с другого берега… Теперь я был педагог.

И вот сидим мы как-то на общем комсомольском собрании, груши околачиваем, в трибуне бубнит чего-то наш освобожденный секретарь. Я играю в слова с милой девушкой из биологического кружка и размышляю, во что бы мне с нею поиграть дальше.

Тут дверь открывается, входит какой-то хрен и что-то шепчет секретарю. Тот прокашливается и говорит:

— Товарищи! Сегодня умер Леонид Ильич Брежнев.

Наступает тишина, но не трагическая, а какая-то технологическая. Все сидят и соображают, что в связи со всем этим следует делать. Ну, умер. Дальше-то что?

— Надо встать, что ли? — неуверенно произносит кто-то рядом. Помедлив, приподнимаем ненадолго зады.

— Садитесь, — говорит освобожденный секретарь. Опускаем зады. Ясно, что доиграть в слова уже не судьба. Собрание заканчивается.

Спустя пару дней вхожу в редакцию «Иностранной литературы»; в холле работает телевизор и рассказывает телевизор биографию товарища Андропова. Никому из слушающие от этого никакой радости, кроме одного человека. Этот человек спускается в холл сверху, со второго этажа редакции, с громогласным криком:

— Что я говорил? Мой пришел первым!

Они там тотализатор устраивали, интеллектуалы.

Лошадь «Константин Устинович» победила в следующем забеге. Впрочем, если бы не Горбачев, они бы успели перебывать в призах все…

Желание быть испанцем

Шел восемьдесят четвертый год.

Я торчал как вкопанный перед зданием ТАСС на Тверском бульваре. В просторных окнах-витринах светилась официальная фотохроника. На центральной фотографии — на Соборной площади в Кремле, строго анфас, рядышком — стояли король Испании Хуан Карлос и товарищ Черненко. Об руку с королем Испании Хуаном Карлосом стояла королева София; возле товарища Черненко имелась супруга. Руки супруги товарища Черненко цепко держали сумочку типа ридикюль. Но бог с нею, с сумочкой: лица!

Два — и два других рядом.

Меня охватил антропологический ужас.

Я не был диссидентом, я был вольнодумец в рамках, но этот контраст поразил меня в самое сердце. Я вдруг ощутил страшный стыд за то, что меня, мою страну представляют в мире и вселенной — эти, а не те.

В одну секунду я стал антисоветчиком — по эстетическим соображениям.

Мало выпил…

В том же восемьдесят четвертом я сдуру увязался за своими приятелями на Кавказ. Горная романтика… Фишт… Пшеха-су… Как я вернулся оттуда живой, до сих пор понять не могу. Зачем-то перешли пешком перевал Кутх, а я даже спортом никогда не занимался. Один идиотский энтузиазм…

Кутх случился у нас субботу, а ранним утром в воскресенье мы вывалились на трассу Джава—Цхинвали и сели поперек дороги, потому что шагу больше ступить не могли. Вскоре на горизонте запылил грузовик — это ехал на рынок торговый люд.

Не взяв ни рубля, нас вместе с рюкзаками втянули под брезент. Войны еще не было, сухого закона тоже; у ближайшего сельпо мужчины выскочили из грузовика и вернулись, держа в пальцах грозди пузырей с огненной водой.

А я был совершенно непьющий, о чем немедленно предупредил ближайшего грузина.

— Не пей, просто подержи, — разрешил он, передавая мне полный до краев стакан.

И встав в полный рост в несущемся на Цхинвали грузовике, сказал:

— За русско-грузинскую дружбу!

И я, не будучи ни русским, ни грузином, все это зачем-то выпил.

Чья-то заботливая рука всунула мне в растопыренную ладонь лаваш, кусок мяса и соленый огурец. Когда ко мне вернулось сознание, стакан в другой руке опять был полон.

— Я больше пить не буду! — запротестовал я. Грузин пожал плечами — дело хозяйское — и сказал:

— За наших матерей!

В Цхинвали меня сгружали вручную — как разновидность рюкзака.

Но сегодня, после всего, что случилось в тех благословенных краях за двадцать лет, я думаю: может быть, я мало выпил тогда за русско-грузинскую дружбу?

Свадьба бабушки и дедушки

…состоялась, пока я был в армии. Вот как это было.

Дед, старый троцкист, лежал в больнице для старых большевиков (старым большевиком была бабушка). При переоформлении каких-то больничных бумаг у бабушки и попросили свидетельство о браке, и тут выяснилось, что дедушка — никакой бабушке не муж, а просто сожитель.

В двадцать пятом году они забыли поставить в известность о переменах в своей личной жизни родное государство, отмирание которого все равно ожидалось по причине победы коммунизма. Но коммунизма не случилось, а в 1981-м лечить постороннего старика в бабушкиной партийной больнице отказались наотрез.

Делать нечего: мой отец написал за родителей заявления и понес их в ЗАГС.

Отец думал вернуться со свидетельством о браке. Фигушки! В ЗАГСе бабушке с дедушкой дали два месяца на проверку чувств.

За пятьдесят шесть лет совместной жизни бабушка с дедушкой успели проверить довольно разнообразные чувства, но делать нечего — проверили еще.

Потом — как вступающим в брак в первый раз — им выдали талоны на дефицитные продукты и скидки на кольца. Отец взял такси и привез стариков на место брачевания. Сотрудница ЗАГСа пожелала им долгих совместных лет жизни.

За свадебным столом сидели трое детей предпенсионного возраста.

«Крыса», впоследствии превратившаяся в «Опоссума», — была моим первым рассказом. Вернувшись из армии, я написал их еще два-три и, будучи нетерпеливым молодым человеком, сразу начал ходить по редакциям. От меня шарахались, но я был не только нетерпеливый — я был еще и жутко упрямый. Я писал всё новые тексты и, как подметные письма, оставлял их на столах редакций. Начавши с «Юности» и «Нового мира», в желаньи славы и добра я быстро докатился до «Искателя» и «Сельской молодежи».

Литконсультанты, как от преждевременных родов, берегли меня от ранних публикаций, за что задним числом я им очень благодарен. Но тогда, в середине восьмидесятых, при получении очередного «отлупа» только напитывался тайной злобой.

Рецензии, надо признать, я получал иногда совершенно немыслимые. «Вызывает раздражение финал, в котором герой противен», — сообщал один специалист по литературе. Другой (в этой же связи) прямо просил меня ничего больше не писать. Третий (году эдак в восемьдесят четвертом) сетовал на невысокий уровень авторских обобщений.

За высокий уровень обобщений в том году я бы уехал в Мордовию, лет на пять.

Консультант Боброва, обратив внимание на непривлекательность героя моего рассказа, нашла выход из положения — и посоветовала сделать героем кого-нибудь посимпатичнее, прямо указав на эпизодического персонажа из моего же рассказа.

Гораздо позднее я узнал об отзыве Николая Первого на «Героя нашего времени» — и был поражен сходством рекомендаций: государь император прямо советовал молодому литератору не морочить себе голову Печориным, а взять в герои, ко всеобщему удовольствию, Максима Максимыча…

Я, конечно, не Лермонтов, да и Боброва не Романов, но все равно приятно.

Дивные мне встречались редактора! Иногда казалось, их выводят в специальных питомниках. В каком-то смысле, впрочем, так оно и было: некоего товарища Свиридова, например, партия бросила на пост заместителя главного редактора журнала «Крокодил» непосредственно из системы МВД.

Ко времени нашего знакомства этот сумрачный здоровяк числился автором восьми книг, но, по моим наблюдениям, читал с трудом. Вообще система МВД наложила на его интеллект неизгладимый отпечаток.

Иногда, впрочем, на тов. Свиридова нападали гуманитарные настроения.

— Заведу собаку, — сообщил он как-то, зайдя в отдел. — Пса. Настоящий друг. Придешь домой — он тебе рад, хвостом виляет… Настоящий друг!

— А если укусит? — уточнил подчиненный.

— Убью на хуй… — без секунды раздумья ответил крупный литератор.

Когда на «планерке», при обсуждении одного стихотворения, я упомянул ассонансную рифму, тов. Свиридов прямо попросил меня не умничать.

Но не одним МВД жива была советская литература — юного Мишу Ляшенко на редакторскую тропу отрядил комсомол. Пользы от этого была прорва. Например, однажды Миша взялся отредактировать мой афоризм.

Первоначально нехитрое изделие это выглядело так: «Окурок — это сигарета с богатым жизненным опытом». Миша пообещал фразу «довести» и слово свое сдержал. «Доведенная» за полчаса литературного труда, фраза приобрела следующий вид: «Окурок — это сигарета, видавшая виды». Объяснять комсомольцу, чем парадокс отличается от описи, я не стал и попросту сбежал из редакции, пока *это* не опубликовали под моей фамилией…

Тут следует заметить, что дело происходило не в «Сельской молодежи» (бог ей судья, этой молодежи), а в «Литературной газете», в знаменитом некогда «Клубе 12 стульев».

Сик транзит глория мунди.

Блестящий дебют

Впрочем, вышеописанный комсомольско-милицейский фон был все-таки именно фоном, на котором еще очевиднее выделялись профессионалы. Несколько добрых людей из толстых журналов всячески поддерживали мою веру в то, что я имею некоторое право марать бумагу.

Меня «давали читать наверх», амортизировали отказы, говорили слова ободрения, предлагали приносить еще тексты. Я приносил, приносил и доприносился: один добрый человек пристроил в журнал «Искатель» мой довольно крупноформатный рассказ.

И вот, представьте себе, через какое-то время я обнаруживаю, что «Искателя» с моим рассказом в киосках нет! Предыдущие номера есть, последующие — есть, а тот, где дебютировал я, как корова языком слизала! И киоскерши говорят: что вы, его уж давно нет, все спрашивают именно этот номер…

Я задыхался от сердцебиения: первая публикация — и сразу такой успех!

Есть такое понятие: проснуться знаменитым. Я несколько дней подряд знаменитым засыпал. А через неделю, совершенно случайно, узнал: именно в этом номере «Искателя», впервые в Советском Союзе, был напечатан роман классика английского детектива Хедли Чейза…

Из-за чего и случился ажиотаж.

Можно так поступать с человеком, я вас спрашиваю?

«Все только начинается…»

Существо всеядное, я чего только не писал; даже, наглец, переводил Шекспира (штук десять сонетов, как с куста!); наконец, по примеру Александра Иванова, очень популярного в те годы, втравился в стихотворный фельетон.

Именно такого рода мой текст впервые и напечатали в «Литературке».

Дело было в феврале 1984 года. Я открыл газету — и увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом. Я закрыл газету, переждал сердцебиение и открыл ее снова. Фамилия была на месте! Этот фокус в тот день я проделал еще несколько раз: никак не мог нарадоваться.

Потом я ехал в метро — и ежели видел у кого в руках «Литературку» (в те годы ее еще читали), то старался понять, не ту ли самую полосу изучает пассажир. Если да — начинал ревниво всматриваться в лицо… И горе было этому человеку, если он не смеялся!

Первый успех страшно меня ободрил, и вскоре я затоварил «Клуб 12 стульев» своими текстами по настольные лампы, продолжая наращивать объемы. Из счастливого стахановского состояния меня вывел заведующий «шестнадцатой полосой» Павел Хмара: однажды он тактично обратил мое внимание на то, что мои «пародии» по силе комизма не выдерживают конкуренции с оригиналом.

Возразить было нечего: обитатели родимых парнасов от чистого сердца писали иногда такое, что переплюнуть это было невозможно.

И тогда я принес Хмаре уже не пародию, а практически заявление в суд.

История этого сюжета такова. Роясь, по выражению поэта, «в окаменевшем говне» советских литературных журналов, я обнаружил в одном из них опус Сергея Михалкова. Опус назывался «Советы начинающему поэту». Я прочел эти советы и испытал чувство, пережитое Оста-пом Бендером наутро после того, как вслед за Пушкиным он написал «Я помню чудное мгновенье». Я понял, что где-то уже читал что-то очень похожее по содержанию — правда, гораздо более изящное по форме.

И вспомнил где. И достал с полки томик Библиотеки Всемирной Литературы. И принес в «ЛГ» «Два документа и элегию».

«Документ №1.

Раймон Кено, перевод Мих.Кудинова

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звезд, немножко перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз, и два,
И много, много раз все это.
Теперь — пишите!
Но сперва
Родитесь все-таки поэтом.

Документ №2
Сергей Михалков

СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЭТУ

Как мне помочь своим советом
Тому, кто хочет стать поэтом?
Чтоб написать стихотворенье,
Помножь желанье на терпенье…

В целях экономии места опускаю несколько строф пыльных банальностей, следовавших в столбик вслед за первой. Заканчивалось стихотворение так:

Вот мой совет. Но и при этом
Сперва, мой друг, родись Поэтом!

Элегия (уже моего производства) звучала так:

Лысеют бывшие ребята,
Бурьяном зарастает сквер,
А дядя Степа — плагиатор,
Хоть в прошлом — милиционер…

Хмара прочитал это и сказал: — Замечательно.

И вернул мне листок. Я спросил: как насчет того, чтобы это напечатать? Павел Феликсович посмотрел на меня, как на тяжелобольного, и сказал:

— Виктор! Это Михалков. Я сказал: ну и что?

Хмара посмотрел на меня так, как будто я только что, на его глазах, с рожками на плоской голове, вышел из летающей тарелки.

— Вы молодой человек, — сказал наконец Павел Феликсович, — у вас всё только начинается…

Сказавши это, Хмара замолчал, но я почему-то понял его так, что, если произведение будет напечатано, у меня всё может тут же и закончиться. Скорее всего, он был прав.

Впрочем, с высоты нынешнего знания о советской литературе, замечу, что обвинение в плагиате было некорректным: гимнописец, скорее всего, не читал ни Раймона Кено, ни собственный текст в «Авроре». Сварганил все это потихому какой-нибудь литературный негр с михалковских плантаций, — так что, как говорится у юристов, обвинение нуждается в переквалификации.

А в общем, конечно, я нарывался — и не исключено, что нарвался бы, но тут случилась перестройка. Яд, накопленный мною к двадцати восьми годам, понадобился аптекам, и меня начали помаленьку публиковать.

Рубка «хвоста»

Отделом «Сатиры & юмора» в «Московском комсомольце» заведовал в те годы Лев Новоженов — человек меланхолический и к суете не склонный. Он брал у меня из рук рассказик, знакомился с содержанием первого абзаца, потом сразу заглядывал в последний, заодно получая представление о размере текста, и, откладывая листки в сторону, сообщал:

— Сдам в четверг.

Мое честолюбие рвалось наружу, мне надо было, чтобы меня оценили, похвалили…

— Лева! — просил я. — Прочти!

— Ну чего я буду это читать? — резонно отвечал Лева. — Я же вижу: хороший рассказ…

Хороший не хороший, но если на верстке выяснялось, что текст не влезает в полосу, его сокращали простым арифметическим способом: отсчитывали лишние знаки с конца рассказа и ставили точку в том месте, где отсчет заканчивался. У газетчиков эта процедура называется «рубить хвосты».

Когда эдаким образом мне отрубили однажды «хвост» по самые уши, я потерял пиетет и возопил. Лев Юрьевич хладнокровно переждал авторскую истерику и поинтересовался:

— Фамилию твою набрали правильно?

— Да, — вынужден был признать я.

— Ну вот, — удовлетворенно произнес Новоженов. — Сегодня еще сто тысяч человек узнают, что ты есть. Скажи спасибо.

И я благодарил Новоженова и учился у него относиться ко всему философски… Но, кажется, так и не выучился.

Эстрада ждет

Насчет правильно набранной фамилии — Новоженов как в воду глядел.

Году эдак в восемьдесят четвертом случилось одно из первых моих выступлений: на окраине Москвы, в парке имени Дзержинского.

Дзержинского там как раз не хватало. Придя за кулисы, я обнаружил там пьяного в зюзю конферансье — москонцертовского детинушку в розовой рубахе. Детинушка явно нуждался в расстреле.

— Старик, — сказал он, когда я втолковал ему, что в числе прочих приглашен выступать. — Как тебя объявить?

Видя состояние товарища по эстраде, я печатными буквами написал в тетрадке свое имя и фамилию, выдрал лист и отдал его в нетрезвые руки. Конферансье прочел и сказал:

— Это мало.

— Нет-нет, — торопливо заметил я. — Совсем не мало. Больше ничего не надо!

— Старик! — ответил детинушка и, приобняв, обдал меня запахом, свойственным этой местности. — Ты не волнуйся, я тебя объявлю. Это моя работа — подать артиста публике…

И он меня подал.

— Выступает! — торжественно крикнул детинушка, как будто за кулисами ждал выхода как минимум Кобзон. — Лауреат премии журнала «Крокодил», лауреат «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты», лауреат…

Минуты за полторы он напророчил все звания, которые мне предстояло получить в ближайшее десятилетие, и закончил:

— Виталий Шендрякевич!

Напутствие

Минимум раз в неделю в те годы я приходил в «МК» — и не только к Новоженову. Через пару дверей по тому же коридору в «Комсомольце» работал Александр Аронов.

Простенькая песенка «Если у вас нету тети…», мигом ушедшая в народ после выхода «Иронии судьбы», не сделала всенародно известным ее автора: он поразительным образом не умел — или не хотел — быть знаменитым. Поэзия Аронова — мощная, самобытная (как невозможно было ни с кем перепутать и самого Аронова: кряжистого, похожего на сильно выросшего тролля), — еще ждет своего часа. Хорошему стихотворению некуда торопиться, но — прочтите «Когда горело гетто…», прочтите «1956 год» и удивитесь, что вы прожили десятки лет, не зная ни этих стихов, ни фамилии их автора.

История, однако, не про стихи, а про вполне практическое напутствие, которое дал мне Аронов перед моей женитьбой (невеста обитала в том же редакционном коридоре).

— Жениться, — сказал он, — нужно один раз. Каждая следующая жена хуже предыдущей!

И блистательно развил этот тезис.

— Ей не можешь простить не только ее недостатков, но и отсутствия достоинств предыдущих жен…

«Не делайте этого…»

Однако и первая же моя свадьба чуть было не расстроилась уже в ЗАГСе.

Мы пришли подавать документы и сели заполнять бумажки в кабинете у какой-то государственной тети. Пока мы писали, тетя включила радио, и радио строго сказало:

— Не делайте этого, и скажите своим друзьям, чтобы этого не делали!

Наши руки дрогнули и замерли над заявлениями.

Через пару секунд выяснилось, что речь идет о разрушении муравейников.

Еще через минуту зловредное радио запело:

«Нам дворцов заманчивые своды

Не заменят никогда свобо-оды!»

Сцендвижение

Между тем — между первыми выступлениями, первыми публикациями, женитьбой и работой во Дворце пионеров — я начал преподавать в театральном институте предмет под туманным названием «сценическое движение».

Случилось все само собой и, как говорится, не было бы счастья… Из армии я вернулся в некондиционном виде: опухший от воды и капусты и забывший, что такое обычный кувырок через голову. Не имея в виду ничего, кроме физической реабилитации, я начал ходить на тренинг в Щукинское театральное училище — к родному со студийных времен Андрею Дрознину.

Тело в человеческое состояние возвращалось неохотно. Зато, что гораздо важнее, началась реабилитация психическая: я снова был при деле, при людях, при театре… Занятия Дрознина были интеллектуальным наслаждением. Его многочисленные ученики не дадут мне соврать: он гнул тела, постоянно атакуя мозги. Один из самых парадоксальных и штучных людей, которых послала мне щедрая судьба, Андрей Борисович всегда был немножко миссионером.

Что же касается собственно тренинга, то, будучи, так сказать, «дембелем» табаковской студии, курс упражнений я, разумеется, знал наизусть. И как-то само собой получилось, что стал Дрознину ассистировать.

Однажды его куда-то вызвали с занятий, и, убегая, он оставил меня за себя. Как сказано у О.Генри, песок — неважная замена овсу, но провести разминку я был уже в состоянии. Ну и пошло-поехало. В один прекрасный день я провел с первым курсом целое занятие.

Потом судьба пошла на второй круг — Табаков набрал в ГИТИСе новый курс, и я начал преподавать в той самой «Табакерке», где: провел юность. Впоследствии я работал на курсах Гончарова, Хейфеца, Захарова, Фоменко… — и полы в помещении тира, где проходили занятия по сцендвижению, крепко пропахли и моим потом.

Педагог я был, полагаю, на крепкую троечку, не выше, — зато сегодня, поймав в разговоре фамилию какой-нибудь звезды театра и кино, имею право небрежно кинуть: а, да-да… мой ученик.

Щербаков

В восемьдесят восьмом году я работал во МХАТе. Звучит нагловато, но тем не менее факт: пластические номера в одном тамошнем спектакле — моих рук дело. Особого следа в театральном искусстве ни я, ни этот спектакль не оставили, зато — какие воспоминания!..

Главную мужскую роль играл ныне покойный, замечательный Петр Иванович Щербаков. И, по замыслу режиссера, он должен был танцевать с народной артисткой Гуляевой некое танго. Я придумал совсем простенький рисунок, но добиться его исполнения от двух народных артистов не мог, хоть убей! Во-первых, Петр Иванович был не Барышников, и Нина Ивановна тоже не Плисецкая, но это полбеды. Терпенье и труд, как говорится…

Опытным путем я выяснил, что если с двумя народными артистами «пройти» танго три раза подряд, то на четвертый они начинают попадать в нужную долю, и проблема, таким образом, заключалась в том, чтобы этот четвертый раз приходился на спектакль.

Но добиться этого было совершенно невозможно.

На мой трудовой энтузиазм народные артисты реагировали добродушно, однако на репетицию перед прогоном из нас троих приходил я один. День сдачи спектакля приближался. Я начинал вибрировать.

После очередной такой «репетиции», видя мое состояние, Петр Иванович подошел ко мне сам.

— Маэстро, — сказал он, — ты не волнуйся. Мы же артисты. На сдаче все сделаем… Вот увидишь!

Отчасти слово свое Щербаков сдержал: я увидел. К сожалению, не я один.

Общего художественного уровня, впрочем, танец не понижал, и на четвертом часу просмотра Олег Ефремов тоскливо прокричал из зала:

— Давайте как-то заканчивать эту бодягу!

Худруку МХАТа было легче — он должен был отсмотреть произведение один раз, и гори оно огнем.

— Маэстро, — сказал Щербаков. — Ты, главное, не волнуйся. На премьере мы тебя не подведем.

— Давайте пройдем хоть пару раз! — взмолился я. Щербаков приобнял меня за плечи.

— Маэстро, на премьере все будет замечательно. Мы же артисты!

К премьере они действительно резко прибавили, но к танцу это не относилось. И я понял, что — не судьба. Только время от времени еще приходил на спектакли — и потом являлся Петру Ивановичу за кулисами. Я работал тенью отца Гамлета месяца полтора; различие заключалось в том, что я ничего не говорил, а лишь тоскливо смотрел.

При крупном телосложении Щербаков был тонким человеком.

— Знаешь, маэстро! — сказал он мне наконец. — Ты не приходи. Когда тебя нет, мы танцуем замечательно. Зал аплодирует, честное слово! Спектакль останавливается! А когда я знаю, что ты смотришь, я волнуюсь, — сказал народный артист и лауреат всего что можно безвестному ассистенту по пластике. — Не приходи!

И я перестал приходить. Но через пару месяцев, вредный мальчик, все ж таки тихой сапой проскользнул в зал ближе к девяти часам вечера, как раз к злосчастному номеру. Никто из артистов не знал, что я в театре, и чистота эксперимента была обеспечена. Я знал, что чудес не бывает, но по мере приближения к танго сердце забилось учащеннее. Когда на сцене заиграл патефон, я подумал: а вдруг?..

Ничего не вдруг.

Народный артист Щербаков и народная артистка Гуляева станцевали, что бог послал, умело миновали мой пластический рисунок — и устремились к финалу. Откланявшись после спектакля, Петр Иванович вышел за кулисы и увидел меня…

— Маэстро! — воскликнул он и развел руками. — Ты! Черт возьми! А я чувствую: что-то мне сегодня мешает!

«Марат-Сад»

Так, сокращенно, называется пьеса Петера Вайса, полное имя которой выговорить, не задохнувшись, почти невозможно: «Преследование и убийство Жана Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада».

Замечательный Ефим Табачников ставил пьесу в Нижнем Новгороде, а я был у него ассистентом по пластике.

Славное это было время. Однажды репетиция была прервана появлением помрежа с криком:

— Там Сахаров говорит!

И все побежали к телевизору, стоявшему за кулисами. Шел Первый съезд Советов народных депутатов…

Страна менялась каждый день, но, слава богу, есть люди, которым нет необходимости меняться, чтобы совпасть с новым временем. Любое время может смело сверять себя с ними и сокрушаться несовпадению.

Маркиза де Сада играл Вацлав Янович Дворжецкий — отец двух блистательных и, увы, тоже покойных ныне артистов: Владислава и Жени. Сам Вацлав Янович тоже был артистом недюжинным, но прежде всего поражал человеческим величием.

Это было именно величие, притом подкрепленное физическими данными. Когда этот почти восьмидесятилетний человек пожимал руку, ладонь потом некоторое время болела. Огромные голубые и как будто детские глаза, в сочетании с биографией, делали его совершенно неотразимым.

А биография у Дворжецкого-старшего была что надо.

Я, разумеется, знал, что Дворж, как все его называли, был репрессирован — но кто не был репрессирован? Поражали подробности. Однажды, когда кто-то из молодых высказался насчет того, что, мол, сажали ни за что, Дворж довольно надменно заметил:

— Это их ни за что, а меня — за дело!

Он был арестован в двадцать девятом году в Киеве как участник кружка «Группа освобождения личности». Каково?

И какая честь — знать, что тебя арестовали за дело!

Без разнарядки

В восемьдесят шестом черт дернул меня подать документы в аспирантуру ГИТИСа.

Сдавши на пятерки специальность и что-то еще, я доковылял до экзамена по истории партии. (Другой истории, как и другой партии, у нас не было.)

Взявши билет, я расслабился, потому что сразу же понял, что сдам на пять. Первым вопросом была дискуссия по нацвопросу на каком-то раннем съезде (сейчас уже, слава богу, не помню, на каком), а вторым — доклад Андропова к 60-летию образования СССР.

Я все это, как назло, знал и, быстренько набросав конспект ответа, принялся слушать, как допрашивают абитуру, идущую по разнарядке из братских республик.

У экзаменационного стола мучалась девушка Лена. Работники приемной комиссии тщетно допытывали ее о самых простых вещах. Зоя Космодемьянская рассказала немцам больше, чем Лена в тот вечер экзаменаторам. Проблема экзаменаторов состояла в том, что повесить Лену они не могли: это был ценный республиканский кадр, который надо было принять в аспирантуру.

— Ну, хорошо, Лена, — сказали ей наконец, — вы только не волнуйтесь. Назовите нам коммунистов, героев Гражданской войны!

— Чапаев, — сказала Лена, выполнив ровно половину условия.

— Так. — Комиссия тяжко вздохнула. — А еще?

— Фурманов, — сказала Лена, выполнив вторую половину условия. Требовать от нее большего было совершенно бесполезно. Комиссионные головы переглянулись промеж собой, как опечаленный Змей Горыныч.

— Лена, — сказала одна голова. — Вот вы откуда приехали? Из какого города?

— Фрунзе, — сказала Лена.

Змей Горыныч светло заулыбался и закивал всеми головами, давая понять девушке, что в поиске коммуниста-героя она на верном пути.

— Фрунзе! — не веря своему счастью, сказала Лена.

— Ну, вот видите, — сказала комиссия. — Вы же все знаете, только волнуетесь…

Получив «четыре», посланница Советской Киргизии освободила место у стола, и я пошел за своей пятеркой с плюсом.

Мне не терпелось возблагодарить экзаменаторов за их терпение своей эрудицией.

Первым делом я подробно изложил ленинскую позицию по национальному вопросу. Упомянул про сталинскую. Отдельно остановился на дискуссии по позиции группы Рыкова—Пятакова. Экзаменаторы слушали все это, мрачнея от минуты к минуте. К концу ответа у меня появилось тревожное ощущение, что я рассказал им что-то лишнее.

— Все? — сухо поинтересовалась дама, чьей фамилии я, к ее счастью, не запомнил. Я кивнул. — Переходите ко второму вопросу.

Я опять кивнул и начал цитировать доклад Юрия Владимировича Андропова, крупными кусками застрявший в моей несчастной крупноячеистой памяти. Вывалив все это наружу, я посчитал вопрос закрытым. И совершенно напрасно.

— Когда был сделан доклад? — поинтересовалась дама. Я прибавил к двадцати двум шестьдесят и ответил:

— В восемьдесят втором году. В декабре.

— Какого числа? — уточнила дама.

— Образован Союз? Двадцать второго.

— Я спрашивала про доклад.

— Не знаю. — Я мог предположить, что доклад случился тоже двадцать второго декабря, но не хотел гадать. Мне казалось, что это непринципиально.

— В декабре, — сказал я.

— Числа не знаете, — зафиксировала дама и скорбно переглянулась с другими головами. И вдруг, в долю секунды, я понял, что не поступлю в аспирантуру. И забегая вперед, скажу, что — угадал. В течение следующих двадцати минут я не смог ответить на простейшие вопросы. Самым простым из них была просьба назвать точную дату подписания Парижского договора о прекращении войны во Вьетнаме. Впрочем, если бы я вспомнил дату, меня бы попросили перечислить погибших вьетнамцев поименно.

Шансов не было. Как некогда говорил нам, студийцам, Костя Райкин: «Что такое страшный сон артиста? Это когда тебя не надо, а ты есть».

Я понял, что меня — не надо, взял свои два балла и пошел прочь.

Через год, запасшись *разнарядкой,* в аспирантуру я все-таки поступил, но уже как-то по инерции… Я писал каждый день, рассказ за рассказом, и с каждым днем все больше понимал, что хочу заниматься только этим.

Начальственный окоп

Однажды к нам, молодым литераторам, ненадолго зашел большой лит. начальник, Феликс Кузнецов. Типа перестройка…

Творческая молодежь, боясь спугнуть свое счастье, осторожно покатила бочку на существующий порядок вещей. На невозможность пробиться к читателю, на рабскую зависимость литературы от номенклатуры…

Кузнецов с полчаса брезгливо терпел эти ламентации, а потом сказал:

— Я слушаю вас и вот о чем думаю… Сегодня — годовщина битвы под Москвой. Сорок пять лет назад мы с поэтом Сергеем Викуловым, с винтовками-трехлинейками в руках, лежали в окопах, защищая столицу… Мы защищали Родину, защищали вас. А вы — все только о себе да о себе… Подумайте о Родине! И ушел.

Много раз с тех пор я наблюдал (на себе в том числе), как парализует державное хамство. Встанет эдакий номенклатурный кадавр, заговорит голосом Родины, начнет хлестать тебя по щекам от имени ветеранов войны, и ты, внук погибшего на той войне, будешь сидеть, отводя глаза и глотая слова…

Ни с какой трехлинейкой ни в каких окопах Кузнецов, разумеется, отродясь не лежал. В сорок первом ему было десять лет.

Возрастная категория

А еще из того собрания мне запомнилась реплика Вячеслава Пьецуха.

— Мне сорок два года, — сказал он, — я уже с тревогой смотрю в сторону кладбища, а все молодой писатель…

Внедрение в литературу

В конце восьмидесятых в пансионате «Березки» происходило Совещание (именно так — с прописной буквы) молодых советских писателей. Я там был, мед-пиво пил. По результатам Совещания должны были раздавать цацки: рекомендации в Союз, письма в издательства, дававшие право на прохождение рукописи при жизни автора… Приглашенные в «Березки» автоматически становились будущим советской литературы.

Но особо одаренным было невтерпеж.

Вечером третьего дня не сильно молодой писатель по фамилии, ну, скажем, Сеструхин, начал агитацию среди товарищей. Целью операции было скорейшее внедрение в литературу.

— Идти на полставки, — инструктировал Сеструхин, — садиться в редакции, брать отделы…

— Зачем? — спросил кто-то. В сумерках голоса звучали вполне конспиративно.

— Печататься, — лаконично отвечал Сеструхин. — Пора вытеснять сорокалетних!

Стоял летний вечер. Стрекотали кузнечики, плыла луна. Молодые писатели, скучковавшись вокруг лидера поколения, мысленно прикидывали свои возможности по вытеснению сорокалетних.

— Иначе не пробиться, — говорил Сеструхин.

Он был похож на уцененного Пестеля. Революционный пафос его речей оборачивался скучной правотой короеда. Чтобы преодолеть цензуру, предлагалось стать ее частью.

Здравая сеструхинская идея была пошловатой (как большинство здравых идей), и все-таки — за нескрываемой личной обидой виделись забитые рукописями столы, грезились невидимые миру слезы, вечные истины, ждущие своего часа под спудом безвременья, практически из-под глыб…

— Миша, — спросил я, — а много ли у тебя написано? Сеструхин пошевелил губами, глядя в закатное небо, что-то перемножил в уме и ответил:

— Тыщ на двадцать!

Семинаристы

Семинар сатиры и юмора на том Совещании вели трое: Андрей Яхонтов, Андрей Кучаев и Леонид Лиходеев. О Яхонтове, пожалуй, умолчу, а знакомство с Кучаевым и Лиходеевым — это счастливый лотерейный билет, вытащенный мною на легкую руку.

На кучаевский семинар я попал за четыре года до того, в 1984 году. Андрей Леонидович был для меня прежде всего автором рассказа «Мозговая косточка», от которого я помирал со смеху еще в незапамятном детстве: про дядю и племянничка Михрютку — может, помните? Знакомое имя материализовалось в крупного мрачноватого мужчину, похожего скорее на боксера-полутяжа, чем на юмориста.

Обучение Кучаев начал с нокаута, и все, кто вышли на этот ринг в статусе гениев (а кто не гений по молодости лет?), очень скоро начали расползаться по углам.

Условия тренировок были предельно жесткими: человек читал вслух — остальные слушали. Чаще всего слушали молча, хотя изначально произведение считалось юмористическим, то есть предполагался смех…

Принято говорить, что «легкий жанр» — жанр самый трудный, и это, наверное, правда. Но почему? Я знаю ответ: потому что он самый честный! У поэта или новеллиста успех отделен от провала полутонами — глубиной дыхания, качеством зрительской тишины, длиной аплодисментов… А юморист обязан рассмешить! Не рассмешил — проиграл, и твое поражение безусловно. Как, впрочем, и твоя победа — потому что нельзя, отхохотавшись, заявить: не смешно.

Удач на нашем семинаре, за несколько лет, я вспомню не больше десятка. Замечательный рассказ Георгия Заколодяжного «Река», стилизации Феди Филиппова, стихи Сергея Сатина…

Успехи помню все; провалы были нормой. Автор заканчивал читку в тишине, а к концу обсуждения проклинал тот день и час, когда взял в пальцы ручку.

Последним обычно говорил Кучаев.

Меня за семинарское время он похвалил только пару раз, но некоторые его формулировки я запомнил как рецепты и пользуюсь ими уже двадцать лет. Но главное, конечно, не рецепты. Кучаев помогал пишущему понять себя, осаживал самодовольных, жестко стыдил за потерю вкуса. Безжалостно лечил литературную местечковость, заставлял увидеть свой текст в большой координатной сетке. Работаете в жанре черного

юмора? Отлично. Что читали Хармса? Роальд Даль, Борис Виан? В первый раз слышите? Поговорим, когда прочтете.

Андрей Леонидович уже много лет живет в Германии. В Москве появляется нечасто. Я по-прежнему прислушиваюсь к его оценкам — и испытываю пожизненную благодарность.

Почему смешно?

С Леонидом Лиходеевым я познакомился чуть позже — в 1988 году, на том самом Совещании в «Березках». Я, конечно, знал, с кем имею дело: фельетонами Лиходеева страна зачитывалась в первую оттепель — собственно говоря, он и вернул в русскую литературу этот жанр.

Симпатия и уважение к Леониду Израилевичу были у меня наследственные: мой отец приносил ему на пробу свои тексты еще в конце пятидесятых… А сам я в личном обучении у классика был всего один день — тот самый день Совещания молодых писателей.

Разбор моих текстов Лиходеевым помню дословно. Впрочем, запомнить было нетрудно.

— Вот смотрите, — сказал классик, взявши в руки мои листки. — Над этой шуткой — смеялись, а над этой — нет. Почему?

Я не знал.

И тогда он сам ответил на свой вопрос:

— Потому что это — правда, а это — нет. Смешно то, что правда!

Все гениальное просто. Полтора десятка лет я прикладываю лиходеевскую мерку к текстам — своим и чужим — и всё больше убеждаюсь в ее точности. Смешно то, что правда… Непременно парадоксальная, но обязательно — правда!

Юморина-89

В апреле 89-го я положил в чемодан белую рубашку и несколько машинописных листков — и устремился на юг, на конкурс молодых писателей-сатириков, объявленный по случаю разбушевавшейся перестройки, на «Юморине» в Одессе.

Перед этим, впрочем, пришлось пройти отборочный тур в Туле. Отбирала победителей публика, и воспоминание об этом до сих пор продирает меня крупной дрожью. Ибо желание понравиться публике любой ценой это то, от чего мучительно, первым делом, отучивают студентов театральных институтов. Для литератора такой критерий — вообще смерть. Там, где оценивается не текст, а способность, как говорят суровые профессионалы жанра, «положить зал», — мало шансов у Зощенко или даже Вуди Аллена.

Гениальные исключения (Жванецкий) лишь подтверждают жутковатое правило (см. «Аншлаг»).

Писал я на ощупь, об эстрадном хлебе имел представление самое смутное и до сих пор благодарен тулякам, позволившим мне вскочить на подножку поезда: я занял третье место — последнее, позволявшее поехать в Одессу.

А победил в том отборе, а потом и на конкурсе — блестяще и без вопросов — рижанин Борис Розин. Зачем ему (автору текстов Геннадия Хазанова и признанному профессионалу) понадобилось участие в этом состязании, так и осталось для меня загадкой.

Наутро мы завтракали в гостиничном буфете, и выяснилось, что Розин только что вернулся из Монреаля и вскоре уезжает туда насовсем. Двухнедельное пребывание в мире, где мостовые моют мылом, окончательно сорвало и без того желчного Бориса с советской резьбы.

С трудом удерживая себя от мордобоя, Розин корректным голосом терроризировал официантку. Его интересовало: почему на скатерти пятна, почему на столе нет салфеток, а у вилки отломан зубчик, почему к нам сразу не подошел *менеджер*… Менеджер — в восемьдесят девятом году, в гостинице в Туле, представляете?

Когда Розин полюбопытствовал, почему официантка не улыбается, я понял, что бить морду, и в самое ближайшее время, будут — нам…

Нельзя человека непосредственно из Монреаля пускать в Тулу, это опасно — для Тулы в первую очередь.

Впрочем, Борис был прекрасен и до всякой Канады. Геннадий Хазанов вспоминал, как однажды (в глубоко советское время) он

пригласил Розина прокатиться вместе с собой не то в Подольск, не то в Серпухов — выступить, а заодно и пообщаться.

Оттуда прислали машину — и они поехали. И когда съехали со стратегического шоссе собственно в Россию и машину затрясло по колдобинам, рижанин Боря вежливо осведомился у шофера:

— Простите, а что: вчера бомбили?

Шофер поглядел на Борю из зеркальца дикими глазами.

Гран-при

Места в жюри конкурса по случаю полнейшей демократизации были открыты для всех. Там сидели журналистка, банкир, советский работник, редактор радио… Обидно, что никак не были представлены железнодорожники и работники ГАИ.

Но! — председателем жюри был Григорий Горин.

В полной тишине я прочитал довольно изящный и чудовищно длинный рассказ. Впоследствии Горин утверждал, что я бормотал свой опус, глядя на него с некоторым вызовом: мол, вы тоже не умеете толком стоять на эстраде, а сидите в жюри!

Я этого не помню — я вообще ничего не помню; кажется, я был без сознания…

Горин, как выяснилось впоследствии, хотел дать мне первое место, но журналист, банкир, советский работник и редактор радио видели меня в гробу; в результате компромисса я стал лауреатом. Будучи гражданином молодым и амбициозным, я жутко переживал по поводу своего пятого места. Оно казалось мне поражением.

Я вернулся в Москву, а через какое-то время мне начали звонить из редакций и интересоваться моими текстами. Это было для меня внове (до тех пор редакции своими текстами терроризировал я сам). Как-то вдруг начали приглашать на выступления в человеческие места… Я шел по следу и раз за разом обнаруживал, что мое имя называл и рекомендовал ко мне присмотреться — Горин.

Только тут до меня дошло, что я получил на одесском конкурсе настоящий «гран-при»: внимание и симпатию Григория Израилевича…

ПРИЛОЖЕНИЕ

Этот текст был написан в марте 2000 года: Григорию Израилевичу только что исполнилось 60 лет…

Горин

«Писать о Горине трудно. Виною этому пиетет — чувство, не прошедшее за десять лет личного знакомства. Откуда бы?

В нашем бойком цехе, где принято, без оглядки на возраст, называть друг друга сокращенной формой имени в уменьшительно-ласкательном варианте, Горин твердо остается Григорием Израилевичем. Он, конечно, отзовется и на Гришу, но раньше у меня закаменеет язык и пересохнет гортань.

Потому что он, конечно, не чета нам, сухопутным крысам эстрады и ТВ. Горин давно отплыл от этих гнилых причалов. С командорской трубкой в зубах он возвышается на капитанском мостике и вглядывается вдаль.

Перед ним — необъятные просторы мировой драматургии и всемирной истории. Он плывет туда, где бушуют настоящие страсти, — и там, на скорости пять драматургических узлов, как бы между прочим ловит рыбку-репризу.

Она идет к нему в сети сама, на зависть нам, юмористам-промысловикам, в это же самое время, в разных концах Москвы, мучительно придумывающим одну и ту же шутку ко Дню милиции.

Завидовать тут бессмысленно, ибо шутка у Горина — это результат мысли, и блеск его диалогов — это блеск ума. Этому нельзя научиться. То есть научиться, конечно, можно, но для начала необходимо выполнение двух условий. Во-первых, надо, чтобы черт догадал вас родиться в России с душой и талантом, но при этом еще и евреем с дефектом речи. А во-вторых, чтобы все это, включая дефект речи, вы сумели в себе развить — и довести до совершенства.

Чтобы всем окружающим захотелось стать евреями, а те из них, кто уже, чтобы пытались курить трубку в надежде, что так будет глубокомысленнее, и начинали картавить в надежде, что так будет смешнее… Будет, но недолго.

Потому что в инструкции одним черным записано по белому — «с душой и талантом».

Горин, конечно, давным-давно никакой не писатель-сатирик.

Эта повязка — сползла. Или, скорее, так: Горин — сатирик, но в старинном качестве слова. Его коллегой мог бы считать себя Свифт — и думаю, не погнушался, особенно если бы прочел пьесу про самого себя.

Выдержав испытание театром и телевидением, горинская драматургия выдержала главное испытание — бумагой. Горина очень интересно читать! Прислушиваясь к себе и сверяя ощущения. Вспоминая.

Помню, как я ахнул, в очередной раз прилипнув к телеэкрану — «Мюнхгаузена» показывали вскоре после смерти Сахарова, и еще свежи были в памяти скорбно-торжественные речи секретарей обкома с клятвой продолжить правозащитное дело в России. Я будто бы впервые увидел вторую серию этой ленты — и поразился горинскому сюжету, как пророчеству.

Григорий Израилевич чувствует жизнь, он слышит, куда она идет — и умеет написать об этом легко, смешно и печально. Поэтому, как было сказано по другому поводу у Бабеля, он Король…»

Ему оставалось жить три месяца. Тем проклятым летом я часто вспоминал печальное ахматовское: «Когда человек умирает, изменяются его портреты»…

Зиновий Гердт говорил про Андрея Миронова: «После смерти Андрюша стал играть еще лучше». Конечно, лучше! Смерть устаканивает масштабы; прочищает восприятие… Как говорил Фигаро, время — честный человек…

Блестяще одаренный при жизни, после смерти Григорий Горин стал писать гениально.

Два редактора

Редактором моей первой книжки — в 1990 году, в библиотечке журнала «Крокодил» — должен был стать Александр Моралевич, фельетонист от бога, человек блестящий и едкий.

Едкость эта стоила ему, разумеется, недешево. Рассказывают: как-то в разгар застоя он сдал очередной фельетон и уехал в отпуск на Черное море. Купил там свежий номер «Крокодила» — фельетона нет. Александр Юрьевич позвонил в редакцию уточнить, что случилось. Секретарша главного сказала: читают. Фельетон не вышел и в следующем номере. Моралевич позвонил. Секретарша сказала: еще читают…

Тогда Моралевич пошел на ближайший черноморский телеграф и послал в издательство «Правда», в журнал «Крокодил», на имя главного редактора телеграмму-молнию следующего содержания: «Напоминаю вам зпт что русский алфавит состоит из следующих букв двтч А зпт Б зпт В…»

Дошел до конца алфавита и подписался.

Надо ли говорить, что большой карьеры в советской журналистике этот человек не сделал?

Ко мне Александр Юрьевич отнесся с приязнью — и во внутренней рецензии на мою рукопись рекомендовал ее к публикации, причем в довольно смелых выражениях. Вот что надо печатать в библиотечке «Крокодила», написал Моралевич, а не то говно, которое мы издаем.

После такой рекомендации моя книжка была немедленно передвинута с текущего года на будущий, Моралевича от работы отстранили, а редактировать меня взялся лично главный редактор «Крокодила» Алексей Пьянов.

Алексей Степанович подошел к работе ответственно и начал книжку улучшать, изымая из нее тексты, портившие, по его мнению, общее впечатление от молодого автора. Молодой автор, пошедший на четвертый десяток, будучи евреем, торговался, как цыган.

Один текст, впоследствии довольно известный, стал поводом для любопытнейшего диалога…

Приложение

«И КОРОТКО О ПОГОДЕ

В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене — 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне — 18, в Париже и Праге — 19, в Антверпене — 20, в Женеве — 21, в Мадриде — 22, в Риме — 23, в Стамбуле — 24, в деревне Гадюкино — дожди.

Во вторник по всей Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье — виндсерфинг, в Швейцарских Альпах — фристайл, в деревне Гадюкино — дожди.

В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо — в Венеции, деревню Гадюкино — смоет.

Московское время — 22 часа 5 минут. На «Маяке» — легкая музыка…»

— Виктор! — сказал главный редактор «Крокодила», ознакомившись с судьбой вышеозначенной деревни. — Это совершенно оскорбительная вещь. У нас в стране шестьдесят процентов населения живут в сельской местности. Они не виноваты, что живут так плохо.

Будучи человеком осторожным, я не стал выяснять у Пьянова, кто же в этом виноват, а забормотал что-то в том смысле, что вещица вообще про другое написана. Не про низкий уровень благосостояния в сельской местности.

— А про что? — заинтересовался руководитель единственного в стране сатирического журнала.

Тени Ключевского и Чаадаева встали по углам редакторского кабинета. Я заговорил о странной судьбе России, о ее замкнутости в себе, о метафизической оторванности от мира…

— Ну что вы, Виктор! — доброжелательно и мягко прервал меня Алексей Степанович. — Какая оторванность? Я только что вернулся из Канады…

Хазанов

«Деревня Гадюкино» изменила мою судьбу.

Летом 89-го, за кулисами ДК имени Владимира Ильича, я подстерег Геннадия Хазанова и подсунул ему, заодно с другими листками, листок с этим текстом.

Перезвонив в назначенный день, я очнулся в новом статусе. Очень хорошо помню этот момент: вешаю трубку в подземном переходе на Пушкинской, оборачиваюсь… мимо идут ничего не подозревающие люди… а у стеночки, эдак скромно, как простой смертный, стою я — автор текстов Геннадия Хазанова!

Разумеется, я быстро сошел с ума.

Я и раньше полагал, что я человек способный, но когда мои тексты начал оптом скупать Хазанов, я начал свысока поглядывать на памятник Гоголю.

Я писал и приносил еще, и Хазанов снова это покупал…

Большую часть купленного Хазанов так никогда и не исполнил. Только через несколько лет я понял: Геннадий Викторович просто оказывал мне посильную гуманитарную помощь, заодно привязывая к себе перспективного автора прочными материальными нитями. Благосостояние мое, что и говорить, изменилось в тот год довольно заметно, но привязал меня к себе Хазанов не гонорарами.

Он поразил меня серьезностью разбора. Эстрадные тексты Геннадий Викторович пробовал на «станиславский» зуб, хорошо знакомый мне по театральному институту. Персонаж тут говорит это, а потом поступает так. Почему? Мотивы, социальный портрет, психологическая правда…

Эта разборчивость была особенно заметна на цеховом фоне, который я успел неплохо разглядеть: как только по цеху прошел слух о новом хазановском авторе, мне начали делать предложения.

— Виктор! — говорила мне одна звезда союзного значения. — Ты талантливый парень! Напиши мне текст, чтобы зрители умерли.

Я с готовностью поинтересовался, каким образом мы могли бы достичь предлагаемого эффекта. Может быть, есть какой-то сюжет?

— Какой на хуй сюжет? — удивилась звезда.

— Ну, может быть, персонаж? — пытался зацепиться я.

— Какой на хуй персонаж? — закричала звезда. — Просто чтобы они сложились, блядь, впополам и сдохли!

Я был не против того, чтобы зрители сложились впополам и

сдохли, но без сюжета и персонажей делать этого не умел. Надеюсь, никогда и не научусь. А на хазановские концерты в ту пору я начал ходить через день, наслаждаясь хохотом на своих текстах. Впрочем, Хазанов мог, кажется, прочесть телефонную книгу, попутно обнаружив там и сюжет, и персонажей.

С сентября 1989 года он начал возить меня с собой на гастроли. Первая из них врезалась мне в память основательно…

Встреча с народом

В Полтаве не было дождя полтора месяца — весь запас воды природа приберегла на день хазановского концерта под открытым небом. Публика, собравшаяся за час до, стояла под отвесно бьющими потоками и не уходила — это был разгар перестройки…

Наступили времена, когда ради хорошего текста стоило и промокнуть до нитки, и высохнуть до костей. Времена эти начались еще, впрочем, до Горбачева…

Отступление: Жванецкий

КАК? ВЫ НЕ БЫВАЛИ НА БАГАМАХ? НУ, ГРУБО ГОВОРЯ, НЕ БЫВАЛ…

Зато я был в Пярну летом восемьдесят второго года.

Пять пополудни; плотная толпа полуголых людей обоего пола, стянутых, как магнитом, со всего пляжа к кассетнику на песке. Внутрь не пробиться. Можно только всунуть ухо между чужих подмышек и замереть там в попытке расслышать текст.

И ЧТО СМЕШНО? МИНИСТР МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕСТЬ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫГЛЯДИТ.

В море не идет никто. Одинокий мужчина средних лет, плещущийся там с утра, не в счет: он либо глухой, либо уже спятил. А мы, нормальные люди обоего пола, завороженные ритмичным течением смешной русской речи, остаемся стоять, сидеть и лежать на песке в ожидании теплового удара, боясь только одного: пропустить поворот мысли, образующий репризу.

И КОРАБЛЬ ПОД МОИМ КОМАНДОВАНИЕМ НЕ ВЫЙДЕТ В НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ… ИЗ НАШИХ НЕ ВЫЙДЕТ!

Кто это? Кто? Как фамилия?

Объем талии, рука с рукописью на отлете и клубящийся лукавством глаз — эти подробности обнаружились позже, а тогда, в восемьдесят втором, — только голос, только ритм; это невозможное уплотнение языка, с пропусками очевидного, с синкопами в самых неожиданных местах…

И ВЪЕХАТЬ НА РЫНОК, И ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ СПРОСИТЬ: СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?

Они столько лет просили, чтобы писатели были ближе к народу, и вот, кажется, допросились: этот, из кассетника, был ближе некуда. Он был внутри народа. Меченый атом эпохи, он, хохоча и рыдая, метался по общей траектории.

И НАМ, СТОЯЩИМ ТУТ ЖЕ, ЗА ЗАБОРОМ…

Человек из кассетника говорил «мы» — он имел на это право, ибо нашел слова для того, что мы выражали жестами. Обидно было слушать его в одиночестве — не хватало детонации; славно было слушать его в раскаленный день, будучи плотно зажатым среди своего народа. Народа, выбирающего между прохладным морем и голосом из кассетника — голос!

Пляж в Пярну летом восемьдесят второго года — место и время самого потрясающего успеха, который я когда-либо видел своими глазами…

Хазанов (продолжение)

…Вода стояла стеной, но публика не расходилась, и Хазанов; вышел на сцену. Ему построили бесполезный навесик с микрофоном на стойке, — но что делать под навесиком артисту эстрады? Хазановский костюм мгновенно потемнел; Гена метался от края к краю по подмосткам размером с футбольное поле; микрофон начал бить током, и Гена замотал его стебель носовым платком.

Потом на сцену со своими листками вышел я. Прежде чем я успел открыть рот, листки с текстом превратились в бумажную кашу. Надо было продержаться до конца хазановского антракта, и я начал судорожно вспоминать собственный текст, благо пишу недлинно.

Певческое поле, где происходило дело, вмещало восемь тысяч человек, и смех доходил до меня в три приема: сначала из первых рядов, потом из темноты в глубине. Когда, переждав вторую волну реакции, я начинал говорить снова, меня накрывала третья волна — пришедшая уже откуда-то совсем издалека.

Потом началось второе отделение. Тропический ливень не прекращался. Хазанов, как боцман во время шторма, управлялся с этим стонущим от смеха кораблем. После нескольких номеров на бис, мокрый и изможденный, он наконец покинул палубу, и пассажиров немедленно смыло.

Потом был Барнаул. Пятитысячный ледовый Дворец спорта, забитый под завязку. В первых рядах сидел обком — эти лица видно невооруженным глазом за километр, и в любом регионе — это одни и те же лица. Все первое отделение, стоя у дырочки в заднике, я любовался теткой с партийной «плетенкой» на голове, сидевшей прямо по центру. Презрительно поджав губы, она покачивала головой: какая пошлость, как не стыдно! И так — два часа.

Билеты на концерт, где, по случаю перестройки, уже говорили гадости про партию, в обкоме еще выдавали бесплатно, и не попользоваться напоследок халявой они не могли. Страдали, а наслаждались.

Времена были замечательные: при звукосочетании «ЦК КПСС» в зале начиналась смеховая истерика, ставропольский акцент сгибал людей впополам…

Счастливое единство артиста и народа вскоре перешло в новое качество: на сцену, прямо во время номера, выполз трудящийся с початой бутылкой водки и бутербродом. Он радостно воскликнул «Генаша!» и полез лобызаться.

Что делает в такой ситуации нормальный человек? Вызывает милицию или дает в глаз сам. Что делает эстрадный артист? Включает чудовище в предлагаемые обстоятельства. И Хазанов присел на корточки и начал с трудящимся разговаривать, превращая это стихийное бедствие в номер программы. Зал подыхал от смеха.

Лицом Хазанова, когда он вышел со сцены, можно было пугать детей. Проходя мимо меня, он выдохнул:

— Это не имеет отношения к театру. Это коррида. Потом на сцену вышел я со своими листочками. Ливня не было, было хуже. На шестой минуте моего выступления в зале, ряду в девятом, открыл глаза внеочередной гегемон, кармический брат того, с бутербродом. Некоторое время перед этим гегемон дремал, потому что было уже два часа пополудни воскресенья, а забываться он начал с пятницы.

Открыв глаза, гегемон обнаружил на сцене вовсе не того еврея, за которого заплатил двадцать пять рублей. Он понял, что его надули, встал и, обратившись ко мне, громко сказал:

— Уйди!

Хорошо помню полуобморочное состояние, наступившее в ту же секунду. Такой контакт с народом случился у меня впервые, и, признаться, я был к нему не готов. Готов был Хазанов. Выйдя на сцену после антракта, он первым делом поинтересовался у публики:

— А кто это сейчас кричал?

Публика, предчувствуя номер сверх программы, немедленно гегемона заложила: вот он, вот этот!

— Встаньте, пожалуйста, — попросил Хазанов. И тот встал!

— Вы постойте, — попросил Гена, —а я вам расскажу историю.

История, рассказанная Хазановым

В одном немецком театре шел «Ричард Третий»:

— Коня! Полцарства за коня!

— А осел не подойдет? — громко поинтересовался вдруг какой-то остроумец из публики.

«Ричард» ненадолго вышел из образа и, рассмотрев человека в партере, согласился:

— Подойдет. Идите сюда…

Хазанов (окончание)

Барнаульский зал грохнул смехом (как грохнул, полагаю, и тот немецкий), и Гена, схарчив гегемона живьем, продолжил программу…

Мы с ним путешествовали и дружили шесть лет. Потом наши профессиональные пути разошлись; потом разошлись пути человеческие… Но об этом я ни писать, ни вспоминать не хочу. А те шесть лет были для меня и огромной школой, и радостью.

Лидеры

Осень восемьдесят девятого, совхоз под Ленинградом. До выступления перед тружениками села нас решили познакомить с жизнью коров.

И вот — огромное, на полторы тыщи голов, коровье гетто, жуткая вонь, тоскливое мычание… Экскурсию ведет парторг совхоза, сыплет цифрами удоев… Наконец, наглядевшись на обтянутые кожей скелетины, я неосторожно интересуюсь: а как их кормят? И как вообще организовано это питание?

Тут парторг мне застенчиво так отвечает:

— Там есть корова-лидер.

— То есть? — не понял я.

— Ну-у… — Парторг помедлил, не зная, как еще объяснить, и наконец решился. — Она всех от кормушки отталкивает и жрет сама.

С тех пор я знаю, что такое лидер.

Серпом по молоту

Много лет спустя один мой приятель увидел на сельпо объявление о грядущем совхозном собрании. Одним из пунктов повестки значилось: «Последствия сева».

Как о стихийном бедствии.

Кстати, о стихийном бедствии. Будучи младшим сержантом в Забайкальском военном округе, я стал свидетелем дивной картины: в совхозе, располагавшемся неподалеку от нашей воинской части, гулял народ. Трезвых не было. В опустошенном сельпо давно кончилась закуска; у калиток стояли ведра с самогоном. Родители, покачиваясь, ложились на землю рядом с детьми, бывшими в отрубе уже давно.

Природное любопытство заставило меня поинтересоваться причиной этих народных гуляний. Оказалось: наводнение. Местная речка очень кстати разлилась и затопила все посевы. Решением областной власти, совхозу по такому случаю был закрыт план и выплачены премиальные.

Это было через год после наступления коммунизма, осенью 1981-го.

Прикрепление

А году эдак в восемьдесят восьмом, в составе делегации Союза театральных деятелей, я полетел в Иркутск — провести семинар по сценическому движению в местном театральном училище.

Ну, семинар семинаром, а есть-то надо! Зашел я в кафе-столовку на улице, что ли, Карла Маркса (а может, на проспекте Энгельса? — в общем что-то такое, сугубо иркутское), а еды нет. То есть вот тебе за рупь — раскляканные пельмени с рассыпающейся горчицей, два куска несвежего черного хлеба, кофейный напиток — и приятного аппетита! Из магазинов выпадали наружу очереди за тем же хлебом и молоком. Этот Иркутск и впрямь был на полпути к Северной Корее…

Пару дней живем эдак, а потом директор театрального училища интересуется: как мы в бытовом смысле, все ли нормально, как питание? Ничего, отвечаем, вот в кафе ходим… Директору даже поплохело: какое, говорит, кафе? Мы же вас *прикрепили* !.

Оказывается, все эти дни мы должны были питаться в обкоме, который к тому времени уже полвека стоял посреди города на месте взорванного храма. И мы пошли пообедать, напоследок, в обком.

Милиционер, пропуская, посмотрел недобро — фейс-контроль я бы у него не прошел никогда, но у меня был волшебный пропуск. Спустились в буфет, сели за стол. Накрахмаленная официантка подошла сразу, накрыто было мгновенно…

И случился у меня обкомовский обед из пяти блюд! Язык с хреном, помидоры с лучком и сметаной, рассольник с олениной, омуль с рассыпчатой картошечкой с укропом — и компот. Компота потом принесли второй стакан.

И что интересно — все это стоило тот же рупь.

Вернулся я в столицу нашей Родины — а тут как раз какой-то Пленум или уже партконференция, черт их душу знает… Короче, когда товарищ Лигачев, тряся седым чубом, вскричал с трибуны: «Мы не можем отдать наши завоевания!» — я вдруг сразу его понял.

А раньше, признаться, все недоумевал. Все думал: о чем это они?

А тут — как вспомнил обкомовские подвалы, набитые едой, посреди издыхающего города, так в один момент проникся партийной болью. Действительно, глуповато им было бы отдавать

эти завоевания…

Да они, собственно, и не отдали.

В защиту Егора Кузьмича

Кстати. Как-то раз жена принесла в дом котенка, отбитого у юных пионеров. Юные пионеры пытались замуровать его в подвале нашего блочно-панельного дома. Котенок был бело-серенький, и некоторое время жил в нашем доме безымянно, пока не обнаружилось, что он не дурак приналечь на молоко и другие сельхозпродукты. Тогда за успехи в поедании всего, что плохо лежит, и тягу к здоровому образу жизни животное было названо Егором Кузьмичом (дело было в восемьдесят девятом году).

А дочке нашей в том году исполнилось три года. По интеллекту она стремительно приближалась к новому обитателю квартиры, а по физическому развитию несколько его опережала, что не всегда учитывала в процессе совместных игрищ. Котенок улепетывал от нашей девочки, но она настигала его, и тискала в порыве любви, и швырялась подушками…

Однажды жена строго выговорила юной Валентине, пригрозив, что если тиранство над Егором Кузьмичом не прекратится, мы его кому-нибудь отдадим. Дочь выслушала угрозу, насупившись.

Педагогическая мина рванула в самый неожиданный момент: через день наш ребенок, что называется, на ровном месте, вдруг зарыдал в голос на все метро. Испуганная жена, обнимая дитятко, не понимала, в чем дело, пока дочка не взмолилась на весь вагон:

— Мама-а! Я не буду больше бить Егора Кузьмича-а-а! Жена утверждает, что пассажиры посмотрели с уважением.

Практический склад ума

На досужий вопрос: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» — после походов с мамой по магазинам в девяностом году, наша четырехлетняя дочь ответила вполне рационально:

— Многодетной матерью. Им продукты дают…

Поэтический склад ума

В эти же годы она, только приступившая к версификации, сочинила вполне жизнерадостное приложение к Продовольственной программе партии:

«А пока, а пока
Будем кушать облака!»

«Вольво»

Меж тем кончалась советская власть. Кончалась очевидно — покамест бескровно, но очень мучительно. Влажным пронзительным ноябрем 90-го меня подвозил по каким-то делам мой приятель Юра. Бывший инженер, он по первой горбачевской отмашке ушел в бизнес. Впереди у него было семь с половиной лет строгого режима, полученные от неподкупной российской Фемиды (у Юры не хватило денег ее купить); этот сюжет я расскажу чуть позже…

А осенью 1990-го Юра заехал за мной на «Вольво». За рулем «Вольво» сидел шофер. Мы толчками продвигались в пробке, мимо булочной, вдоль угрюмой зябкой очереди, ждавшей вечернего завоза хлеба. Люди внимательно и недобро смотрели в затененные стекла иномарки, ползшей вдоль них, — и я, чуть ли не в первый раз в жизни находившийся внутри, вдруг кожей почувствовал: вот они так постоят, постоят, а потом просто подойдут и перевернут «Вольво».

Призрак гражданской войны висел в воздухе той влажной осенью, и стоило ненадолго оказаться в теплой иномарочной утробе, чтобы почувствовать это по-настоящему…

Песня

В вышеописанное время — когда советская власть в стране еще была, а еда уже кончилась, — я со своим юмором поехал по совхозам. Вместе со мной, иллюстрируя известный постулат насчет горы и Магомета, тронулись в путь еще десять голодающих артистов: за пару-тройку концертов для тружеников села нам обещали по несколько десятков яиц, по три курицы и залейся молока.

Деньгами в ту осень можно было заинтересовать только нумизматов.

Среди фокусников, дрессировщиков и прочих мастеров искрометной шутки поехала по совхозам известная народная певица с двумя подручными баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную программу.

«Гляжу в озера синие…» — тянула певица, протягивая к народу белы рученьки ладошками вверх. Потом одну переворачивала ладошкой вниз и проводила ею направо, бесстыже любуясь воображаемыми просторами: «В полях ромашки рву…»

Отпев, она кланялась поясным поклоном, уходила за кулисы, снимала кокошник, вылезала из сарафана — и, отоварившись, мы ехали за следующими курицами.

Ехали в рафике, по классическому бездорожью — и певица, вся в коже, замше и драгметаллах, только что со своими кокошниками и баянистами вернувшаяся из Германии, в такт колдобинам повторяла:

— У, блядская страна!

Баянисты, покрякивая на ухабах, пили баночный «Хольстейн».

В следующем совхозе певица нацепляла кокошник, протягивала руки в воображаемые просторы — и все начиналось сначала:

— Зову тебя Россиею…

И через полчаса, на очередной рытвине:

— У, блядская страна!

Из-за совпадения ритмики это звучало как вариант куплета.

Жизнь и судьба

В перестроечные времена молодая журналистка приехала брать интервью у никому не известного скульптора. Чрезмерно известным, впрочем, был главный персонаж его творчества: скульптор всю жизнь лудил «лукичей». В кепке и без кепки. Указующих направление и слушающих «Аппассионату». Сидящих на скамеечке. Говорящих речь. Всю жизнь — одни «лукичи».

Страна шла к коммунизму, «лукичами» предстояло наглухо заставить одну шестую земной поверхности, и благосостояние скульптора росло, но душа его рвалась из-под спуда в горние выси. Поэтому, когда грянула и набрала высоту перестройка, он сам позвонил в газету.

Захотелось поделиться наболевшим.

Приехала юная журналистка, и партийный Роден начал свою исповедь. О том, как советская власть иссушила его талант; как вместо того чтобы реализовывать божий дар (а в юности художника хвалили и Коненков, и Кербель), приходилось делать вот это…

Мастерская скульптора была заставлена лысыми уродцами всевозможных видов. На дворе, однако, уже стояла перестройка, солнце демократизации подрастопило идеологические снега, ручьи гласности вовсю журчали по обновляемой стране…

— Над чем вы работаете сегодня? — спросила журналистка.

Скульптор застенчиво улыбнулся и сказал:

— Пойдемте, покажу.

Они прошли в другую часть мастерской, к окну. Скульптор отодвинул занавеску.

— Вот…

На фанерном постаменте стоял бюстик Ленина.

У Маяковского: «что такое го-ро-до-вой?»

А вот как теперь объяснить поколению проколотых ноздрей, что такое «совок»? У меня, для пользы юношества, имеются два, по-моему, замечательных свидетельства.

Рассказ товарища по цеху. Начало девяностых, зима; пародист Александр Иванов прибывает в гостиницу, предположим, «Центральная» в городе N.

За неимением свободных рук входную дверь в гостиницу Сан Саныч лягает ногой. Дверь распахивается и со скрежетом застревает на неровно залитом цементном полу; Иванов, волоча в руках сумку и связку книг на продажу, а вешалку с костюмом для выступления прижимая к плечу чуть ли не ухом, направляется к стойке администратора.

И тогда швейцар, все это время сидевший на диванчике в нескольких метрах от входа, интересуется ему в спину:

— А дверь за тобой Пушкин закрывать будет?

Второй эпизод случился на гастролях в Минске, куда я приехал вместе с одним уездным театром. У театра в Минске была премьера, а я в том спектакле ставил пластические номера.

И вот сидим мы после премьеры в гостиничном номере, отмечаем, а в телевизоре, во главе группы дрессированных мулатов, скачет Майкл Джексон. И я, тыча пальцем в экран, дружелюбно говорю артистам: вот, смотрите, сволочи, что такое «синхронно»! Вот это, а не ваше — плюс-минус трамвайная остановка…

Пьяненькая заслуженная артистка Ч. поворачивается к телевизору, несколько секунд скептически смотрит на Джексона, затем хмыкает и говорит прокуренным голосом:

— Ха! Вы заплатите мне миллион долларов, я вам так станцую.

На пятой секунде того, что делал Джексон, она бы умерла. Она бы задохнулась, но перед этим у нее бы отвалились ноги и сошла с винта голова. Означенный миллион я мог бы истратить только на надгробие…

Но мысль о том, что во всем мире принят обратный порядок действий — сначала танцы, а потом назначение гонорара, — просто не приходила актрисе в голову.

Дети! Вы запомнили, что такое «совок»?

Курточка

Весной 91-го я участвовал в рижском фестивале «Море смеха». Заключительный концерт проходил в Доме офицеров, в двух шагах от вокзала, что было мне очень кстати. Я договорился, чтобы выпустили на сцену пораньше, и, выступив, рванул на московский поезд.

И в спешке оставил в гримерной комнате свою куртку.

Курточка была кожаная, дорогая сердцу и подходящая телу.

Из Москвы я дозвонился своему рижскому приятелю, и через какое-то время тот меня успокоил: куртка цела, вот телефон начальника Дома офицеров. Я не понял, зачем мне начальник Дома офицеров, но выяснилось: товарищ подполковник хочет сначала со мною поговорить.

Видимо, он решил удостовериться, что куртка моя, подумал я и с легким сердцем набрал номер. Но все оказалось гораздо серьезнее.

— Скажите, — спросил начальник рижского Дома офицеров, — это вы читали вчера «Письмо солдата»?

И я вдруг понял, что никогда не увижу своей курточки. Потому что «письмо» это со сцены действительно читал я…

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Дорогая мамочка!

Пишу тебе из воинской части номер *(вычеркнуто),* где два года буду, как последний *(вычеркнуто),* исполнять свою *(вычеркнуто)* почетную обязанность.

Живем мы тут хорошо. Так хорошо, что *(вычеркнуто до конца фразы).* Сержанты любят нас, как родных, и делают это, мама, круглые сутки.

Ты спрашивала о питании. Ну что тебе сказать? *(Вычеркнуто две страницы.)*

В увольнение мы ходим по городу *(вычеркнуто),* по улице Карла *(вычеркнуто)* и Фридриха *(вычеркнуто),* возле которых на горе *(вычеркнуто)* и стоит наш *(вычеркнуто)* полк.

С этой *(вычеркнуто)* горы через прицел хорошо видно границу нашей *(вычеркнуто)* Родины, и за ней, как сама понимаешь, *(вычеркнуто)* — и как они там бегают, за голову схватившись. Но мы, мамочка, в них не стреляем, потому что наш *(вычеркнуто)* полковник сказал: «*(вычеркнуто)* с ними, пускай еще побегают!»

Так что ты, мама, за меня не волнуйся, а пришли мне лучше*(вычеркнуто семь страниц).*

С боевым приветом, твой сын, рядовой *(вычеркнуто)* ».

— Это читал я, — признался я.

В трубке наступила удовлетворительная пауза. Потом вкрадчивый подполковничий голос спросил:

— Зачем же вы клевещете на Советскую армию?

Если бы не несчастный заложник — моя легкая, кожаная на подкладке курточка — товарищ подполковник был бы послан мною, самое близкое, в Забайкальский военный округ, на акклиматизацию. Но курточка была в руках у подполковника, а я, если вы еще не поняли, страшно корыстный человек.

— Это не клевета, — сказал я, стараясь сохранять достоинство, но не сжигать мосты.

— Как же не клевета? — поинтересовался товарищ подполковник.

— Это шутка, — сказал я самое глупое, что можно было сказать в этой ситуации. Но мой минус неожиданно помножился на минус в голове собеседника, и на том конце провода наступила тишина.

— Шутка? — переспросил наконец начальник Дома офицеров.

— Конечно, — боясь спугнуть свое счастье, сказал я.

— Точно шутка?

Информацию о том, что шутка — это заостренная разновидность правды, до товарища подполковника еще не довели.

— Ну, разумеется… — Тут я достал из головы довод убийственной силы. — Ведь это был вечер юмора!

Подполковник еще подумал и сказал:

— Тогда ладно.

И в тот же вечер вернул куртку моему рижскому приятелю.

Стук в дверь с благодарностью

В глубоко семидесятые годы Таня П. работала режиссером на ленинградском телевидении. Ее начальник, выпускник тамошнего культпросветучилища, партийный, разумеется, на всю голову, был человеком необычайной широты — и однажды, в ответ на Танину просьбу о прибавке жалованья (а пахала она сверх всяких профсоюзных норм) ответил так:

— Ты хоть понимаешь, что ты единственная еврейка на всем ленинградском телевидении? Ты не денег должна просить, а каждый день, когда приходишь на работу, стучать ко мне в кабинет, заглядывать и говорить «спасибо».

Не в силах выразить руководству своей благодарности за все, Таня эмигрировала в Израиль.

Прошло пятнадцать лет. Таня продолжала работать по специальности — телевизионным режиссером, на местном канале. Начальствовал там марокканец, бывший торговец фалафелем. Когда его руководство достало Таню по самое не могу и она попыталась встать поперек, марокканец сказал:

— Эй! Ты хоть понимаешь, что ты единственная русская на израильском телевидении? — И далее по тексту: про стук в дверь и ежедневное «спасибо». Таня утверждает, что почти дословно, хотя и на иврите.

Я думаю, их всех готовят в каком-то едином марсианском центре. У вас есть другие версии?

Товарищ Грекова

В начале 80-х я вел театральный кружок в Городском Дворце пионеров и школьников и в добрый час поставил там спектакль «До свиданья, Овраг!» — инсценировку замечательной повести Константина Сергиенко.

История о бездомных собаках, обитающих на окраине Москвы, заметно выпадала из репертуара Пионерского театра, насыщенного Михалковым и Алексиным. Первым это выпадение заметило партбюро отдела эстетического воспитания, руководимое тихой тетей из судомодельного кружка. Затем последовало партбюро Дворца пионеров.

Присутствовать на обсуждении собственного спектакля мне не разрешили, но приговор был передан дословно: «чернуха», «воспитание в детях жестокости» и «фига в кармане советской власти». Формулировки принадлежали директору Дворца пионеров Ольге Ивановне Грековой.

Спектакль не разрешили показать даже родителям маленьких артистов (видимо, боялись за родителей). Старенький партиец Израиль Моисеевич, руководивший фотокружком, при разговоре об «Овраге» переходил на шепот.

Прошло несколько лет, началась перестройка.

Уходя из Пионерского театра, я решил — из принципа или вредности, считайте, как хотите — «Овраг» восстановить. Моя первая «труппа» к тому времени давно выросла из ролей, подросли новые артисты, но текст и мизансцены я оставил неизменными.

В сущности, это был тот же самый спектакль.

И начались чудеса.

Перестроившийся худсовет проголосовал за «Овраг» единогласно. Тихая тетя из судомодельного кружка поздравляла меня с тем, что всё так хорошо закончилось. Старенький Израиль Моисеевич поздравлял тоже, но по-прежнему шепотом — он помнил, что бывает вторая волна репрессий.

Потом «Овраг» стал чего-то там лауреатом, потом был признан лучшим детским самодеятельным спектаклем года, а потом… О-о! Потом меня пригласили в Октябрьский горком КПСС для вручения грамоты «За успехи в коммунистическом воспитании подрастающего поколения». Я свято храню ее — с ленинским профилем в углу, с красными гвоздиками…

Вручала мне всю эту лепнину второй секретарь горкома КПСС Ольга Ивановна Грекова, Та самая, которая пять лет назад, находясь на должности директора Дворца пионеров, говорила про

чернуху и фигу в кармане советской власти — что интересно, по тому же самому поводу.

Холодный пот прошиб меня, когда я увидел Ольгу Ивановну и понял, что встречи не избежать. Мне было стыдно и тоскливо. Я съеживался и подумывал о побеге из зала, но не сбежал, и правильно сделал.

Товарищ Грекова дала мне урок исторического мышления.

Я-то, дурачок, думал, что бывшая директриса сделает вид, будто видит меня впервые, и по малодушию готовился ей в этом подыграть… Как бы не так! Встретившись со мною на сцене, второй секретарь Октябрьского райкома КПСС сказала: «Виктор, я очень, очень рада именно за вас!»

И крепко, со значением пожала мне руку.

В эту секунду мне вдруг почудилось, что мы с Ольгой Ивановной вдвоем боролись против темных номенклатурных сил эпохи застоя. Я понял, как сходят с ума. Я взял их грамоту и похоронные красные гвоздики и вернулся в зал, абсолютно опустошенный.

Она опять была права! Она была права, когда в андроповском 83-м закрывала мой спектакль, права, когда в горбачевском 88-м его же награждала…

Ольга Ивановна в полном порядке и сейчас.

Году эдак в 1999-м, уже глубоко при Ельцине, меня пригласили выступить на открытии какой-то синекуры типа Фонда помощи детям-сиротам при президенте России, специально подчеркнув, что руководит Фондом знакомая мне Ольга Ивановна Грекова и приглашение это — ее личная просьба. Что она меня помнит и ценит…

Как говорится, девушка без комплексов.

Выступать перед г-жой Грековой я отказался, но с удовольствием узнал, что Фонд располагается в просторном здании в центре Москвы. Недвижимость, аппарат, федеральное финансирование… За детей-сирот я спокоен.

Чем вы руководите при Путине, Ольга Ивановна?

Клиенты Фрейда

Настало время первых съездов народных депутатов, и наши партийно-хозяйственные боссы явились перед нами, наконец, в прямом эфире, во всей неотразимости естества. Я немедленно начал за ними записывать, и коллекция приняла эротический характер. Вот лучшее из услышанного в те годы:

Анатолий Иванович Лукьянов: «Мне товарищ Бирюкова дала два раза в письменном виде».

Николай Тимофеевич Рябов: «Ну вот: мы утром не приняли, и теперь у нас все повисло…»

И, наконец, звезда Востока, незабвенный Рафик Нишанович Нишанов: «У нас регламент: кончил, не кончил — три минуты, и все!»

Любовь к двум треугольникам

Летом 1988 года — о радость! — меня пригласили в Чехословакию.

Приглашение исходило от моего приятеля, комсомольского функционера (да, да!). В Татрах проходила Универсиада, и функционер отвечал за культурную программу от Союза Советских.

Долго упрашивать себя я не заставил, и чуть ли не в тот же день пошел искать *треугольник* *.

** Справка для юных читателей: треугольник — это фигура, образуемая главой администрации, парторгом и профоргом для выдачи человеку характеристики для поездки за рубеж.*

В «треугольнике» по месту работы ничего против меня не имели, но давать характеристику отказались, потому что работал я у них к тому времени только два месяца, а на раскусывание отдельного морально-политического облика советская власть отводила коллективу полгода, и ни днем меньше!

Рекомендовали обратиться по прежнему месту работы.

«Треугольник» на прежнем месте работы знал меня как облупленного и любил как родного, но характеристику давать не хотел, потому что я у них уже не работал!

Спустя неделю все шесть углов видеть мое лицо не могли. Я по очереди выскакивал перед каждым из них, как отец Федор перед инженером Брунсом, и просил завизировать уже порядком засаленный листочек с добрыми словами в свой адрес, которые, по их просьбе, сам же и сочинил. Я прикладывал руки к груди, строил глазки и признавался в любви к советской власти. Советская власть, едина в шести лицах, признавалась мне во взаимности, но бумаженцию подписывать отказывалась.

Особое обаяние происходящему придавало то, что все шестеро довольно искренне мне сочувствовали.

В начале второй недели на старом месте работы дали слабину и дыхнули на печать.

Легкость, с которой я обтяпал свое дельце, радовала меня недолго. Через несколько дней выяснилось, что ангельская характеристика с долгожданной печатью — филькина грамота, не имеющая никакой силы, ибо после слов «рекомендует к поездке в ЧССР» не было написано «…и несет за него ответственность»!

А штука была именно в том, чтобы кто-то, ежели чего, понес ответственность!

Выездная комиссия (еще одно ностальгическое словосочетание) даже глядеть на меня не пожелала, и я пошел по

собственным следам: старая работа, новая работа… Нести за меня ответственность не хотел никто! На наводящий вопрос — какую именно, по их мнению, пакость я могу устроить в братской Чехословакии, мелкая партийно-пионерская мышка, знавшая меня пять лет, смущенно ответила:

— Но ведь там рядом Австрия…

К этому моменту, впрочем, я действительно был близок к тому, чтобы ползком ползти через Татры туда, где люди живут без *треугольников*…

Из любви уже не столько к путешествиям, сколько к чистому знанию, я решил идти до упора.

Упор состоялся в Октябрьском райкоме КПСС. Большая партийная тетя, брезгливо переждав мои претензии, позвонила симметричной тете, обитавшей в райкоме Фрунзенском. Две эти партийные небожительницы мирно ворковали минут двадцать, выясняя, какой именно район (по местонахождению новой или старой работы) должен брать на себя ответственность за мое поведение за границей, и пришли к устроившему обеих выводу, что этого не должен делать никто.

Татры меня так и не увидели, но и райкомы, слава тебе господи, увидели в последний раз…

Надоело

Падение советской власти накликала моя пятилетняя дочка. В июне 1991-го мы стояли налетном поле в аэропорту Минводы, и девочка, осматриваясь, поинтересовалась, что это такое написано на хвостах у всех самолетов: «сэ-сэ-сэ-рэ, сэ-сэ-сэ-рэ…».

— Что, — невинно спросил я, — не нравится? Дочка пожала плечами:

— Да нет, надоело просто.

Ну, и пожалуйста.

«Плохой день…»

Дело было под Ригой, в тихом курортном местечке Пабажи. Восстав однажды ото сна часу эдак в одиннадцатом, я спустился к кастелянше, взял у нее ключи от более просторного номера, освободившегося накануне, и начал перетаскивать вещи.

Новый номер выходил окнами на море. За окнами раскачивались под солнцем сосны. Я весело волок сумки по коридору, вполуха слушая бухтение диктора из радиоточки.

«Всемерно укреплять колхозное движение…» — говорил диктор.

Находясь еще в полупроснувшемся состоянии, раздражился я на этот пассаж, надо сказать, довольно вяло: какое колхозное движение, подумал я, пятый год перестройки, что они там, с ума сошли… Вернусь — всех убью.

Перетащив вещи, я снова спустился к кастелянше — доплатить за улучшение своих жилищных условий. Кастелянша, пожилая строгая латышка, аккуратно заполнив квитанцию, дошла до даты и вздохнула:

— Девятнадцатое августа… Какой плохой день.

— Почему плохой? — радостно поинтересовался я. Кастелянша внимательно посмотрела, проверяя, не придуриваюсь ли.

— Вы радио не слушаете? — спросила она наконец.

— Нет, — чистосердечно ответил я.

— У нас переворот, — сказала кастелянша.

— У вас? — уточнил я. Я уже перенес вещи в свой новый номер и даже оплатил его, но проснуться еще не успел. Я подумал: может, Рубикс сместил Горбунова…

— У вас? — спросил я.

Кастелянша холодно на меня посмотрела и ответила:

— У вас.

Так произошло отделение Прибалтики от Советского Союза.

«Если победят наши…»

И еще одна история тех дней — точнее, следующего дня. 20 августа 1991 года, когда чаша весов колебалась, и неясно было, чья возьмет, в Чите, под аккомпанемент радиостанции, ведущей прямой эфир с улиц ночной Москвы, один мой приятель сцепился с подполковником КГБ. Тот, разумеется, был за ГКЧП. Упершись друг в друга лбами, они до хрипоты проспорили на чьей-то кухне целый день, поминутно прерываясь на последние новости.

В Москве стреляли. Развязки не было, и они снова упирались друг в друга лбами.

Наконец спор иссяк по причине полной непоколебимости сторон, и, уходя, подполковник сказал… О, как он сказал!

Он сказал: «Запомните! Если победят ваши — этого разговора не было!»

И, подумав, добавил: «Если победят наши — вы ответите за свои слова!»

Финита ля комедиа

Почетный караул от Мавзолея убрали не сразу, и 25 августа 1992 года мне своими глазами довелось увидеть чудо: улыбку на губах кремлевского курсанта при исполнении. То есть он еще стоял у мумии навытяжку, но уже улыбался — и это означало настоящий конец эпохи.

Жизнь, как муравей, проточила свои ходы в этом замшелом дереве.

Отмененный концерт

Конец эпохи оказался гораздо заметнее, чем ее начало.

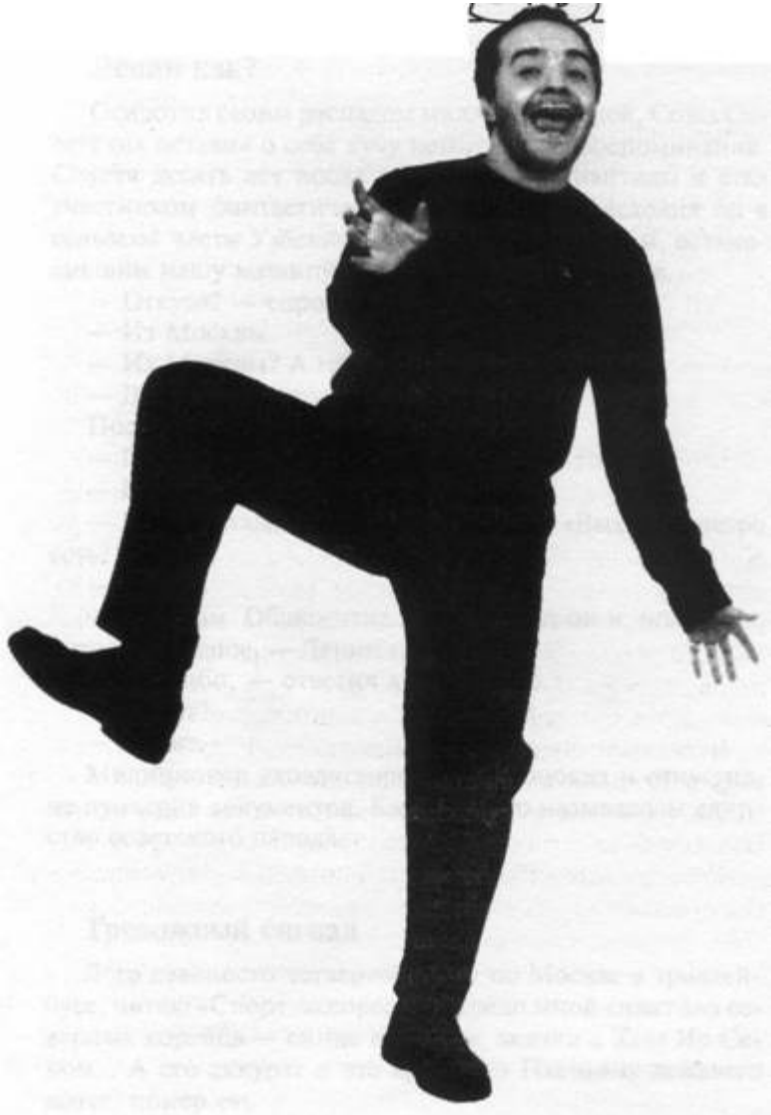
На сей счет в нашей семье имеется любопытный документ: почтовая открытка, посланная дедушкой моей жены из Москвы родителям, в Тамбов, на Дворянскую улицу, 52.

«Дорогие! — писал семнадцатилетний Володя; занимавшийся по классу скрипки у профессора Пресса. — Сегодня, в среду 25/X —17 г., выступаю на ученическом вечере с концертом Мендельсона-Бартольди e-moll…»

Через пару дней честный Володя сообщил родителям, что долгожданный концерт двадцать пятого октября не состоялся: в Москве, написал он, в этот вечер случились какие-то безобразия — и даже стреляли…

И то сказать: либо Ульянов-Ленин, либо Мендельсон-Бартольди!

Времена вразвес



Ленин как?

Осиротив своим распадом миллионы людей, Союз Советских оставил о себе кучу немыслимых воспоминаний. Спустя десять лет после гибели этой Атлантиды я стал участником фантастического диалога. Происходил он в сельской части Узбекистана — с милиционером, остановившим нашу машину для проверки документов.

— Откуда? — спросил он.

— Из Москвы.

— Из Москвы? А город какой?

— Да Москва же, — отвечаю. Последовало грандиозное уточнение.

— Где ЗИЛ?

— Где ЗИЛ.

— Работал там, — сообщил узбек. — «Выхино» метро есть?

— Есть.

— Жил там. Общежитие… — пояснил он и, помолчав, спросил главное. — Ленин как?

— Спасибо, — ответил я, — ничего.

— Лежит?

— Лежит.

Милиционер удовлетворительно поцокал и отпустил, не проверив документов. Кажется, это называлось: единство советского народа…

Тревожный сигнал

Лето девяносто четвертого. Еду по Москве в троллейбусе, читаю «Спорт-экспресс». Передо мной сидят два северных корейца — синие пиджаки, значки с Ким Ир Сеном… А его аккурат в это время по Пхеньяну лежачего возят, помер он.

И вот, значит, один кореец вежливо так трогает меня за рукав и спрашивает — что бы вы думали?

— Бразилия?

Я не понял, говорю: чего? Он повторяет:

— Бразилия? — И пальцем в мою газету тычет. А накануне как раз чемпионат мира по футболу закончился.

Я говорю: Бразилия, Бразилия! Он тогда широко улыбается и второго корейца локтем в бок: мол, что я говорил! И они начинают оживленно лопотать про футбол.

Вместо чтоб скорбеть.

Кажется, идеи чучхе в опасности.

«Бактерии не ошибаются…»

Есть такое древнее китайское проклятье — пожелание жить в эпоху перемен. Тяжесть этого проклятия многие россияне испробовали на себе, но есть люди, которых не выбьет из седла никакой поворот исторического сюжета.

Главного редактора газеты «Московский комсомолец» г-на Гусева я помню с начала восьмидесятых. В ту пору он был товарищем Гусевым, ответственным организатором международного отдела ЦК ВЛКСМ; был гладко выбрит, носил пиджак со значком «Член ЦК ВЛКСМ» на лацкане и был сильно озабочен реализацией решений очередного Пленума партии.

Над его головой в редакторском кабинете висел тканый коврик с изображением Владимира Ильича — дар какого-то среднеазиатского комсомола.

Потом началась перестройка, и Павел Николаевич пошел колебаться вместе с линией партии. Наконец, году эдак в восемьдесят девятом, мой приятель, работавший в ту пору в «МК», задумчиво сообщил при встрече:

— Знаешь, кажется, перестройка победит…

— С чего ты взял? — поинтересовался я.

— Да вот, — ответил приятель, — Гусь после отпуска вышел на работу — в бороде и джинсах! Такой стал демократ-демократ…

Тут следует заметить, что значок «Член ЦК ВЛКСМ» слинял с гусевского пиджака на каком-то предыдущем повороте.

— Гусь — он ведь зря не меняется… — глубокомысленно заметил приятель.

«Гусь» менялся не зря: прогрессивное крыло в ЦК победило.

Вскоре случился и был подавлен путч. На следующий день после этого коврик с тканым «Лукичом» изчез со стены — и не просто исчез, а лег у входа в редакторский кабинет. Об него стали вытирать ноги входящие к бывшему члену ЦК ВЛКСМ. Вскоре «МК», этим членом приватизированный, уже несся вперед по волнам демократии.

В середине 90-х я увидел «Гуся» в президиуме Конгресса русских общин, рядом с секретарем Совбеза Скоковым. Поговаривали, что этот Скоков будет следующим премьером — а может быть, даже и…

«Гусь» сидел в президиуме, озабоченно кивая вслед патриотическим словесам.

Когда Скокова с присными бесследно смыло очередной номенклатурной волной, «Гусь» немедленно вынырнул рядом с

Лужковым, возле которого и плавал до появления на горизонте нынешнего гаранта. По счастью, сам Лужков растворился в новой власти почти мгновенно, и Павлу Николаевичу не пришлось сильно напрягаться, чтобы соответствовать очередному политическому бульону.

Как сформулировал по этому поводу поэт Сергей Гандлевский, «бактерии не ошибаются». Всегда вместе с питательной средой.

Парный конферанс

Рассказывают, что в начале девяностых два российских главных редактора (одной крупно-либеральной газеты и одной жутко-патриотической) отправились на совместные гастроли по городам США.

С диспутом.

На это продавались билеты — и хорошо продавались! Полные залы эмигрантов, истосковавшихся по русской политической жизни, становились свидетелями нешуточного идеологического противостояния, до хрипа и сжатых кулаков, до полной гибели всерьез…

Вы погубили Россию! — Нет, вы погубили Россию!

Хорошо представляю себе это. Еще лучше представляю дальнейшее: аплодисменты, высвобождение из рук эмигрантов, желающих продолжить диспут на дому; получение гонораров от скуповатого антрепренера, придумавшего этот цирк-шапито и срубившего хороший куш… Потом, в одной машине, бочком к бочку — на совместный ужин в каком-нибудь нехитром «бургер-квине». Вроде неплохо прошло, да? Отлично прошло! И в гостиницу, в соседние номера…

А наутро — снова в машину и, бочком к бочку, в соседний штат; там попить кофейку — и на сцену.

Вы погубили Россию! — Нет, вы погубили Россию!..

Как я попал

В январе 1993-го меня приняли в Союз писателей — при весьма поучительных обстоятельствах.

Примерно за год до того Григорий Горин обнаружил, что я в Союзе писателей не состою. Я пытался кокетничать, изображая вольного питомца муз, но был сурово осажен классиком.

— Не валяйте дурака, — сказал Горин, — немедленно вступайте! Состаритесь — будете лечиться в поликлинике… И потом, я же дал вам рекомендацию!

Тут выяснилось интересное. Оказывается, в августе 91-го, буквально на следующий день после победы над тоталитаризмом, в ЦДЛ стихийно собрались пишущие демократы — и назло врагам, чуть ли не одним голосованием, приняли в Союз писателей человек триста либеральной молодежи.

Я под раздачу не попал, но случилось так, что двое, независимо друг от друга, вспомнили о моем существовании и — порекомендовали. Это были Григорий Горин и Леонид Зорин, автор «Покровских ворот» и «Варшавской мелодии».

Рекомендовали, а мне сказать забыли.

Ну, раз такое дело… В общем, пошел я в Московскую писательскую организацию и написал заявление. Мне сказали: позвонят.

Позвонили примерно через год и вместо «здрасьте» довольно раздраженно поинтересовались: я корочку, вообще, забирать собираюсь или нет? И поехал я, питомец муз, за документом.

Приезжаю в писательское учреждение, нахожу, как было велено, дверь с табличкой «Отдел прозы». Там пусто, а в смежной комнатке сидит мужик в бороде и разговаривает по телефону.

— «Макаровы», — говорит мужик, — десять стволов. Новые, в масле…

Я еще раз посмотрел табличку на двери: все правильно, отдел прозы. А в отделе поэзии небось гранатометы ремонтируют. Времена переходные, страна входит в рынок…

— Простите, — говорю, — мне сказали сюда прийти…

— Она отошла, щас будет, — буркнул бородатый и махнул рукой: заходи. Как-то странно на меня посмотрел — и снова завел свою оружейную беседу.

Я зашел. Посидел, послушал через стенку разговор бородатого — всё про какие-то стволы и амуницию; поглядел на разложенные веером книжки: Боков, Белов, Фирсов…

Тетка, назначившая мне время для получения проклятой корочки, всё не шла, и я начал медленно свирепеть. Когда, минут

еще через двадцать, она наконец появилась в кабинете, я уже закипал.

— Что это такое! Мы договаривались на одиннадцать! Тетка опешила:

— Мы договаривались?

— Конечно! Я должен получить корочку.

— Какую корочку?

Я почувствовал, что начинаю дымиться.

— Члена Союза писателей, — раздельно произнес я.

— Как ваша фамилия? Я сказал.

— Как?

Я повторил. Фамилия моя тетку явно озадачила.

— А мы вас принимали? — уточнила она.

— Да! — крикнул я.

Тетка хмыкнула удивленно и как-то даже озадаченно.

— Сейчас посмотрю.

Она начала рыться в картотеке, но ничего похожего на «Шендерович» там не нашлось.

— А мы вас точно принимали?

Я понял, что сейчас из меня, как из чайника, пойдет свист. Боясь совершить убийство по неосторожности, я обогнул тетку и ее стол, дабы найти себя в картотеке — и убить ее уже с полным основанием. Но до картотеки мой взгляд не дошел, потому что зацепился за машинописный лист, лежавший под стеклом, на столе.

Это был список членов правления: Белов, Бондарев, Проханов, Распутин… Весь комплект. Через пару секунд до меня дошло, что я уже полчаса скандалю в самом логове «заединщиков», требуя своего приема в их жидоморские ряды.

Видимо, я все-таки ойкнул, потому что тетка, понизив голос, понимающе сказала:

— Вам, наверное, в другой Союз…

— Наверное, — шепотом ответил я.

— Так это дальше по коридору, — тихо произнесла моя собеседница, косясь в сторону смежной комнаты, откуда продолжали доноситься телефонные разговоры о ценах на огнестрельное оружие.

— Извините, — прошептал я и на цыпочках вышел из отдела этой прозы.

В альтернативном Союзе на меня коршуном набросилась альтернативная тетка: где, говорит, вас носит, мы, говорит, договаривались на одиннадцать…

Вот дура! Я жизнью рисковал, а она о таких мелочах.

Достоевский и Ко

На одной из демонстраций нашей т.н. патриотической оппозиции я увидел замечательный лозунг. Выглядел он так: огромными буквами, черным по белому — «Жиды погубили Россию!» И внизу подпись: Ф.М.Достоевский.

Не знаю, писал ли это Федор Михайлович — чтобы такое родить, Достоевским быть необязательно. Но предположим, писал — и что?

А вот что: из всего Достоевского (30 томов!) они выбрали и выучили наизусть именно эти три слова! Берусь проэкзаменовать весь этот ходячий скотопригоньевск — никто не отличит Алеши от Ивана… Но насчет жидов — это до них дошло! Один раскопал, принес в горсти братьям по крови, намалевали, пошли по Тверской с Достоевским на знамени!

Тут задумаешься.

Мир огромен; мир гения огромен бесконечно. Вопрос лишь в том, что из этого космоса человек отбирает себе, для своей жизни. Можно, конечно, взять от Достоевского — именно антисемитизм. От Мусоргского — алкоголизм, от Тулуз-Лотрека — сифилис…

Вольному воля.

Лингвистические трудности

В славное перестроечное время советскому народу открылось много удивительных вещей. Среди прочего, например, выяснилось, что в Израиле, помимо одноименной военщины, имеется разнообразная жизнь. А в советские времена на этот счет было твердое указание, чтобы ничего, кроме военщины, там не было.

Отчетливо помню баскетбольный матч ЦСКА—«Маккаби», и лингвистические трудности, с отчаянием и героизмом преодолеваемые комментатором Ниной Ереминой. Вместо простого русского слова «Рабинович» она говорила «десятый номер команды соперников». Словосочетания «израильские баскетболисты» избегала, как евреи — имени Бога.

Говорила: «сегодняшние соперники армейцев».

Несчастная Нина Еремина мучилась не по доброй воле, и установку партии и правительства следует признать правильной: услышав про израильских баскетболистов, советские граждане, пойдя по логической цепочке, могли дойти до опасной мысли, что в Израиле, помимо баскетболистов, есть скрипачи, ученые, женщины, дети, поликлиники…

Что там, короче, живут люди!

Это было совершенно недопустимо.

А в девяносто втором временно демократическая Россия установила с Израилем отношения и даже, с некоторой опаской, начала дружить. И очень скоро в Тель-Авив полетела делегация российских журналистов.

Вместе с коллегами в логово вчерашнего врага отправился журналист «Красной звезды». Вечером, ничего не подозревая, он спустился в бар отеля, надев как приличный человек пиджак с галстуком.

Майора не предупредили, что пиджак с галстуком в этой южной легкомысленной стране носят только миллионеры — или люди, которые хотят, чтобы их за миллионеров принимали.

Незнание «дресс-кода» дорого обошлось российскому офицеру. Со всего Тель-Авива в бар отеля немедленно сбежались проститутки и плотно обсели майора по периметру. Чтобы вы могли представить ужас военнослужащего конкретнее, я обязан проинформировать вас о том, что проститутский контингент в Израиле в ту пору составляли преимущественно марроканки (Украина подтянулась чуть позже, не оставив Африке никаких шансов).

Майор сидел в баре, заброшенный в тыл врага, отрезанный от

своих и обнаруженный противником. Он понимал, чего от него хотят, но не понимал, почему этого хотят именно от него (по соседству, в благословенном одиночестве, сидел другой журналист, эту страшную историю мне и рассказавший).

Женщины, ища ключи к сердцу и кошельку майора-миллионера, начали заговаривать с ним на всех известных им языках. Майор отбивался, выкрикивая «найн» и «нихт ферштейн».

— Итальяно? Спэниш? Тюркиш? «Найн», и вся любовь!

И тогда отчаявшаяся профессионалка спросила напрямую:

— Where are you from?

— Раша, — не без мстительности ответил майор. Он понимал, что этого языка *эти* женщины знать не могут.

— О! Раша! — воскликнула немолодая марокканка и начала рыться в сумке. И достала оттуда большую записайную тетрадь и, радостно приговаривая «раша, раша», стала ее мусолить, что-то ища.

И нашла. И, водя пальцем по транскрипции, прочла:

— Ми-лый, мы пое-дем с то-бой в Во-ро-неж!

Как попала на средиземноморский берег эта фраза и отправился ли майор с марокканкой в сторону Воронежа, — история умалчивает.

Breaking news…

Когда с советской границы сняли замок, а коммунизм заменили православием, на святую землю ломанули толпы желающих поскорее зафиксировать свой переход в новую веру.

Для многих вера оказалась действительно совсем новой. Вот рассказ на этот счет моей доброй знакомой, ленинградки Елены, в настоящее время водящей экскурсии по Иерусалиму,

Привезли ей как-то целый автобус туристов из Липецка, и повела для них Лена экскурсию по христианским местам. Среди экскурсантов имелась девушка Дуся — чрезвычайно чистая душой и особенно разумом. На каждом углу она охала и всплескивала руками, воспринимая историю двухтысячелетней давности как свежий триллер. Наконец дошли до Гефсиманского сада,

— Вот здесь, — показала Лена, — арестовали Иисуса Христа…

Дуся от неожиданности даже вскрикнула:

— Как! Его арестовали?

Это называется: новости из Иудеи…

Вертикаль власти

А вот история другой тургруппы. Новый русский, уцелевший в результате взаимного отстрела середины девяностых, а к началу нового века вполне остепенившийся, привез в Иерусалим братков следующего поколения. Привез — и сразу предупредил: если чего в экскурсии не поймете, спрашивайте меня, я переведу.

И переводил — с русского на братковский… И вот у Стены Плача братки поинтересовались: а чего у этих — кружки на головах?

— Головной убор на ортодоксальном еврее, — пояснила экскурсовод Лена, — называется кипа и означает, что еврей признает над собой власть Господа.

Братки дружно повернули головы к старшому: это был тот самый случай, когда перевод был необходим. И старшой перевел блистательно:

— Типа ты не самый крутой, — объяснил он. — Есть круче тебя!

Не туда пришли

На просьбу оказать материальную помощь конференции, посвященной еврейской катастрофе времен Второй мировой войны, один олигарх ответил как отрезал:

— На Холокост у меня денег нет!

Ущемление прав

Для получения статуса беженца кандидат на заветную «грин-карту» должен был доказать, что его ущемляли как еврея. Это был тот редкий случай, когда погром мог улучшить материальное положение.

И вот приходит на интервью в американское посольство немолодой человек с характерной выправкой. Сотрудник посольства смотрит на него, смотрит в его бумаги и интересуется:

— Ну вот: вы полковник советской военной авиации, награждены медалями… Расскажите, как вас ущемляли по национальному признаку?

Летчик к вопросу подготовился заранее и пожаловался без раздумий:

— Когда в шестьдесят седьмом наша эскадрилья готовилась бомбить Тель-Авив, меня не взяли!

Как вас теперь называть?

Я любовался видами, стоя на носу теплохода «Федор Шаляпин», когда взгляд мой случайно наткнулся на судовой колокол. На колоколе черным по медному было написано: «Климент Ворошилов».

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол»…

На ближайшей стоянке я подошел к борту и начал археологические исследования. Раскопки продолжались недолго: перед словом «Федор» совершенно отчетливо читались следы букв, бывших на этом борту раньше: «Климе…»

Вскоре случай свел меня с главным механиком судна, от которого я узнал замечательную историю этого корабля.

В 1990 году, когда Санкт-Петербург еще был Ленинградом, но процесс уже пошел, в высоких кабинетах решено было «Ворошилова», от греха подальше, переименовать — и экипажу предложили поплавать под именем «Николай Карамзин».

С «Карамзиным» все тоже не просто так: историк, очень кстати, оказался родом из Ульяновска, который, в свою очередь, долгое время был Симбирском. А ульяновский первый секретарь был в корешах с первым секретарем нижегородским (в ту пору горьковским). Корабль же был приписан к Горьковскому пароходству! И вот нижегородский секретарь Горьковского обкома, чтобы сделать приятное коллеге, пообещал ему, что «Ворошилов» будет «Карамзиным».

Так сказать, от нашего стола — вашему столу!

Но имя Карамзина ничего не говорило ни уму, ни сердцу экипажа — да и пассажирам не особенно, — и экипаж написал письмо чуть ли не в ЦК со своим рабочим условием: либо «Федор Шаляпин», либо вообще «Владимир Высоцкий»! В девяностом году начальство трудящихся побаивалось, но о Высоцком еще не могло быть и речи — и «Ворошилов» стал «Шаляпиным»,

А чтобы ульяновскому руководству не было обидно, в «Карамзина» переименовали пароход «Советская Конституция». После такого имени экипажу было, видать, уже все равно, хоть Чаадаевым назови…

Знаки времени

На дне рождения моей шестилетней дочери, в 1992 году, с именинницей чинно беседовали два ее кавалера — сын журналиста и сын бизнесмена.

— У тебя есть визитная карточка? — поинтересовался сын журналиста.

— Кредитная, — не переставая жевать, поправил вопрос сын бизнесмена.

Процесс приватизации

Мелкий олигарх N., в порыве профессионального сладострастия, рассказывал мне, как получил от государства в личное пользование большое химическое производство в области, которую тактично назовем Святогорской.

У N. имелось полтора миллиона долларов — производство стоило двадцать с хвостиком. Но уж больно хотелось. И тогда он пошел в местный исполком к чиновнику, ведавшему приватизацией.

Фамилия чиновника была, допустим, Бублик.

— Бублик, — сказал ему будущий олигарх, — ты мне Родину продашь?

— Всю не продам, — ответил Бублик, — а Святогорскую область — продам.

И они договорились.

Бублик отсеивал конкурентов (типа, бумаги не в порядке) и сливал будущему олигарху информацию о том единственном, которого они решили допустить до аукциона (типа, честная конкуренция). Тот, тоже не лыком шитый перец, имел симметричные планы получить завод на халяву, т.е. за те несколько миллионов долларов, которые бог послал ему на закате строительства коммунизма.

«Перец»-конкурент страшно обрадовался, услышав за несколько дней до аукциона, что N. соскочил с торгов, потому что у него не хватает денег. (Об этом «Перцу» под страшным секретом сообщил, разумеется, завербованный его противником Бублик.) Полагая, что конкурентов больше нет, «Перец» пожадничал и заявил на аукцион всего миллион долларов.

Что было меньше полутора, имевшихся у N.

Задача N. была теперь в том, чтобы не попасться на глаза несчастному скупердяю-конкуренту раньше времени. Три дня и три ночи он рыскал по Москве и скупал резаную бумагу под названием «ваучер» — и скупил ее на все полтора миллиона.

Скупка завершилась поздно вечером, накануне дня аукциона, а к десяти утра все эти мешки с макулатурой надо было доставить на торги в Святогорскую мэрию. «Аэрофлот» помочь уже ничем не мог, и резаная бумага имела все шансы так резаной бумагой и остаться. По счастью для будущего олигарха, в соседней квартире жил военный летчик, у которого не было полутора миллионов долларов, но был грузовой самолет.

Ночью, с пятью мешками ваучеров, за штуку баксов, они вылетели в Святогорск с военного аэродрома. Я думаю, в случае

необходимости летчик организовал бы по указанному адресу ракетный удар, но они успели за полчаса до начала торгов. Защитник неба получил обещанную стопку баксов, Бублик — откат, а N. — многомиллионное химическое производство в личное пользование.

По сведениям СМИ, производство это давно накрылось медным тазом, рабочие годами не получают зарплату, все активы выведены в теплые благословенные места, а N. входит в список журнала «Форбс» как один из пятисот самых богатых людей России…

Бублика вспоминает с нежностью.

Человеческий фактор

Как делаются деньги из воздуха, не знаю. А вот как они делались из воды — могу рассказать, Точнее — пересказать технологию, которой в минуту русского алкогольного откровения поделился с моим другом-журналистом один из авторов этого ноу-хау.

Итак: ГДР, Западная группировка советских войск, конец восьмидесятых. Перестройка, человеческий фактор и всякое такое…

Действие первое. Энтузиасты из армейской продовольственной службы берут воду из-под казарменного крана, которой десятилетиями пользовались советские солдаты, и отправляют ее в немецкую экологическую экспертизу с наводящим вопросом: не вредно ли это пить? Из немецкой экологической экспертизы приходит заключение, из которого следует, что об пить не может быть и речи.

Действие второе. Немецкая бумажка отправляется в Москву с наводящим вопросом: не начать ли (по случаю перестройки и человеческого фактора) покупать для советских солдат хорошую питьевую воду; смета прилагается. Оптовый литр воды стоит смешное количество пфеннигов, однако ж, будучи перемножены на пять литров в день на человека, 365 дней в году и число солдат в Западной группировке советских войск, эти пфенниги дают цифру вполне ничего себе.

Действие третье. Финотдел Министерства обороны, прослезившись от собственного гуманизма, выписывает искомую цифру.

Действие четвертое. Тихий немец оптовик за смешной «откат» пишет бумагу о том, что поставил в Западную группировку советских войск миллионы литров хорошей питьевой воды.

И, наконец, хеппи-энд: энтузиасты из продслужбы Западной группировки советских войск и гуманисты из фин-службы Министерства обороны по-честному делят промеж собой оставшиеся десятки миллионов марок. Советские солдаты пьют себе, как пили, воду из-под казарменного крана. Перестройка и человеческий фактор продолжают победное шествие по просторам Родины.

Наш Голливуд

В 1992 году я написал свой первый киносценарий. (Потом я написал их еще несколько, и десять килограммов измаранной бумаги, до сих пор пылящейся на шкафу, — тому вещественное доказательство.)

А в том годуя писал первый сценарий — причем это был не потный вал вдохновения, а заказ! Через цепь шапочных приятелей на меня вышли какие-то новосибирские братки, занимавшиеся глиноземом, а может, красной ртутью; в общем, что-то у них эшелонами шло куда-то в обмен на «гуманитарку», которая, в свою очередь, на что-то обменивалась…

Короче, эти братаны, измученные внезапно появившейся у них наличностью, известили о желании построить под Новосибирском Голливуд и своей готовности со страшной силой вкладываться в кино. (Это в те годы была главная отмывка бабок.)

А у меня с моим другом режиссером как раз имелся симпатичный сюжет для кино, — и мы поняли, что это судьба!

Через какое-то время я был приглашен зайти в их офис, поговорить. Офис оказался обычным номером в гостинице «Севастополь», насквозь прокуренным, с бутылками из-под хорошего вискаря у дешевых вдавленных кресел. Я начал что-то рассказывать про сценарий, но инвесторы в тренировочных костюмах только замахали руками: давай, давай, пиши!

Я так и не понял, зачем звали.

Через какое-то время я получил аванс, оказавшийся впоследствии окончательным расчетом. Суммы не помню (время было девальвационное; счет шел на миллионы) — хорошо помню, однако, способ оплаты: посланец инвесторов занес деньги мне на дом в полиэтиленовом пакете с надписью «Мальборо».

Это был человек в майке, под которой угадывалась мощная и хорошо напрактикованная мускулатура. Он с выгрузил дензнаки прямо на кухонный стол и предложил пересчитать. Будучи в предынфарктном состоянии от присутствия этого субъекта на своей жилплощади, я, ничего не пересчитывая, только спросил, где мне расписаться за получение.

Браток посмотрел на меня как на тяжелобольного.

Когда; он покинул мою квартиру, я запер дверь на все полтора замка, причем для надежности ее захотелось еще и чем-нибудь привалить.

Но так просто отделаться от партнеров по строительству русского Голливуда не удалось: через какое-то время мне передали от инвесторов просьбу — помочь им выйти на

Хасбулатова.

Руслан Имранович был в ту пору спикером Верховного совета, и всего-то нужен был от него браткам один автограф, чтобы легализовать большую гуманитарную акцию по обмену очередных эшелонов с редкоземельными металлами (а может, с красной ртутью, хрен его знает) на продовольствие. По заверениям ребят в «адидасе», операция эта должна была привести к немедленному благоденствию в Новосибирской области.

Со мной Хасбулатов, по обоюдному нашему счастью, знаком не был (братки меня переоценили), но инвесторы, однако, вышли на Белый дом и без меня — и хмуро жаловались потом, что в приемной у Имраныча только за то, чтобы положить бумажку на стол хозяину, попросили пятьдесят «штук».

Я еще, помню, уточнял, «штук» чего и сколько этого в «штуке».

Потом я дописал сценарий, и на Киностудии имени Горького начался подготовительный период: пробы, поиски натуры, составление сметы… Когда подготовительный период закончился, выяснилось, что денег больше нет.

Потом выяснилось, что нет и инвесторов. Ни один телефон не отвечал, а протертые кресла в их офисе в гостинице «Севастополь» придавливали к полу задницы других энтузиастов первоначального накопления капитала.

Может быть, с добычей хасбулатовской подписи им повезло больше…

Врасплох

С молодых лет я знал, что после института буду получать сто, потом сто десять, а если защищусь — сто сорок. Что если не эмигрирую, никогда не увижу ничего дальше Болгарии. Будущее носило настолько заведомый характер, что было лень его проживать. Потом страна сделали сальто, в некотором смысле — даже и мортале.

«Авангарду, — сказано у Тургенева, — очень легко сделаться ариергардом… Все дело в перемене дирекции». В обратную сторону (в моменты перемены дирекции) все тоже происходило довольно стремительно. Изменения в статусе порой заставали врасплох и саму дирекцию.

Петр Авен тихо преподавал себе в каком-то австрийском университете, когда получил кресло министра внешнеэкономических связей России в правительстве Гайдара.

Прибыв на Смоленскую площадь, он, говорят, не сразу смог попасть внутрь: его не пускал милиционер. Никаких подтверждающих бумаг не подоспело, а на заявления человека с такой фамилией и внешностью о том, что он — российский министр, милиционер реагировал нервно и грозился задержать, если тот не прекратит галлюцинировать.

Авен звонил Гайдару, Гайдар — кому-то на Смоленскую площадь… Наконец появились встречающие и Авена провели на рабочее место.

Пройдя приемную, он вошел в имперский кабинет. Конец кабинета терялся вдали. В перспективу уходил стол размерами с небольшую взлетную полосу.

Авен прошел, сел в руководящее кресло, огляделся и уточнил:

— Это я, что ли, Патоличев?

На пальцах…

Играть на баяне, щипать секретарш, пороть губернии, летать на истребителе, прилюдно мочить и мочиться… — вот что нужно!

И народная любовь подоспеет.

А Егор Тимурович Гайдар, возражая в 1992-м кому-то из народных депутатов, позволил себе слово «отнюдь». Те взревели от возмущения и даже ногами затопали. Им показалось, что над ними издеваются.

Чуть позже, перечисляя порядок действий, необходимых в российской экономике, Егор Тимурович принялся разгибать пальцы из кулака, начиная с большого (молодость российского премьера прошла в Принстоне). И я, симпатизирующий правым, смотрел на это с ужасом, понимая, что в стране, где при перечислении пальцы загибают, начиная с мизинца, у Егора Тимуровича нет политических перспектив.

И макроэкономика тут ни при чем.

Сон о приватизации

В начале девяностых моя жена работала в американской фирме, проводившей пиар-кампанию российской приватизации. Они ездили по городам и весям и проводили Дни этой самой приватизации.

И вот однажды жена моя проснулась в холодном поту, потому что ей приснилось: приходит она на работу и видит — ее сослуживцы отпиливают ноги у каких-то стариков. А начальник группы, Билли, сурово говорит: я тебя предупреждал, что в приватизации должны участвовать все слои населения, в том числе инвалиды… И жена во сне вспоминает: она не обеспечила участие инвалидов, и вот, для пущей американской политкорректности, участникам приватизации отпиливают конечности.

По результатам приватизации следует признать: сон оказался — в ногу…

Любовь народная

День знаменитого ельцинского референдума («да-да-нет-да») я встретил в Риге. Участок для голосования российских граждан добрые латвийские власти устроили на окраине города, в одной из воинских частей. Туда мы и поехали — в славной компании со Жванецким и Карцевым.

Разумеется, уехать с участка сразу после голосования не удалось: звезд немедленно узнали. Жванецкий стоял в плотном кольце соотечественников, расписываясь на тетрадных листах, в воинских книжках и на фуражках; с Карцева сбирали пыльцу по соседству.

И вот некий военнослужащий, отстоявши очередь к Жванецкому и получив автограф на фуражке, поинтересовался:

— А вы небось за Ельцина голосовали?

— За Ельцина, — подтвердил Жванецкий.

— Фашист! — сказал ему военнослужащий, забрал фуражку и ушел с автографом.

Октябрь 93-го

Какой-то кремлевский спиноза, анализируя ситуацию тех дней, родил словосочетание «эпицентры власти». Ему небось и в голову не пришло, до какой степени он прав…

Разрыв хозяйственных связей

Программа «Время», конец 1994-го. На экране — выпадающая из самолетного нутра бомба. Бомба разрывается на несколько кусков, те — еще и еще… Внизу встает на дыбы земля.

Сущий ад.

Всё это комментирует приятный баритон за кадром. Вот какое замечательное оружие производит НПО «Базальт», говорит баритон, и нет ему аналогов в мире, и все хотят его купить: и Ирак, и Саудовская Аравия… Огромный интерес в Латинской Америке… Но — разрыв хозяйственных связей, невыплаты, инфляция… В результате: такое хорошее оружие лежит на складах, и склады взрываются…

Последняя фраза репортажа стоит того, чтобы привести ее дословно. «И в итоге, — сказал комментатор, — получается: *ни себе, ни людям!* »

Точные координаты

Моя дочь, моя жена и моя теща договариваются по телефону о встрече на Пушкинской пощади.

— У магазина «Бенетон»! — говорит дочь.

— Который раньше назывался «Наташа», — уточняет жена.

— А-а, это там, где было бомбоубежище… — понимает наконец теща.

Тунис

…Отель, весна 96-го. Музыкант, играющий в баре мимо нот, узнав, что я из России, радостно сообщил, что про Россию знает. Вот что он знает про Россию (дословно, с загибанием пальцев):

— Ленин, then… Сталин… then (вспоминая) Тоцкий? Потоцкий? (стуча ребром ладони по голове) killed in America… (подтверждая мою версию), yes, Троцкий! Then — Хрущев… then — Брежнев… then — another (Андропов с Черненко, слипшись под фантастическим именем Эназэр, ухнули в небытие), then — Горбачев, and now — Ельцин (музыкант постучал себя по сердцу) — капут (музыкант сочувственно развел руками), водка, водка…

Я остолбенел. Такого краткого курса ни слышать, ни читать мне еще не приходилось. К счастью, музыкант ошибался насчет капута, но в остальном — какая точность и какой лаконизм!

Чтобы не было мучительно больно…

Александр Кабаков рассказывал мне: в его подъезде жила-была старушенция, зюгановская активистка. Банду Ельцина под суд и всякое такое. И вот за пару недель до выборов 96-го года видит Саша дивную картину: идет эта старушенция, а за нею — мужик, груженный до ушей коробками с импортной техникой: самсунги-филипсы… печка-гриль, телевизор…

Любознательный Кабаков поинтересовался у коммунистической активистки: с чего это вдруг ее пробило на оптовые закупки империалистической техники?

— Так наши ж придут, ничего ж не будет! — охотно ответила сторонница Зюганова.

Выбор народа

А эту сценку я наблюдал через год после тех президентских выборов. За соседним столиком тяжело напивались люди, будто вышедшие живьем из анекдота про новых русских: бычьи шеи, золотые цепи… Они приехали в Москву из Вологды — «решать вопросы». Вопросы решались тяжело; опознав, братки призвали меня к ответу за всё и велели сказать, когда в России закончится бардак и прекратится коррупция.

Тут меня одолело любопытство.

— Простите, — спросил я, — а вы за кого голосовали?

Выяснилось: двое из пяти «быков» голосовали за Ельцина, двое за Жириновского, а один — вообще за Зюганова. И, проголосовавши таким образом, они с чистой совестью напивались в ожидании, когда прекратятся бардак и коррупция.

Объект надежды

А мой приятель и коллега Михаил Шевелев, отголосовав тем летом, направился за социологическим прогнозом в родные гаражи. Владельцы «Жигулей» и «Фольксвагенов», хозяева новых БМВ и водилы старых ЗИЛов — вся Россия в одной кубатуре…

В гараже было уже накрыто, нарезано на капоте, «нолито» и даже частично выпито; разговор о минувшем волеизъявлении велся на соответствующих градусах. Над капотами летали обрывки русской социологии: «а ты за кого?», «ну и козел», «а твой не козел?»

Михаил включился в процесс обсуждения и стал догонять.

Через какое-то время живых в гараже почти не осталось (праздник есть праздник). Электорат почти в полном составе отдыхал вдоль стен, пережидая победу демократии. Над стаканами, последними из могикан, сидели двое — водитель КамАЗа и мой друг Шевелев, уже почти догнавший.

Судьбы России были теперь в их руках.

— Нет, — мрачно сказал вдруг водила, продолжая разговор, долгое время шедший в нем самом, — надо было вам их вещать, в девяносто первом!

— Кого? — уточнил мой друг Шевелев.

— Коммунистов, — прямо ответил человек.

Михаил немного задумался, связывая местоимения, а потом уточнил снова: мол, вешать не вешать — открытый вопрос, но почему — «вам»? Кому «вам»?

Работяга немного засмущался.

— Миш, — сказал он наконец. — Ты же знаешь: я не по этой части… Но ведь ты же — еврей?

— Ну, — согласился мой друг Шевелев. — Еврей! Но почему — *нам* их вешать? Почему не *вам* ?

Водилу этот вопрос озадачил. Он огляделся. Электорат тихой биомассой по-прежнему лежал вдоль стен.

— Посмотри, — сказал водитель КамАЗа. — Ну? Можно иметь дело с этим народом?

И, помолчав, добавил твердо и печально:

— На нас надежды нет!

Рифмуйте сами

Сценка в программе «Куклы», посвященная визиту премьера Черномырдина в Арабские Эмираты, начиналась так:

Вот однажды из Дубай
Приезжает краснобай.

«Краснобая» руководство НТВ вежливо, но твердо попросило на что-нибудь заменить. Принципиального протеста это у меня не вызвало: русский язык велик, свободен и могуч, синонимов в нем — ешь не хочу… Проблема состояла в том, что программа была написана в рифму.

Альтернативную рифму к слову «Дубай» личный состав «Кукол» нашел очень быстро. Дело-то нехитрое.

Вот однажды из Дубай
Приезжает….

Вот именно. Пройдя этот тупиковый путь еще при написании программы, я попробовал исхитриться и убрать «Дубай» из рифмы совсем:

Из Дубая как-то раз
Приезжает…

Вот именно!

Наконец звукооператору Аркаше Гурвичу пришло в голову соломоново решение, и мы послали начальству факс с согласием на любую рифму, которую они нам предложат.

Минут десять наверху, видать, рифмовали, а потом позвонили и сухо разрешили: «Оставляйте «краснобая».

Опилки

Утомленное нервной реакцией прототипов, руководство НТВ напомнило мне, что «Куклы», в общем, передача-то юмористическая, и предложило написать что-нибудь легкое, а именно: после «Пира во время чумы» и «Фауста» стилизовать какую-нибудь детскую сказку.

И чуть ли не само, на свою же голову, предложило «Винни-Пуха».

Через неделю я «Винни-Пуха» принес. Руководство обрадовалось мне, как родному, угостило чаем с печеньем — и минут пятнадцать мы беседовали на общегуманитарные темы. Руководство легко цитировало Розанова, Достоевского и Ницше, время от времени переходя на английский. Я разомлел от интеллигентного общества.

Наконец руководство взяло сценарий и начало его читать. Прочитав же первую строчку, вдруг тоскливо и протяжно закричало, причем вовсе не по-английски:

— Блядь, бля-ядь!..

В комнату заглянула встревоженная секретарша. Я тоже забеспокоился и спросил, в чем дело. Оказалось, дело как раз в первой строчке — известной всей стране строчке из одноименного мультфильма: «В голове моей опилки — не беда!»

И конечно, в «Куклах» ее должен был петь Самый-Самый Главный Персонаж — но скажите: разве можно было, фантазируя на темы «Винни-Пуха», обойтись без опилок в голове?

Я доел печенье и ретировался, проклиная Алана Милна, Бориса Заходера и всех, всех, всех…

Обида

Программа-антиутопия, снятая зимой 1996-го, называлась «Воспоминание о будущем». Действие ее происходило в России, в двухтысячном году, через четыре года после победы Зюганова: Прибалтика, разумеется, снова оккупирована, в продуктовом магазине — шаром покати, изо всех репродукторов — один и тот же Кобзон с песней «И Ленин такой молодой»… А резиновый Егор с резиновым Григорием трудятся на лесоповале (объединились наконец) и вспоминают коллег-демократов.

И была в их диалоге такая опасная шутка, что, мол, Боровой с Новодворской бежали, переодевшись в женское платье…

Через неделю у меня в квартире раздался звонок.

— Господин Шендерович? — осведомился неподражаемый голос. — Это Новодворская.

Я похолодел, потому что сразу понял, о чем пойдет речь.

— Виктор, — торжественно произнесла Валерия Ильинична. — В своей программе вы нанесли мне страшное оскорбление…

Возразить было нечего — «Куклы» делались, что называется, «с колес», и зачастую я успевал написать программу, но не успевал ее прочитать… Я начал извиняться; наизвинявшись, сказал, что готов немедленно сделать это публично, письменно, там, где скажет Валерия Ильинична…

Терпеливо выслушав весь этот щенячий лепет, Новодворская докончила свою мысль.

— Виктор, — сказала она, — неужели вы не знаете, что в уставе нашей партии записан категорический отказ от эмиграции?

Ну ты спросил…

В самый разгар уголовного дела против «Кукол» один отважный тележурналист прорвался к телу гаранта и спросил, что он про эту программу думает.

Борис Николаевич, тяжело помолчав, ответил: «Я этой программы не видал». После чего посмотрел на журналиста в точности по Ильфу: как русский царь на еврея, — что, впрочем, имело под собой некоторые основания с обеих сторон…

Программы он действительно не видел — челядь показывала Борису Николаевичу только самые выразительные отрывки, из которых гарант мог сделать вывод, что авторы «Кукол» охотятся персонально за ним…

Другая дверь

Посреди того уголовного преследования приятель-журналист передал мне приватную информацию из американского посольства: мне давали понять; что я могу рассчитывать на статус беженца.

Белоглавый орлан был готов принять меня под сень своих безразмерных крыльев, — и я страшно этому обстоятельству обрадовался: дело в том, что как раз в те дни я пытался получить гостевую визу в США, но никак не мог доказать тамошним человекам в окошке, что не имею планов остаться в Америке нелегально.

Наличие в России родителей, жены и ребенка за доказательство в тех окошках не считалось. А тут такая удача!

Я радостной трусцой побежал к знакомому окошку и отстоял очередную очередь. На ПМЖ — это в ту дверь, показали мне. Но я не хочу на ПМЖ, я хочу гостевую визу! Вы не смогли доказать, что не собираетесь остаться в Америке нелегально, ответили мне. Да, но если я хотел бы остаться, я бы мог сделать это легально! Пожалуйста, ответили мне, — это в ту дверь…

Мы прошли еще пару кругов этого диалога, и я спекся и в умопомраченном состоянии покинул неприступное посольство США.

Невыездные

В декабре 95-го, подстерегши на одной неосторожно посещенной тусовке, меня начал кадрить генерал Коржаков. Генерал хотел, чтобы я перестал безобразничать в программе «Куклы», осознал ошибки и вошел в кремлевскую команду. Я сорок минут, как мог, выскальзывал из этих бывалых рук.

При расставании Коржаков сказал нечто туманное.

— Нам ведь всем жить в одной стране, — напомнил он.

— Я надеюсь, — столь же туманно ответил я.

На мои наглые слова стоявший неподалеку Пал Палыч Бородин среагировал с поразительной искренностью.

— Но нам-то отсюда уезжать некуда! — сказал он. Помолчал и добавил:

— А здесь у нас все есть.

Упустила шанс

А за полчаса до этого чистосердечного признания — как раз в ту пору, когда генерал Коржаков кругами выгуливал меня по ресторанному залу «Рэдиссон-Славянской», — Бородин вышел из соседнего зала — уже хорошо взявший на грудь, но от этого ставший еще раскованнее. А жена моя в эту пору, ни жива ни мертва, следила за моими променадами с пьяноватым Коржаковым.

Бородин увидел одиноко сидящую за столиком молодую интересную женщину — и задал ей вопрос, выдавший в нем главного завхоза страны. Он спросил:

— Чья?

Сидевшие вокруг светские дамы немедленно ввели его в курс дела. Узнав, *чья* , Пал Палыч с симпатией и как минимум отцовским чувством сказал: '

— Уходи от него — и возвращайся к жизни!

ОРЗ в ЦКБ

За ельцинским инфарктом страна наблюдала честными глазами президентской пресс-службы: у президента ОРЗ, он четвертую неделю в реанимации, и ему с каждым днем все лучше. А рукопожатие, как у Терминатора, и крепчает не по дням, а по часам.

И вот — ближние подступы к Центральной клинической больнице, зимняя ночь, холодрыга с пронзительным ветром в придачу. К Наине Иосифовне, выходящей из больничных дверей, бросается стайка журналистов:

— Наина Иосифовна, как Борис Николаевич?

И она, в порыве искренней материнской жалости, восклицает:

— Ребятки, что ж вы стоите тут, мерзнете? Идите домой, завтра в газетах все прочтете!

Кого хочет Дед?

«Куклы» выходили в воскресенье, но сдавать сценарий, по технологии, надо было во вторник. В эту пятидневную расщелину мы улетали несколько раз. Глубже всего улетели мы в сентябре 1998-го…

Госдума в те дни дважды «забодала» кандидатуру Черномырдина — и все шло к тому, что Борис Николаевич насупится, упрется и выдвинет ЧВСа в третий раз.

Отмашку на этот прогноз и получила Наталья Белюшина, писавшая сценарий очередных «Кукол».

Но жизнь пошла враскосяк со сценарием. В среду, когда программа была написана, озвучена, и уже полным ходом шли съемки, мне позвонил гендиректор» НТВ Добродеев.

— Витя, — сказал он негромко. — Дед хочет Лужкова.

— О господи, — сказал я. — Точно? — спросил я чуть погодя.

Олег Борисович несколько секунд помолчал, давая мне возможность самому осознать идиотизм своего вопроса. Что может быть точного в России, в конце XX века, под руководством Деда?

— Пиши Лужкова, — напутствовал меня гендиректор и дал отбой.

Я позвонил сценаристу Белюшиной — она ахнула, и мы приступили к операции. Скальпель, зажим… Диалог, реприза… Через пару часов ЧВС был вырезан из сценарного тела, а на его место вживлен Лужков. Когда я накладывал швы, позвонил Добродеев.

— Витя, — негромко сказал он. — Только одно слово. У меня оборвалось сердце.

— Да, — сказал я.

— Маслюков, — сказал Олег Борисович.

— Это пиздец, — сказал я, имея в виду не только судьбу программы.

— Пиздец, — подтвердил гендиректор НТВ.

— А это точно? — опять спросил я. — Кто тебе сказал?

— Да я как раз тут… — уклончиво ответил Добродеев, и я понял, что Олег Борисович находится *там.* Мне даже показалось, что я услышал в трубке голос Деда.

Галлюцинация, понимаешь.

Я позвонил Белюшиной, послушал, как умеет материться она, — и мы приступили к новой имплантации. Лужков с ЧВСом были вырезаны с мясом. Окровавленные куски текста летели из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с

прямым репортажем о ситуации в Поднебесной.

— Лужков, — говорил он. — Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае, Черномырдин.

К вечеру среды были написаны все три варианта, В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова…

Встреча Ельцина с деньгами

В конце девяностых в Москве появилась сеть закусочных «Русское бистро»: патриотический фаст-фуд, наш ответ «Макдоналдсу». Для показа, что живой, и демонстрации близости к народу на открытие одной такой пищевой точки привезли президента России Ельцина Бориса Николаевича.

Предварительно, разумеется, установив на месте события телекамеры.

И вот — о счастье! — Ельцин своими ногами вышел из лимузина и пошел лично пробовать пирожок с вязигой и запить оный кваском ядреным, с хренком! Народ, разумеется, разогнали по округе погаными метлами, чтобы случайно питающийся по соседству избиратель не испортил дедушке аппетит.

Дедушка взял заранее проверенное охраной питание, пошутил заранее написанный текст и вместе с подносом и свитой двинулся к кассе, за которой уже полчаса сидела в предынфарктном состоянии заранее отобранная кассирша.

Пришел, таким образом, час расплаты.

На этот случай дедушке дали деньги, — и Борис Николаевич, будучи человеком вполне непосредственным, начал прямо у кассы их рассматривать. Он видел деньги в первый раз, и ему было жутко интересно.

Дедушке помогли подобрать нужные бумажки, и сближение с народом состоялось.

«Юноше, обдумывающему житье…»

Летели из Сочи.

В соседнем кресле кочумал крепкий молодой человек. Он только что вернулся из армии и находился на жизненном распутье вот какого свойства: у юноши была задумка поставить свою жизнь на крепкое финансовое основание, и он колебался между школой милиции и работой на братков.

Братки предлагали дело и крышу — в школе милиции была перспектива стать крышей самому. Но у братков деньги начинались сразу, а в школе милиции первых серьезных «бабок» надо было некоторое время дожидаться.

С другой стороны, у братков постреливали, а юноша хотел пожить подольше.

У каждого из вариантов, таким образом, имелись свои плюсы и минусы, и юноша спрашивал моего совета как человека пожившего. Я отнекивался, но юноша, еще выпив, потребовал наконец прямого ответа. К браткам — или в милицию?

Я сказал, что, по моим наблюдениям, в текущий исторический момент одно другому не мешает, чем, кажется, снял камень с его пытливой души.

Дело было в середине девяностых.

Где он сейчас? В каком чине? Я заранее горжусь моим воспитанником.

Такой период

Санкт-Петербург, 1997 год. Поздний вечер. На улице, что интересно, Салтыкова-Щедрина (!) стоит пьяненькая тетушка в возрасте между «ягодка опять» и средне-пенсионным.

— Мужчина, — говорит она мне, — ну куда вы торопитесь?

— В гостиницу, — отвечаю, — а что?

— Зачем же в гостиницу, — говорит ночная бабушка и улыбается мне довольно интимно. Несколько ошарашенный (ибо на проститутку моя собеседница похожа, как я на Марлона Брандо), интересуюсь: что же она может предложить мне взамен? И бабушка с готовностью выкладывает свой нехитрый прейскурант: сауна, несколько ее товарок на выбор… Видимо, на моем лице отразился сыновний ужас, потому что женщина, смутившись, сказала (дословно):

— Мужчина, вы не подумайте чего, мы приличные домохозяйки… *Просто у нас сейчас период оплаты счетов!*

Слуги народа

Спустя несколько лет после эмиграции Янислав Левинзон, капитан популярнейшей в свое время, одесской команды КВН, приехал в Москву и поселился в одноименной гостинице. Помимо него обитали там, в частности, иногородние депутаты Госдумы.

И вот едет, значит, Левинзон в лифте, а вместе с ним едут два мужика со значками на лацканах — избранники народа. Один избранник (бывший телезритель) внимательно смотрит на Яна и наконец спрашивает:

— Простите, вы на утреннем заседании были?

А вы лицо Левинзона представляете? Такой фракции еще нет. Ян, честный человек, отвечает:

— На утреннем заседании я не был. Депутат уточняет:

— А на вечернее — пойдете?

— Даже не подумаю, — отрезает честный Левинзон. Вдохновленный этим ответом, депутат повернулся к коллеге:

— Вот я и говорю: не хрена нам там делать!

Подъем духовности вручную

В новейшее время начальство в полном составе рвануло в сторону духовности. Обкомы в полном составе перешли в православие, и не осталось ни одного офицера КГБ, который не отметился бы со свечкой у алтаря. И вот — весна 1994-го, Кремль, Соборная площадь; из церкви, под перезвон колоколов, при большом скоплении народа выходят президент и патриарх. И Борис Николаевич, расчувствовавшись, говорит:

— Россияне! Поздравляю вас с Пасхой — и, значит, с рождением Христа!

Как говорится, чтобы два раза не вставать.

Примерно в это же благословенное время в церковь рангом поменьше, предварительно собрав вокруг себя несколько телекамер, пришел Жириновский. Пришел, решительным шагом прошел к образам, собрал в горсть пальцев сколько Бог дал — и начал класть на себя крест.

Путь ото лба к животу Владимир Вольфович прошел безошибочно, а дальше задумался. Стоит, жменю у пупа держит и к которому плечу ее вести — не знает, благодетель.

Впрочем, наш брат журналист тоже отличился на ниве православия. Пасхальный репортаж из Елоховского собора корреспондент НТВ закончил так:

— Христос воскресе! С места события — Иван Волонихин…

…А счет на восстановление храма Христа Спасителя был открыт в Дзержинском отделении Жилсоцбанка, в Безбожном переулке. Есть еще вопросы?

Бурый премьер

В середине девяностых премьер Черномырдин возжелал поохотиться на медведей. Охота была немедленно организована в заповеднике на Ярославщине; реформатор спустился к берлоге на вертолете.

Обо всем этом стало известно журналистам; в «Огоньке», а потом в других изданиях появились сообщения о премьерской охоте; программа «Времечко» даже устроила сороковины невинно убиенных медвежат… В общем, Черномырдина, что называется, достали.

Накласть в карман любезному ЧВСу сподобились и «Куклы». Программа «Витя и Медведь» вся была построена на «медвежьих» ассоциациях: то бюджетники сосут лапу, то у левых сил зимняя спячка, то Большая и Малая Медведицы плохо расположены…

Нерезиновый Виктор Степанович немедленно по выходе программы обрычал руководство НТВ по телефону. Мы, разумеется, были довольны, ибо к тому времени уже два года считали высочайший гнев лучшей похвалой. Но все это оказалось только завязкой. Жизнь продлила придуманный нами сюжет.

Через несколько дней на заседании правительства, проходившем, как положено, под председательством многострадального ЧВСа, выступал главный таможенник страны г-н Круглов. И, рассказывая о трудностях таможенной службы, он позволил себе метафору: мол, есть еще у нас такие медвежьи углы…

Виктор Степанович рявкнул на таможенника так, что тот чуть язык не проглотил.

— Сядь! Все! Хватит!

Таможенник попытался объясниться: мол, про медвежьи углы — это он в порядке самокритики…

— Сядь на место! — крикнул реформатор.

И еще, говорят, минуту в страшной тишине перекладывал ЧВС с места на место бумаги, не мог продолжать заседание.

Закончу, однако, также на самокритике: ведь готовясь писать ту программу, я выписал в столбец все, что смог вспомнить в русском языке на косолапую тему. Мне казалось, я ничего не забыл…

Но русский язык приберег «медвежьи углы» — для отдельной репризы в зале заседаний правительства.

Мы строили, строили…

Как-то раз Виктор Степанович Черномырдин заявил Ирине Ясиной:

— Ну что, Ирка, построили мы с тобой капитализм! И тут же поделился наблюдениями, породившими этот неслабый тезис:

— Вчера ночью, — говорит, — ехал через деревню, специально попросил шофера остановиться у магазина. Семь сортов колбасы! Ночью! В деревне! Представляешь?

— А что за деревня-то? — поинтересовалась Ира.

— Да почем я знаю? — отмахнулся премьер. — Какая-то деревня.

— Да как называется? — не отставала Ира. Премьер даже возмутился.

— Что ты пристала? Какая разница! Простое русское название…

— Не Жуковка, часом? — уточнила Ясина.

— Точно, Жуковка!

Ну да, где ж еще было ехать с работы Виктору Степановичу?

Для тех, кто не в курсе: Жуковка — кусочек номенклатурной Швейцарии по Рублево-Успенскому шоссе. В общем, построили они капитализм…

Панихида для пиара

Жизнь сплетает жанры самым фантастическим образом. Кто бы сказал мне, что смешная история может начинаться словами «дело было на отпевании Бродского»… Но ведь — может!

Этот сюжет рассказал мне Петр Вайль.

В похоронном доме в Нью-Йорке, куда привезли тело Бродского, было два зала. Во втором в это же самое время отпевали какого-то итальянца.

И вот посреди приватного прощания с великим поэтом к дому с помпой подкатила государственная процессия — лимузины, охрана, суетящиеся холуи… Из головного лимузина вышел, собственной персоной, премьер-министр России Виктор Степанович Черномырдин. Ему в руки всунули букет красных роз, и премьер пошел прощаться с Бродским.

О смерти Бродского и о его существовании Виктор Степанович узнал, надо полагать, одновременно — из доклада собственной пиар-службы. Какой-то ушлый образованец сообразил, что, ежели Бродский так удачно умер во время визита «Черномора» в США, грех этим делом не попользоваться.

И вот, значит, направился премьер к гробу…

Здесь следует заметить, что сюжет прошел в сантиметре от чудовищной развязки: ведь Виктор Степанович мог начать говорить. Речь Черномырдина над гробом Бродского — можете себе представить? Но Господь распорядился сюжетом иначе.

Когда ЧВС, с букетом наперевес, прошел в помещение, из соседнего зала, временно покинув своего покойника, вышла группа заинтригованных итальянцев: любопытство по поводу приезда лимузинов с охраной пересилило их скорбь.

— Кто это? — в спину ЧВСа поинтересовался у Вайля один из вышедших.

Петр объяснил. Весть о приезде в похоронный дом премьер-министра России привела итальянца в сильнейший восторг.

— О! — сказал он. — Пускай и к нашему зайдет!

Тусовка

Случайно встретив кинокритика Василия Кисунько через несколько дней после похорон Листьева, его приятель, весьма известный и уважаемый в обществе человек, поинтересовался:

— Ты тусовался на Владе?

«Минуй нас пуще всех печалей…»

Рассказ покойного ныне артиста Мамуки Кикалейшвили о его встрече с Шеварднадзе (тот привечал деятелей культуры, противостоявших Гамсахурдиа):

— Когда Шеварднадзе сказал мне: «Ты не представляешь, как я тебя люблю», у меня внутри все похолодело. А когда он сказал: «Мамука, ты мне дороже родного сына», я понял, что надо уносить ноги.

Мы разговаривали с Мамукой в Москве…

На перекрестке

Среди великих формулировок эпохи не должна затеряться фраза, которую приписывают уроженцу Тбилиси, балетмейстеру Михаилу Лавровскому: «Светофор в Тбилиси себя не оправдал!»

Бывшие союзные

В Узбекистане в начале двухтысячных годов высочайше запретили игру на бильярде — как способствующую распространению наркомании и преступности, Я попробовал восстановить логику решения и познал ее: оказывается, многие преступники были замечены за бильярдом.

Но это что! Незадолго до того сын отца азербайджанской нации невзначай проиграл в Стамбуле два миллиона долларов — и разгневанный папа-вождь велел закрыть все казино в Баку.

Хорошо, что сын, наследник престола, в Стамбуле не отравился — папа мог бы закрыть в Баку рестораны.

Я, Толстой и Достоевский

Справедливости ради: эта восточная логика имеет хождение и на родимой территории.

Однажды — дело было в середине девяностых — глава Конституционного суда России г-н Туманов, обидевшись на мои впечатления от российского правосудия, публично посетовал на то, что писатели в России, обязанные прививать уважение к закону, регулярно позволяют себе неуважительные высказывания в адрес судейских!

Конкретизируя свою мысль, г-н Туманов упомянул гг. Толстого и Достоевского: как, мол, ни судья у них в художественном произведении, так какой-нибудь мерзавец… Дивным образом оказавшись в одной компании с классиками, я, конечно, немедленно возгордился.

Но какой ужас: это, оказывается, из-за Толстого в России нет уважения к закону! Если я не ошибаюсь, Англии по судебной части сильно нагадил Диккенс.

«Выполнение программы правительства…»

Кстати, о судебной части.

Я обещал рассказать историю «посадки» (на семь лет строгого режима) моего друга Юры, но эта история, пожалуй, чересчур мрачная для этой книжки. Для увеселения почтенной публики — вот лишь несколько эпизодов того дела. Так сказать, легкие штрихи к портрету нашей блядоватой Фемиды.

Цитата из обвинительного заключения: «Данное дело явилось результатом *выполнения программы правительства* по искоренению преступлений и коррупции в сфере экономики». (Курсив мой — В.Ш.)

Во время зачтения приговора заснула и упала головой на стол тетка по правую руку от судьи. Это была народный заседатель, и звали ее Иветта *Раздатовна*.

Конвойный, надевавший на Юру наручники, оказался его соседом по подъезду. Юру брали в железа, когда судья еще дочитывал приговор… Это заняло секунд двадцать. После приговора оправдательного, состоявшегося после трех кассаций, через четырнадцать месяцев, Юра не мог выйти на свободу еще восемь суток.

Все эти восемь дней начинались для меня одинаково: я звонил в канцелярию Мосгорсуда и интересовался судьбой бумажки, от движения которой в пространстве зависело освобождение заключенного.

Бумажку требовалось доставить из суда в Тверскую колонию.

За восемь дней до Тверской колонии из Москвы можно добраться ползком, но бумага все путешествовала по темным закоулкам родной пенитенциарии, а в канцелярии суда всё пили чай: как ни позвонишь туда — все звон чашек да бабий говорок. Они мне, признаться, надоели, но уж и я их, слава богу, достал!

День как раз на восьмой, когда я заученно поинтересовался у неизвестной мне канцелярской тетки, когда же будет выполнено решение суда, а она мне заученно что-то отвечала, в трубке, перекрывая звуки утреннего чаепития, раздалось обращенное к моей собеседнице, нетерпеливое:

— Люся, давай скорее, чай стынет!

И работник канцелярии Мосгорсуда, недостаточно прикрыв трубку ладонью, сказала коллегам, а я, в тихом восторге, тут же дословно записал. Она сказала:

— Да тише вы, ёб вашу мать, это этот звонит, как его, козла… Шендерович!

Борьба с преступностью

А вот коленце из судьбы другого моего приятеля-бизнесмена.

В один прекрасный день некий сотрудник его фирмы взял из кассы семьдесят тысяч долларов и исчез.

Бизнесмен обратился в милицию. Там даже не стали делать вид, что собираются кого бы то ни было ловить, сказали: ищи сам, нам не до того (что можно считать проявлением как искренности, так и особого цинизма).

Тогда бизнесмен через своих знакомых вышел на офицера ФСБ, и офицер ФСБ пообещал свести его с бандитами, заведующими в этом районе Москвы организованной преступностью: за отдельные деньги бандиты согласились помочь борьбе с преступностью неорганизованной.

Встреча состоялась. Бандиты пообещали бизнесмену найти беглеца и «вынуть» из него злосчастные 70 тысяч. Бизнесмена ознакомили с расценкой работы (50% от «вынутой» суммы), и он с расценкой согласился. А что ему оставалось?

Бандиты обещали через какое-то время перезвонить и слово свое сдержали. Позвонив, они сообщили моему приятелю три вещи: первое — что найти беглеца не смогли, второе — что больше заниматься этим они не намерены, других дел по горло; и наконец, третье — что он должен им три штуки баксов.

— За что? — спросил бизнесмен.

На том конце провода подумали несколько секунд и ответили:

— За знакомство.

Бизнесмен подумал, что это такая шутка, но через неделю ему позвонил тот самый бандитский связной (по совместительству офицер ФСБ) и передал, что «обстановка накаляется» и «ребята ждут бабок».

И еще полгода потом бизнесмен вертелся угрем, а обиженные пацаны, которым не было заплачено за знакомство, искали его со своими раскаленными утюгами и корешами из ФСБ.

А власти удивляются, что мы не платим налоги.

Переговорный процесс

В тот же самый исторический период, в 1998 году, в одном немаленьком московском банке, ориентированном на «нефтянку», проходили серьезные переговоры. Высоких переговаривающихся сторон, желающих поучаствовать в контроле над трубой, было пять:

банкир (мне об этом впоследствии и рассказавший);

вор в законе;

чеченский полевой командир;

генерал ФСБ;

заместитель генерального прокурора Российской Федерации.

— И что? — поинтересовался я.

— Прекрасно договорились, — успокоил банкир.

Дачный поселок

Дело было в девяносто девятом.

Заехал я по неосторожности к приятелю молодости, ныне известному адвокату N., на дачу. То есть, я думал, что это дача, а это оказался крепостной замок с видеонаблюдением по периметру, среди других таких же. Все эти охраняемые асьенды находились, разумеется, еще и за шлагбаумом с охраной.

Дело происходило в подмосковном поселке (в прошлом — обиталище старых большевиков). Впрочем, во времена большевиков ни шлагбаума, ни видеонаблюдения здесь не было. А доживали в этом поселке свои жизни — летом, в зеленом казенном домике — моя твердокаменная бабушка с дедушкой, недорепрессированным троцкистом…

Но времена изменились, изменились и дачники.

И вот выводит меня адвокат на опоясывающую балюстраду третьего этажа и начинает обзорную экскурсию.

— Видишь, — говорит, — домик? Это домик судьи. Судя по размерам домика, если судья был человеком честным, то ему удавалось это хорошо скрывать.

— А вот, — говорит адвокат, — домик прокурора. Тоже неосторожный человек.

— Почему?

— Надо было сначала уволиться, а потом строить такой домик. Вот, гляди сюда…

По соседству виднелся немаленький участок, плотно загруженный импортными стройматериалами.

— Это участочек следователя по особо важным делам. Он через год уволится, уйдет в бизнес и уже тогда начнет строительство.

Я не понял связи.

— Вот и следствие не найдет связи, — объяснил адвокат. — Между таким домиком и предыдущим местом работы.

Тут я помаленьку начал понимать, куда попал. Но впереди у меня было еще много открытий.

— Это дом главы местного РУБОПа, — продолжал экскурсию адвокат. — А рядом — дом местного авторитета.

Между домами, которые уместнее было бы назвать усадьбами, не наблюдалось даже забора. На общей лужайке красовалось барбекю. По вечерам, после рабочего дня, глава РУБОПа обсуждал с авторитетом ход его поимки…

— Теперь смотри.

Мы перешли по балюстраде на другую сторону дома.

— Видишь? — сказал адвокат. — Это дом генерала ракетных войск.

Генерал ракетных войск жил в крепком деревянном доме; во дворе, у аккуратной поленницы, стояла «Волга». Это было, безусловно, благополучие, но какое-то не нынешнее, глубоко советское… Зато рядом высился ново-русский каменный дворец с чудовищными излишествами; не поручусь, но кажется, имели место кариатиды…

Адвокат дождался моего вопроса и ответил с огромным удовольствием:

— Полковник строительных войск.

Спустя полчаса, уже за чаем, я поинтересовался, много ли работы.

— Нет, я сейчас отдыхаю, — ответил мой собеседник. — Жду двухтысячного года.

И пояснил, обведя рукой окрестный пейзаж:

— В двухтысячном им всем понадобятся адвокаты…

Но черная примаковская туча миновала эти благословенные места; у власти остались свои, и адвокат N. подмосковным латифундистам не понадобился.

В настоящее время он работает в правительстве Российской Федерации.

Домики для людей

А вот история другой подмосковной недвижимости; немножко жутковатая, но — не страшнее времени. Знаменитый лондонский дизайнер получил заказ из России от одного мелкого олигарха: построить в его подмосковном имении, на искусственном озере, небольшой средневековый город. Игрушечный, по типу маленькой брюссельской Европы…

Дизайнер сделал это с присущим ему талантом. Вырыли озеро, насыпали остров, построили город — с мостами, башенками, улочками… все, как оговаривалось, в масштабе один к двум.

Заказчик приехал принимать работу. Походил по этому средневековью, полюбовался, поцокал языком… Потом потрогал стены и поинтересовался, как работает отопление.

— Какое отопление? — не понял дизайнер.

— Как какое! Они ж замерзнут зимой. — Кто?

Тут выяснилось досадное недоразумение. Оказывается, мелкий олигарх задумал построить у себя на участке старинный маленький город не для бессмысленной красоты, а чтобы поселить в нем лилипутов.

Живых.

Чтобы, значит, он утром выходил из дома, а кругом — благодарные средневековые лилипуты. А он вроде как Гулливер.

Тяжело быть маленьким олигархом.

Элита

Зазвали меня как-то в гостиницу «Метрополь» на вручение премии «Элита». Премия деловых кругов России, не кот начхал!

В числе прочих дать какую-то цацку в этот вечер должны были и мне. Название премии с самого начала немного насторожило, но пропеллер ниже спины, как Карлсона, понес меня в сторону тусовки. Цацка, да и любопытно же!

В «Метрополе» все было в разгаре: утка, стерлядка, политики, бизнес, звезды эстрады… Через какое-то время меня вызвали на сцену и, сказав много лишних слов, действительно вручили цацку. Это было что-то шикарное в коробочке, перевязанной золотой ленточкой, что-то эдакое… на всю жизнь счастье, короче.

Более подробно описать премию не имею возможности, потому что ее немедленно сперли. Кого-то мне представили, кому-то — меня, потом с кем-то поставили фотографироваться, я пакетик к стеночке и прислонил. И — как на вокзале!

Элита, бля.

Дворянское гнездо

Флотский офицер В. подстерег меня за кулисами после концерта и воззвал о помощи: он почувствовал в себе призвание фотографа и хочет посвятить этому остаток жизни. Офицер просил устроить ему выставку в Москве и предъявил образцы своего творчества.

Это были нащелканные на «кодаке» фотки с изображением девиц в довольно нестроевых позах. Демонстрация сопровождалась офицерскими комментариями, больше напоминавшими солдатские.

Офицер был сумасшедший, о чем я должен был бы догадаться с самого начала.

Я сказал: большое спасибо — и начал помаленьку отгребать в сторону от маньяка, и только тут увидел главное: альбомом для фотографий служили страницы детского издания Жития Христова.

Писатель со вкусом такой деталью бы и ограничился, но жизнь не знает ни меры, ни вкуса… На прощанье офицер дал мне свою визитную карточку, и на карточке значилось: член Дворянского собрания города NN.

А теперь — дискотека!

Посреди строительства капитализма, среди бела дня, своими глазами видел развешенную вдоль дорог рекламу *дискотеки «Молодая гвардия».*

Как должны звать диджея? Олег Кошевой?

По специальности

Шла вторая неделя кризиса 1998 года. Доллар летал между двадцатью и тридцатью, наличности в стране не было, наверху искали крайних и симулировали мозговой штурм.

Костистый мужчина, подвозивший меня на своих «Жигулях», крыл последними матюгами все ветви власти. За полчаса поездки не осталось ни одного сколько-нибудь заметного политика, обойденного его вниманием. Я молчал, наслаждаясь развернутыми оценками персоналий. Завершив обсуждение вопроса «кто виноват?» перешли на «что делать?»

Он так и спросил.

Сначала я подумал, что вопрос носит риторический характер, но водитель ждал ответа. А Чернышевский из меня никакой: понятия не имею, что делать! Но вопрос был задан, и, помучившись, я ответил что-то нехитрое в том смысле, что кризис кризисом, а мы должны делать свое дело, каждый свое, а там уж как получится. Как говорится, по специальности.

— А что, — сказал водитель, — я могу по специальности…

И как-то нехорошо задумался. Надолго так.

— А вы кто по специальности? — решился я наконец. И мужчина ответил:

— Артиллерист.

И снова замолчал.

Кажется, я навел человека на мысль.

Сфера обслуживания

Выступал я как-то в казино (случается в жизни и не такое).

Неподалеку от места выступления имелся ресторан с баром, а вокруг бара — большой ассортимент девушек, предназначенных для тех, кто в эту ночь не обделен удачей, но лишен ласки.

А я хотя не Куприн, но тоже любознательный.

Короче, разговорились мы у бара с одной клеопатрой, 300 долларов за сеанс… Поговорить с собой, впрочем, она позволила бесплатно — она меня, вы будете смеяться, узнала и решила поделиться своей мечтой.

Эта мечта стоит того, чтобы если не сбыться, то хотя бы быть услышанной народом.

Хочу, сказала клеопатра, стать депутатом. В крайнем случае — помощником депутата. Я поинтересовался: зачем? А так, с ходу ответила клеопатра, ибо ответ на этот вопрос, по всей видимости, сформулировала давно… Ни хера не делать, ездить на машине с шофером, и только бла-бла-бла, бла-бла-бла…

Текст передаю дословно.

Немного подумав, я заверил клеопатру, что она уже на правильном пути. Я только забыл ее предупредить, что в депутатах ей будет труднее, чем сейчас, потому что обслуживать клиента придется на глазах у общественности.

Впрочем, и расценки повыше.

Интерес к эпохе Возрождения

Много лет назад один мой добрый приятель, журналист N., будучи во Флоренции, наткнулся на лавку, в которой делают оттиски больших гравюр с видами этого города. Шлепают их, как фантики, но — по старой технологии, на камнях, «под старину» опять-таки.

Склонный ко всему прекрасному, мой приятель купил несколько имевшихся в лавке пейзажей, по 35 долларов за штуку, а спустя какое-то время увидел такие же — в Кремле, после знаменитого тамошнего бородинского ремонта с «Маббетексом»; на стенах одной залы, в роскошных рамах. Он спросил у местного краеведа, что это за гравюры — и выяснилось, что: Флоренция, шестнадцатый век.

Эх, заглянуть бы в смету…

Карла дель Понте, мисюсь, где ты?

Ответственные силы

Осень 1999 года, лечу на концерт в Петербург. Впереди, в бизнес-классе тусуется большая компания государственных мужей во главе с вице-спикером Чилингаровым. Лету до Питера час с небольшим, но коньяк в «бизнесе» наливают бесплатно, и к посадке в Пулково государственные мужи смотрятся уже довольно неофициально.

Через несколько часов я встречаю всю эту гоп-компанию в ресторане «Астория», куда меня привозят на ужин щедрые организаторы концерта.

В точности по Довлатову, меню в ресторанах я всегда читаю справа налево — начиная с цены. А в «Астории» цены такие, что, даже ужиная за счет организаторов, я время от времени вздрагиваю от количества бессмысленно потраченных у.е.

А за соседними столами гуляют государственные мужи во главе с вице-спикером Чилингаровым. Льются марочные коньяки; пиджаки от Версаче сняты, у рубашек от Армани закатаны рукава. После показа коллекций нижнего белья (не самого по себе, а на девушках) часть этих девушек, не вполне одевшись, переселяется за столики к государственным мужам…

К началу второго ночи, когда я отправляюсь в гостиницу, жизнь за соседними столиками только выходит на расчетный уровень.

Спустя часов семь, продрав глаза в своем номере, я плещу в лицо воды — и по дурной привычке включаю телевизор, чтобы, не дай бог, не пропустить какую-нибудь новость. И, щелкая пультом, дощелкиваюсь до петербургского канала, а там…

Там (в прямом эфире) — учредительный съезд движения «Отечество — Вся Россия». Таврический дворец. На трибуне стоит губернатор Яковлев, а в президиуме сидит вице-спикер Чилингаров и пьет воду. И вокруг него сидят люди из вчерашней «Астории», все с серыми лицами — и все тоже пьют воду.

И губернатор Яковлев говорит (дословно): настало, говорит, время, когда в российскую политику должны прийти ответственные силы!

А ответственные силы, сидя в президиуме, не могут даже кивнуть головой на эти судьбоносные слова, а только пьют воду. Лица у всех тяжелые, мрачные. Ясно, что всю ночь накануне съезда эти люди не спали, думали о России…

Боль за Россию и крутое похмелье дают на лице примерно одно и то же выражение невыразимой словами тоски — вот ведь что интересно!

Кто звонит в колокол…

Осенний день год кормит; всяческие юбилеи для свободных художников — хороший случай подмолотить деньжат. Мой друг Вадим Жук подписался на такую шабашку по случаю 850-летия Москвы. Речь шла о сценарии какого-то массового действа чуть ли не на Красной площади.

Ставил действо известный американский режиссер Андрон Михалков-Кончаловский.

Дурное дело нехитрое, и сквозной сюжет был без интеллектуальных излишеств. Все действо ряженые россияне строили колокол, а в конце, по отчаянной мысли Вадима Жука, кто-то должен был в него ударить. Типа метафора. Вадик, чистая душа, предложил, чтобы в колокол ударил маленький мальчик. Типа метафора, опять-таки. Типа — будущее… завтрашний день России…

— Какой, блядь, мальчик! — вскричал американский режиссер Михалков-Кончаловский. — У нас в первом ряду — будущий президент России!

И в колокол ударил Юрий Лужков.

Чем бы дитя ни тешилось…

Как брат брата…

Этот анекдот, как крючочек петельку, цепляет другую историю тех же нравов, рассказанную уже другим свидетелем. За правильное распределение ролей и в связи с вышеописанным юбилеем Москвы американский режиссер Андрон Михалков-Кончаловский был представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

А брат его, известный российский кинорежиссер Никита Михалков, незадолго перед этим, в связи с собственным пятидесятилетием, получил то же самое 3-й степени.

Весть о том, что родной брат может получить то же самое более высокой степени, проняла патриотическое сердце Никиты Сергеевича до самых глубин, и он специально пришел на комиссию по государственным наградам, и выразил недоумение происходящим, поставив вопрос в государственной плоскости: будет ли правильным с политической точки зрения, если российский режиссер заслуживает от Отечества что-то третьей степени, а его брат, американский режиссер, — второй?

И Андрона Сергеевича понизили до того же самого — четвертой степени!

Как я был осетром

Однажды за мое здоровье пил Лужков, Ей-богу, не вру!

Дело было весной 99-го. Путина еще не знал никто, кроме жены и детей, Лужков числился будущим президентом России, и вся Московская мэрия, поголовно, носила кепки.

Не носивший кепки не имел деловых перспектив вообще.

У них даже песня была про кепочку, клянусь! Они пели ее хором. Это было нечто вроде гимна, или, лучше сказать, «Мурки», по которой в этой «малине» опознавали своих. Я слышал песню своими ушами — при нижеследующих поучительных обстоятельствах.

Меня пригласили выступить на вечеринке, посвященной дню рождения какого-то префекта. Вечеринка должна была состояться в элитном ресторане в центре Москвы, куда я и был заблаговременно приглашен на переговоры. О предмете переговоров мне было сказано уклончиво, но твердо: надо.

Два шкафоподобных охранника у рамы металлоискателя, интеллигентным образом меня просветив, куда-то позвонили. Пришел человек — крупный, но уже не чересчур, и повел меня в приемную, где с поклоном передал следующему — поважнее, но роста уже вполне обычного.

С некоторой тревогой я отметил, что иерархический рост сопровождается здесь уменьшением габаритов…

Еще через полминуты меня ввели в огромный зал. Это был кабинет.

С первого взгляда стало ясно, какая проблема угнетает обитающих здесь людей: у них было гораздо больше денег, чем можно потратить, находясь в здравом уме. Одних телевизоров в кабинете было штук пять. Какие-то напольные вазы, марочные коньяки в бутылках-бочках, холодное оружие с инкрустацией… На стене висел ковер с видом Москвы в масштабе один к одному. Навстречу мне, поднявшись из-за стола, шел хозяин кабинета, восточного вида господин.

Надо ли говорить, что росту он был меньше всех предыдущих?

Предмет переговоров выяснился очень скоро: на дне рождения префекта, где мне предстоит выступать, будет присутствовать лично Юрий Михайлович.

Мы были в кабинете одни, но мой собеседник так и сказал: Юрий Михайлович. И даже несколько поклонился, не вставая с кресла. Кажется, это был рефлекс.

— Замечательно, — сказал я, не видя в этом сообщении

ничего ужасного.

— У вас будет пленка, — напомнил хозяин заведения.

— Да, — подтвердил я. Речь шла о ролике из программы «Итого», с которым, собственно, меня и приглашали выступить для увеселения почтенной публики.

— Там будет Лужков? — имея в виду пленку, спросил хозяин кабинета.

— Будет, — подтвердил я.

— Не надо, — сказал хозяин кабинета.

— Почему? — поинтересовался я.

— А не надо, — ответил хозяин кабинета. Я сказал, что тогда не надо и остального.

— Почему? — поинтересовался теперь уже он.

Я, как мог, объяснил почему. Нельзя же шутить при Лужкове над всеми остальными, а над ним не шутить!

— Можно, — заверил меня хозяин кабинета.

— Это нехорошо, — предположил я.

— Хорошо, хорошо, — успокоил хозяин кабинета и улыбнулся, блеснув нездешней керамикой.

Где-то посреди этого диалога дверь открылась, ив зал-кабинет вошел совсем уже короткий юноша с глазами оловянного цвета и аналогичного содержания. Он пару секунд оценивал меня как незнакомый предмет интерьера, отвернулся и что-то сказал на незнакомом мне горском диалекте. Хозяин кабинета что-то ответил, подошел к столу, вынул из ящика пачку долларов США и отдал их юноше.

Я успел подумать, что запросил за выступление маловато: деньги в этом кабинете выдавали на вес. Юноша взял доллары и, не сказав больше ни слова ни на каком языке, ушел.

— Племянник, — пояснил хозяин кабинета, и мы вернулись к нашему худсовету. Изымать Лужкова из видеопрограммы я отказался, и мой визави, цокнув языком, сказал:

— Э, тогда я ничего не знаю. На том и порешили.

В назначенный день я снова пришел в этот ресторан. На дне рождения префекта гуляла московская номенклатура. На столах стоял годовой бюджет небольшого российского города: заливное, икра мисками… Увидев осетра с лимоном во рту, я почувствовал себя персонажем кино из жизни купечества.

Когда настал мой час, я вышел из подсобки на небольшую сцену перед экраном и увидел Лужкова — он с приближенной челядью сидел на возвышении прямо по центру; цезарь городского значения с перспективами на будущее.

Внесем ясность: повышенные гонорары на такого рода мероприятиях платятся артистам за унижение. Ты себе говоришь,

поешь или танцуешь, а они себе едят, разговаривают; мимо ходят официанты… Выступающий на корпоративном мероприятии, таким образом, сам в некотором смысле является осетром с лимоном во рту — в зависимости от популярности, осетром более или менее крупным. В девяносто девятом я был крупный осетр.

Понимая правила игры и не сильно рассчитывая на успех, я что-то такое прочел, поздравил префекта — и напоследок объявил фрагмент из программы «Итого». Погас свет, и пошла пленка.

Появление на экране Ельцина было встречено взрывом дружного хохота, и некоторое время реакция шла по нарастающей. Зюганов — обвал смеха! Анпилов — бру-га-га, Жириновский, Немцов — стон удовольствия! И тут на экране появился Юрий Михайлович Лужков. Он, как ребенок, вертелся туда-сюда на руководящем кресле. Руки его были кокетливо сложены на животе, круглое лицо лучилось неподдельным счастьем.

Это был самый смешной момент программы, но хохот отрезало, как ножом. Было такое ощущение, что в зале вырубили звук.

Когда зажегся свет, чиновники московского правительства сосредоточенно перебирали что-то в тарелках. Было совершенно понятно, что никто из них на экран не смотрел и Лужкова там не видел. Меня, стоявшего в двух метрах поодаль, не замечал ни один из них. Меня просто не было.

У Станиславского это называется «малый круг внимания».

Неэкранный Юрий Михайлович сидел на возвышении и соображал. Секунд через десять сообразил, встал, постучал вилкой по бокалу и произнес цветистый тост в мою честь. Мол, сатира! Демократия, мол… Давайте поднимем бокалы за нашего гостя…

В ту же секунду меня обнаружили все.

— Виктор! Что же вы стоите! И меня покормили.

Выборы-99

Политическая реклама движения «Отечество — Вся Россия». Имперский кабинет, гардины с кистями, двухтумбовый стол красного дерева… За столом сидит Евгений Максимович Примаков. И первые его слова такие:

— Народ в нищете…

Места знать надо

Во время своей предвыборной проповеди в программе «Глас народа» (16 декабря 1999 года) на словах «прикрывать срамные места» Никита Сергеевич Михалков прикрыл ладонью сердце.

Чистый Фрейд.

Конец цинизма

В послевыборную ночь, ночь на 20 декабря 1999 года, в компанию, где уже расслаблялся я, зашел ведущий ОРТ Паша Шеремет. А ОРТ в те месяцы сильно отличилось по части агитации, пропаганды и черного пиара — в чем Паша в меру таланта участвовал. И вот он подсаживается ко мне, кладет руку на мой локоть и дружелюбно говорит: «Как хорошо, что закончился этот цинизм!».

Паша — сам по себе человек незлобный. Поэтому цинизмом и прочей подлостью его в те годы заправляли, как машину бензином. Снаружи. Аналогичные дырочки для заправки цинизмом впоследствии обнаружились у многих милых людей.

О пользе пьянства

Встречаю как-то в театре Сатиры добрейшего Михаила Державина, и он вдруг говорит:

— Знаешь, Витя, а я ведь вступил в «Единую Россию».

— Как же это вы, — говорю, — Михал Михалыч, не убереглись?

— Да вот, позвонили, сказали: давай вступай, — ответил Державин. — А я всегда вступаю в партию. Такая судьба. Я и в КПСС вступил. Вызывает меня Плучек и говорит: Миша, надо вступать. Я говорю: почему я? Почему не Шура, не Андрей? Плучек говорит: они евреи, а пришла разнарядка на русского. Я говорю: тогда Папанов. Плучек замахал руками: предлагал, говорит! Папанов сказал: мне в партию нельзя, я напьюсь и потеряю партбилет!

Жалко Державина. Хороший человек, но непьющий.

Тост

На закрытии телевизионного фестиваля в Барнауле глава пресс-службы губернатора Алтайского края произнес тост, в котором форма и содержание слиплись в долгожданной гармонии. Он сказал:

— Давайте выпьем за самих себя, за нас, которые мы есть!

Наша зоология

На главной нижегородской елке в тамошнем кремле к детишкам вышел губернатор Иван Петрович Скляров — и, по случаю наступающего Года Кролика, решил помочь детям сориентироваться в происходящем.

— Кролики, — сказал он, — это такие зайцы, у которых много детей, и они это часто. Но этому не надо мешать — это надо возглавить!

Дети были в восторге.

Признание

Придя на открытие нового питерского телеканала, представитель президента на Неве и будущий губернатор города г-жа Матвиенко жизнерадостно поведала общественности о своих планах. Она сказала:

— Хочется уже человечинки! Иногда и Матвиенко говорит правду.

Голая правда

Концерт в далеком северном крае мне предложил тамошний министр по внешним связям, обнаруживший меня за соседним столиком в одном московском клубе. Хорошо зная номенклатурные повадки, я уточнил: не случится ли в это время в том крае каких-нибудь выборов? А то, бывало, приезжаешь на концерт, после концерта к тебе в гримерную заходит глава администрации с фотографом, жмет тебе руку, щелк — и готово дело: Виктор Шендерович приехал поддержать тютькина-путькина и желает ему победы на выборах…

Ни-ни, сказал Сережа (министра звали Сережа). То есть выборы будут, но это — никакого отношения… Отлично, сказал я. Значит, ни с кем из начальства не встречаюсь, в афише — никаких там «при поддержке администрации…».

Ни-ни, сказал Сережа. Просто концерт. Для людей! И я полетел к людям.

И вот за несколько часов до встречи с людьми, на рубеже вечной мерзлоты, Сережа «обедает» меня в хорошем ресторане. Где-то в районе антрекота, коротко поговорив по мобильному, он поднимает на меня честные глаза и говорит:

— Это губернатор звонил, он тут неподалеку, хочет зайти…

— Не надо, — сказал я.

— Просто поприветствовать, познакомиться…

— Мы договаривались, — напомнил я.

Министр Сережа крякнул с досады.

Когда мы выходили из-за стола, он вернулся к теме:

— Может, заедем к нему? На секундочку. Он нормальный мужик…

Но я занял глухую оборону.

Отстреливаться я продолжал до самого концерта. А после концерта:

— Ну что, — сказал Сережа. — Может, в саунку? Там и поужинаем.

Саунка находилась на огороженной территории с охраной, что должно было включить в мозгу красную лампочку, но, расслабленный успешной работой, я пребывал в обесточенном состоянии.

В теплом подвальном помещении был накрыт фуршет класса люкс. Рядом уже вовсю грелась сауна, в углу работал телевизор, а некто пожилой и мелкий, в войлочной шляпе, суетился по температурному вопросу.

— Семен Иваныч, — спрашивал он, — парку подбавить?

Семен Иваныч, грузный мужик, замотанный в простыню, гонял шары по зеленому сукну. А может, не Семен Иваныч он был. Может, Иван Семеныч… Неважно, и уточнять неохота.

— Привет! — сказал Сережа. — Вот и мы.

Мы разделись; я тоже замотался в простыню и, по Веничкиному совету, немедленно выпив, приступил к процедурам. В последний раз говорю: расслабленный я был после концерта. Даже не поинтересовался: с какого бодуна здесь этот Семен Иваныч с обслугой. А после ста граммов коньячка напряжение отпустило окончательно — я малопьющий, и для счастья мне много не надо…

Мы по очереди паримся, я играю с грузным дядькой в пул, обыгрываю его по пьяной лавочке, настроение по совокупности обстоятельств — чудесное. Мелкий с вениками суетится насчет парку, Сережа благостно попивает в углу коньячок.

А телевизор в углу разговаривает себе ночными новостями. И красавица ведущая (единственная одетая в этой сауне) доходит наконец до ежедневных наших чеченских радостей: грузовик опять подорвался на фугасе, трое погибших…

— Этих черножопых, — говорит тут мой партнер по бильярду, — мочить надо всех! Они, — говорит,— вообще не люди!

Он, собственно, ни к кому в отдельности не обращался, но я почему-то решил ответить.

— Голову себе намочи, — говорю. — Раздухарился… Грузный не обиделся, а с пол-оборота вступил в полемику:

— Давить! Давить вместе с детьми! Это звери настоящие! Я из диалога тоже не ушел.

— Фашист, — говорю, — на себя посмотри!

Беседовали мы эдаким образом минут пять. Игра, разумеется, прекратилась — я, помню, даже на всякий случай отложил кий, чтобы не отоварить грузного хама по выпирающему тестом животу. Очень спьяну хотелось.

Потом я увидел побелевшего лицом, осевшего на лавочку знатока пара; потом министра Сережу: он сидел, обхватив голову руками, и мерно мотал ею из стороны в сторону, по всей видимости, пытаясь ее отвернуть. Ровно в эту секунду я понял, что играю в бильярд, пью коньяк и беседую по чеченскому вопросу с губернатором края.

И ведь главное: я же много раз видел его раньше! Но не в простыне, а в Совете Федерации. И про черножопых он ничего там, в телевизоре, не говорил, а все больше про нравственность.

Вечеринка свернулась сама собой. Я уже одевался, а министр внешних связей Сережа все сидел, обхватив руками свою

мелкоруководящую голову. Еще древние говорили: «Когда господь хочет наказать человека, он исполняет его желания…»

А тот суетливый, с веничками — это у них был министр культуры.

Кто о чем

Вечером 21 февраля 2002 года щелкаю пультом на первую кнопку телевизора и слышу взволнованный монолог Никиты Михалкова.

— Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, — говорит он. — Когда людей обыскивают, унижают их человеческое достоинство…

Я подумал: это он о Чечне, и еще успел удивиться гражданскому мужеству Никиты Сергеевича… Вот, думаю, орел. Ничего не боится! Но через пару секунд выяснилось, что говорит Михалков о мерах безопасности на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Ну, слава богу…

По тонкому льду

Иногда лед с хоккейной площадки полезно класть на патриотическую голову: чтобы подостыла.

— Надо было осадить чехов, а то они больно вознеслись! — заявил будущий министр спорта Вячеслав Фетисов после нашей победы в хоккейном четвертьфинале той Олимпиады.

Как мы их осадили, видел весь мир: лежали штабелями поперек ворот — внизу Хабибуллин, сверху еще пятеро… Но допустим даже, мы бы разделали соперников, как бог черепаху, — что тогда?

При чем тут «осадить чехов»? У нас что, август 68-го?

Перед полуфиналом, разумеется, про хоккей никто уже не думал, только одно было на сердце: не опозорить Русь-матушку, порвать американцев. А после проигрыша — корреспондент государственного канала подстерегает только что отбросившего коньки хоккеиста Жамнова и спрашивает у него: это национальная трагедия?

И Жамнов отвечает: да, конечно.

И захотелось мне написать хоккеисту письмо примерно следующего содержания:

«Дорогой Алексей! Спешу сообщить вам, что, пока вы играли за команду «Вашингтон Кэпиталз», у вас на родине случилось две чеченские войны с общим счетом убитых и искалеченных за сто тысяч человек; население одевается частично на помойках и питается там же, жилища в зимнее время отапливаются нерегулярно, а в подъездах, примерно раз в неделю, убивают академиков.

И то, что вы и ваши товарищи по специальности деревянными клюшками запихнули в ворота ваших заокеанских коллег-миллионеров меньше резиновых изделий, чем они вам, является вашей маленькой корпоративной неприятностью. Не убивайтесь так…»

Афины-2004

Прошло два года, и прошли они не зря.

После победы российских волейболисток в полуфинале волейбольного олимпийского турнира комментатор НТВ-плюс успел поблагодарить за эту победу президента России. Правильно, кого ж еще? Карполь — он так, на подхвате…

Другой мастер слова комментировал боксерский бой нашего многократного чемпиона с неизвестным американцем. Издеваться над соперником комментатор начал еще за пять минут до поединка: да кто он такой, да что он делает на этой Олимпиаде, и у кого это он выигрывал, вот то ли дело наш капитан…

Потом начался бой, и американец начал нашего капитана бить. И все две минуты первого раунда, пока он его бил, комментатор продолжал над американцем издеваться… Потом, как всегда, начались заклинания: я не понимаю, что происходит, что же это такое, надо собраться, еще есть время, этого не может быть…

Ударить сильнее

Вообще, патриоты у нас — это те, которые не любят Америку. Лучшие по профессии, в мировом зачете, Иран и Палестинская автономия, но мы изо всех сил стараемся не отставать…

Баскетбольный матч на чемпионате мира комментировал гражданин огромных патриотических кондиций. Когда после игрового нарушения нашей девушки американка упала на паркет, он сказал (дословно):

— И сильнее, сильнее надо было ее ударить, чтобы она не так быстро поднималась!

Впрочем, человека советской закалки патриотизм может одолеть практически по любому поводу — и безо всякой Америки. Комментатор Перетурин, например, как-то раз сообщил народу поразительную весть:

— Московские динамовцы разгромили команду с Фарерских островов со счетом 1:0…

Здравствуй, Родина

Часы с петушком и кукушечкой

Моим соседом по дороге в Нижний Новгород оказался дедуля из Курска — лет семидесяти, в тельняшке и с таким запасом провианта, как будто ехать он намеревался до Владивостока.

Мне было добросердечно предложено поесть и налито пива.

Не помню, с чего начался наш разговор, но первый же дедулин тезис поразил меня в самое сердце. В досаде поминая неурожай картофеля на своих сорока сотках, дедуля вдруг в довольно сильных выражениях помянул Соединенные Штаты Америки.

Я поинтересовался: при чем тут Америка? Оказалось: курскую дедулину картошку извел колорадский жук (на метр в землю уходит, ничего с ним сделать нельзя!), а жука того, из названия видно, наслали к нам империалисты, чтобы понизить урожай.

Остаток пути я потратил на изучение этой курской аномалии.

Особых усилий для изучения не требовалось — говорил дедуля сам, ровным, тихим тенорком. Вот что я узнал. Что после войны дедушку не отпустили домой, а *оставили* (как оставляют вещь) еще на шесть лет служить на флоте; что жена горбатилась в колхозе за трудодни и потом, до самой пенсии, тридцать лет, как лошадь, за копейки, а теперь сильно заболела ногами; что душат налогами — работаешь, работаешь, а ничего не остается; что зять, дочерин муж, оказался трутень — только лежит на диване и пьет; что законы у нас мягкие, а надо бы таких расстреливать и вообще, чтобы знали; что в Америке законы гораздо строже — на Клинтона недавно покушались, и покушавшегося расстреляли (я было не поверил, но дедуля отмел все сомнения — покушались и расстреляли, он точно знает); что при Сталине было тяжело, но справедливо, потому что с народом иначе нельзя; что из Курска в Нижний он едет в гости к внучку и везет ему часы с петушком и кукушечкой.

Петушок этот прокукарекал еще до рассвета, в четыре часа пять минут. На пятом кукареку я проснулся окончательно и, лежа в полной темноте, прослушал их еще с десяток. Время я запомнил так хорошо потому, что бесстрастный женский голос из часов сообщал мне его после каждого петушьего крика.

Дедуля при этом продолжал безмятежно спать — прямо в тельняшке.

Утром поинтересовался: петушок был или кукушечка? Я сказал: петушок. Вот, очень довольный за меня, сказал он — и улыбнулся. Глаза у него были голубые, добрые до нежности. А еще есть кукушечка, сказал он.

За окном плыл жутковатый производственный пейзаж — какие-то трубы, ограды, коробки корпусов… Мы послушали, как кукует кукушечка. Внучку везу, сказал дедуля. Внучок смышленый, обрадуется.

Умывшись и попив пивка, дедуля немного подумал и сделал сообщение на межнациональную тему: чеченцы, сказал, вредный народ, еще в войну нам вредили, и не надо с ними разговаривать, а надо так: всех русских оттуда вывезти, а на остальных бросить сверху бомбу. Какую бомбу? — спросил я. Такую, ответил дедуля и мысль свою охотно пояснил. Он когда на Дальнем Востоке служил, на японцев бросили бомбу — и все, и никаких разговоров.

— Японцы тоже вредный народ? — спросил я.

— Очень, — подтвердил дедуля и застенчиво улыбнулся.

Последняя остановка

Поезд остановился в Дзержинске, последней станции перед Нижним. Я набросил пиджак и пошел размять ноги — а заодно голову, поврежденную ночным кукованием и утренней политинформацией. Дверь вагона была закрыта, проводница в своем купе пила чай в компании со сменщицей.

— Откройте дверь, — попросил я.

— Зачем? — удивилась проводница.

— Так… — сказал я. — Подышать.

— Нашел где дышать! — сказала проводница.

Сказанное, хотя и относилось исключительно к особенностям химического производства в Дзержинске, вполне годилось и для оценки жизни на Родине в целом,

Нашли, действительно, где дышать.

Место для метеорита

Человек за рулем «Нивы» полчаса катил бочку на Америку и американцев. Ничем новым, впрочем, он меня не угостил — готовый суп из старого пакетика: они бездуховные, жадные и наглые, а мы бедные, милые и душевные.

В конце получаса я поинтересовался, бывал ли он в Америке.

— А чо я там забыл? — ответил человек. Потом, помолчав, поинтересовался уже он:

— А вы были?

— Случалось.

— И что там: лучше? — ребром поставил вопрос человек.

Я признался: может, не лучше, но дороги ровные, полицейские взяток не берут, и в больницу необязательно ложиться со своей ватой.

Человек замолчал, но было видно, что зреет в нем какой-то протестный асимметричный ответ, как у Горбачева — Рейгану. Я попытался предугадать поворот диалога, но жизнь в очередной раз показала мне, кто здесь настоящий драматург.

— А вот упадет на них метеорит, — угрюмо сказал человек за рулем, — и где твоя Америка?

«Если бы все…»

В городе Кимры Тверской области есть интернат для страдающих олигофренией. Там снимал телевизионный сюжет мой давний знакомец Саша Гордон. И рассказывал потом поразительное.

Стало быть, от хлебосольного государства нашего выделяется больным на содержание, полной чашей, несколько рублей в день на человека, и давно бы умерли они на радость местного собеса — но!

Но олигофрены оказались людьми жизнелюбивыми и завели подсобное хозяйство. И вскоре выяснилось, что это их хозяйство — чуть ли не самое рентабельное в области: коровы, птица, грибы, ягоды… Самим хватает, да еще продают жителям окрестных деревень!

Секрет оказался довольно прост. Дело в том, что олигофрены:

а) не пьют;

б) обожают работать.

У них от труда, видите ли, улучшается самочувствие.

И милости просим — 120% рентабельности! То есть русский олигофрен помаленьку тяготеет к голландцу. Персонал на них не нахвалится.

— Если бы все наши люди были такие… — мечтательно сказала кастелянша…

Главная опасность

— Самое опасное — это подушка безопасности, — сообщил мне человек, сидевший за рулем «десятки»; — Если не пристегнут, может вообще убить!

— А если пристегнуться? — поинтересовался я. Водитель посмотрел на меня презрительно:

— Кто ж пристегивается?

Традиции

Несмотря на предупреждение, почти тысяча рыбаков вышли на ладожский лед. Льдина откололась, шестеро погибли, людей снимали ночью вертолетами…

Рассказ об этом спасенного — в прямом эфире на телевидении. Он полночи лежал на льдине, а рядом с ним лежал его десятилетний сын; льдина таяла, и человек ждал — погибнет он вместе с собственным ребенком или их успеют спасти…

Успели.

В конце программы ведущий спрашивает:

— Ну что, еще пойдете на рыбалку на Ладогу?

И человек, улыбаясь, отвечает:

— Обязательно!

«Кто ж пристегивается?»

Лощина

А вот еще одна очень страшная и очень русская история.

В конце девяностых, под Ельцом, попали в автокатастрофу артисты пятигорского «Рыжего театра». Они ехали в Москву.

В половине шестого утра на спуске Толя, сидевший за рулем, не увидел грузовика, ехавшего впереди. У грузовика были заляпаны грязью габаритные огни, в лощине стоял густой туман…

Двое ребят погибли, жена Толи много месяцев лежала в больнице… Сам он, тоже переломанный, сидел в местном СИЗО и давал показания. Хорошо относившиеся к попавшему в переплет парню, местные милиционеры успокаивали его совесть так:

— А-а, это в лощине, на спуске? Ну, там каждый год кто-нибудь насмерть бьется! Место такое.

О том, чтобы в этом месте — с туманом, спуском и скользкой дорогой, поставить наконец какой-нибудь знак, пост ГАИ и пару фонарей, речи не идет, как и о том, впрочем, чтобы что-нибудь приличное сделать с Родиной вообще.

Место такое.

Наша зоология

Подмосковный дядя на «жигуле» матюкался на гаишников, которых иначе как «волками» не называл.

— Двадцать пять лет кормлю этих волков!

— И что, — поинтересовался я, — за двадцать пять лет не было ни одного, который сделал бы всё по закону: квитанция, штраф, просечка?

Дядя задумался, вспоминая, и вспомнил:

— Нет, был один… Ну, козел!

Чем, собственно, полностью исчерпал зоологию наших отношений с родным государством.

А вот диалог Леши, работавшего у меня водителем в телевизионную пору моей жизни, со встречным ментом — диалог до слез российский и, практически, святочный. Мент остановил Лешу ближе к Новому году и, не тратя времени на формальности, просто попросил у него денег на праздник, сто рублей.

Если бы Леша поинтересовался, с какого, собственно, бодуна он должен давать менту сто рублей, это было бы резонно, но глубоко не по-русски… Разговор продолжился в народном ключе.

— Ты чё, командир! — сказал Леша. — Откуда у меня деньги? Нам еще за ноябрь зарплату не заплатили.

— Да ну!

— В газетах писали! — заверил Леша.

— Да? — Мент огорчился, потом вздохнул. — Вот и нам премию не выдали… Эх!

Они еще немного потоптались на морозе, поматерили начальство, поздравили друг друга с наступающим — и простились друзьями.

Мечты и воспоминания

Диалог моей жены-путешественницы и местного мужика — в Новгороде, в кафе. Местный, вросши в стойку, среди бела рабочего дня целеустремленно пил медовуху.

Они разговорились; жена поинтересовалась, где работает ее собеседник, и собеседник ответил: «Нигде». Продолжая поход в глубь чужой ментальности, жена полюбопытствовала, каково это — нигде не работать, и собеседник ответил: «В кайф».

А когда моя любознательная половинка спросила, чем же он коротает время, мужик, подумав, ответил:

— До обеда — вспоминаю, после обеда — мечтаю…

По дороге на Родину

Ехали-то мы на Селигер.

Сначала все казино да рестораны, потом канал реки Москвы, потом магазин «Икеа», а потом помаленечку началась собственно Россия: заборы гармошкой, родной ситец вдоль битой дороги и приглашение на шиномонтаж — краской по картонке… На четвертом часу путешествия, находясь в патриотическом энтузиазме, мы проскочили нужный поворот и заехали в Вышний Волочок.

Через полчаса я понял, зачем Господь заставил меня сделать этот крюк.

Мы сидели, обедая по негромким ценам в буфете гостиницы «Центральная». В туалете не было воды, и по надобности я был допущен на гостиничные этажи.

Молодость, проведенная в путешествиях по городам и весям, с лестницы ударила мне в голову советскими запахами. Старенькая уборщица ковырялась в коридоре, а из дальнего конца коридорной кишки неслось мужское хоровое пение. Это были частушки, страшноватые даже по местным меркам.

Из цензурных слов в тексте изредка встречались предлоги.

Дрожа от предвкушения, я пошел по коридору навстречу звукам.

Певшие сидели на кроватях — вчетвером в шестиметровом номере. Сидели, как йоги, среди стекла, в тренировочных штанах на голые татуированные тела, перед табуреткой с ополовиненной стеклотарой и обрезком колбасы. Безумное многодневное веселье сияло в стекленеющих глазах. Ответ на вопрос: кем, когда и зачем были командированы в Вышний Волочок эти россияне, давно унесла река времен.

Где-то рос потенциал, креп рубль и удваивался ВВП. Неподалеку от певших, в деревне под Торжком, лежала в своей могиле Анна Керн. Я стоял в двух метрах от вокала, затаив дыхание в буквальном смысле — запах, бивший из номера, мог поднять и Анну Петровну.

Потом я зашел в туалет, отдышался — и мы поехали на Селигер. Там — воздух, грибы, рыба — и деревни с названиями, которых не придумать умом… В деревню Конец не езжайте — что вам там делать? — езжайте в деревню Красота! В Красоте живет Женя, который дивно эту рыбу коптит. Очень советую. Только не промахнитесь — и от Торжка езжайте налево, а то вместо Селигера попадете в Вышний Волочок и, не ровен час, причалите к той гостинице. Там, наверное, до сих пор поют, сидя на

стеклотаре.

Мля, нах…

Пресс-конференция Колоскова, осенью 2003-го, многое прояснила мне не только в области родного кожаного мяча. Вот, мля, говорил про подведомственных ему футболистов пьяноватый вице-президент УЕФА и президент Российского футбольного союза, они, мля, вообще, мля, не хотят играть. Потеряли достоинство, нах…

Ради того, чтобы это услышать всей страной, стоило проиграть Израилю еще и в футбол.

Тютькин из «Чехии»

Дело было в конце девяностых. Корреспондент НТВ в Чечне предложил встреченному им полковнику десантных войск воспользоваться своим спутниковым телефоном и позвонить домой, под Благовещенск, маме: у мамы был день рождения. Заодно корреспондент решил этот разговор снять — подпустить лирики в репортаж.

В Чечне была глубокая ночь — под Благовещенском, разумеется, утро. Полковник сидел в вагончике с мобильным телефоном в руке — и пытался объяснить кому-то на том конце страны, что надо позвать маму. Собеседник полковника находился в какой-то конторе, в которой — одной на округу — был телефон.

Собеседник был безнадежно пьян, и хотя мама полковника находилась, по всей видимости, совсем недалеко, коммуникации не получалось. Оператор НТВ продолжал снимать, но для выпуска новостей происходящее в вагончике уже явно не годилось — скорее, для программы «Вы — очевидец».

Фамилия полковника была, допустим, Тютькин. (Это не потому, что я не уважаю полковников. Не уважал высказал настоящую: поверьте, она была еще анекдотичнее.)

— Это полковник Тютькин из Чехии, блядь! — кричал в трубку герой войны («чехами» наши военные называют чеченцев; наверное, в память об интернациональной помощи 1968 года). — Маму позови!

Человек на том конце страны, будучи с утра на рогах после вчерашнего, упорно не понимал, почему и какую маму он должен звать неизвестному полковнику из Чехии.

— Передай: звонил полковник Тютькин! — в тоске кричал военный. — Запиши, блядь! Нечем записать — запомни нахуй… Полковник Тютькин из Чехии! Пол-ков-ник… Да вы там что все пьяные, блядь? Уборочная, а вы пьяные с утра? Приеду, всех выe…

Обрисовав перспективы, ждущие неизвестное село под Благовещенском в связи с его возвращением, полковник Тютькин из Чехии снова стал звать маму. Когда стало ясно, что человек на том конце провода маму не позовет, ничего не запишет и тем более не запомнит, полковник стал искать другого собеседника.

— Витю позови! — кричал он, перемежая имена страшным матом. — Нету, блядь? Петю позови! Колю позови!

И, наконец, в последнем отчаянии:

— Трезвого позови! Кто не пил, позови!

Такого под Благовещенском не нашлось — и, бросив трубку, полковник обхватил голову руками и завыл, упав лицом на столик купе.

Пишите письма

Получил письмо от телезрительницы с обратным адресом: «Волгоград, проспект Хиросимы, до востребования…»

В рабочий полдень

У меня в квартире ремонт. Дима стругает плинтусы, Миша кладет плитку в ванной. Я сижу в комнате и сочиняю всякую всячину, имея в виду заработать на оплату их труда. В середине дня мы прерываем наши занятия и сходимся на кухне к накрытому столу.

За обедом происходит обсуждение ряда проблем из области прикладной психологии (в этом особенно силен столяр Дима), сравнительный анализ Ветхого и Нового Заветов с выявлением ряда противоречий внутри каждого из них (с цитированием по памяти в исполнении Михаила), а также краткая дискуссия, посвященная постмодернизму как последней стадии мировой культуры (здесь некоторое время солирую я).

Потом мы с Димой пьем чай, а Миша кофе. Потом расходимся по рабочим местам, очень довольные друг другом. А моя жена, все утро готовившая нам троим обед, приступает к уборке стола и мытью посуды.

А что ей остается, если она ничего не знает о постмодернизме?

Сокольники

Утром первого января, часов эдак с одиннадцати, у входа в парк «Сокольники» духовая группа хмурых дед-морозов наяривает на холодке джаз. Лица серые, частично непохмеленные. Работа…

Работа у каждого своя. У чугунных сокольнических ворот стоит человек в черном — то ли парковый служащий, то ли представитель охранной структуры — и отсылает желающих пройти в парк к кассе: по случаю Нового года это удовольствие стоит двадцать рэ.

У кассы небольшая очередь, но это очередь не из местных. Местные, вроде меня, твердо знают, что в двухстах метрах отсюда есть калитка, через которую можно пройти в парк на полную халяву.

И не то чтоб было жалко двадцати рублей, но весь организм протестует против такого необязательного мероприятия, как путешествие к кассе. Слухом земля полнится, и помаленьку вдоль парковой ограды в сторону неохраняемой калитки налаживается человеческий ручеек. Потом ручеек становится рекой. Два юных, отравленных пивом организма, недотерпев, продираются сквозь прутья ограды. Остальные, с детьми и внуками, чинно шествуют до калитки, в коммунистическое будущее, где деньги отменены, все люди братья, а государство как инструмент насилия и взимания отпало к чертовой матери.

Через какое-то время представитель государства, одиноко стоящий у центрального входа, понимает, что с казной все равно не сложилось, и начинает перехватывать идущих вдоль ограды с предложением о новогодних скидках: безо всякой кассы дать лично ему десять рэ вместо двадцати и не переться в обход, а пройти к развлекалову напрямую.

Население, сориентировавшись, разделяется на жадных и ленивых. Жизнь устаканивается и входит в привычное русло. Кассир слушает джаз. Тромбон в красной шапочке с помпоном пританцовывает не то чтобы от веселья: просто в ночь на первое наконец похолодало.

С Новым годом!

Отдыхаем!

2004-й начался для меня с рекламы сигарет, увиденной в метро: это был январский календарь, в котором числа с первого по четырнадцатое были выделены красным, выходным цветом, обведены красным же фломастером и обобщены дивным по емкости рекламным слоганом: «Отдыхаем!».

А у меня как раз на эти дни пришлись некоторые переездно-ремонтные хлопоты. Что-то должны были дочинить, что-то привезти, что-то поставить… Но — кто не успел, тот опоздал: начиная с католического Рождества в наших нетрудоголических палестинах стало наблюдаться замедление реакций, переходящее в глухой автоответчик.

Потом наступил Новый год. Первого числа я никому не звонил — я ж не зверь. Второе пришлось на пятницу; и я дождался пятого.

Пятое было понедельником, но в стране трудовых побед и свершений по-прежнему стояла тишина, если не считать Филиппа Киркорова с Веркой Сердючкой и соседа через стенку, который в эти дни увлекся караоке и тоже пытался петь. Безнадежность ситуации заключалась в том, что соседа нельзя было вырубить пультом.

Шестого мне удалось случайно дозвониться до одного трудящегося, который был в состоянии войти со мной в диалог, но один он ничего не мог, а остальных не было.

Забывшись, я позвонил седьмого с утра и получил выволочку от неизвестного мне охранника. Едва сдерживая гнев, охранник сообщил мне, что весь мир сегодня празднует Рождество — и никто не работает. Я понял, что, пока вчерась пытался дозвониться до фирмы, мир скопом перешел в православие, и мне нечего ловить даже за пределами Родины.

Восьмого мне честно сказали, что лучше зря не дергаться и дождаться уже пятнадцатого, «когда закончатся каникулы».

Впрочем, думаю я, там рукой подать до Татьянина дня, так что особо тормозить смысла не имеет. А Новый год по лунному календарю и День Советской армии, переходящий в Рамадан, оставляют душе надежду во всякое время.

Без протестантизма

Когда железный занавес накрылся медным тазом, наши лучшие качества мы понесли по планете…

В начале девяностых в русской эмигрантской прессе начали появляться перепечатки моих текстов. Я обрадовался, полагая, что наступила новая эра в моем материальном благосостоянии. Я разослал в далекие прекрасные страны с десяток писем, извещавших тамошние редакции, что я польщен их вниманием к моей литературной работе, что жив, здоров и имею почтовый адрес, по которому мне можно переслать гонорар.

Мне представлялось, что вся трудность — в отсутствии адреса.

Не могу сказать, что наша переписка получилась слишком оживленной. Проще говоря, через какое-то время во мне возникло и окрепло совершенно новое ощущение, а именно: что меня, не сказав ни единого слова, послали на три буквы.

Слова, впрочем, нашлись. Когда с аналогичным меркантильным вопросом в редакцию израильского русского журнала пришел мой коллега, ему ответили гениальной формулировкой:

— Мы ворованное не оплачиваем.

Картошка

Сюжет из телевизора.

Голландский фермер взял в аренду в Липецкой области шестьсот гектаров земли и приехал на черноземные просторы, привезя с собою жену, компаньона и кучу техники. Он посадил картошку — и картошка выросла хоть куда.

А на соседних совхозных плантациях корнеплод уродился фигово.

Тут бы и мораль произнести — типа «ты все пела…»

Но в новых социально-исторических условиях басня дедушки Крылова про стрекозу и муравья не сработала. Потому что, прослышав о голландском урожае, со всей области (и даже из соседних областей) к полям потянулись люди. Они обступили те шестьсот гектаров буквально по периметру — и начали картошку выкапывать.

Причем не ночью, воровато озираясь, с одиноким ведром наперевес… — граждане новой России брали чужое ясным днем; они приезжали на «жигулях» с прицепами, прибывали целыми семьями, с детьми…

Приезд на место события местного телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся: люди начали охотно давать интервью, и общее ощущение было вполне лотерейным: свезло!

Мягкими наводящими вопросами молодая корреспондентка попыталась привести сограждан к мысли, что они — воры, но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся и, имея в виду голландского муравья, сказал: вон у него сколько выросло! на нашей земле…

«Из-за острова на стрежень…»

Наблюдение одного моего зоркого приятеля: чуть ли не главная народная песня (про Стеньку Разина и княжну) содержит признаки нескольких особо тяжких преступлений.

Выпавшие из списка

Мой случайный попутчик в день президентских выборов-2004 рассказал полушепотом вот что. Приходит он, стало быть, на избирательный участок и обнаруживает, что его в списках нет. И еще шестерых обитателей его коммуналки — нет. А из восьмерых жильцов имеется в бумагах только один ответственный квартиросъемщик.

— И что вы сделали? — спрашиваю.

— Как, — говорит, — что? Ушел. Вот теперь думаю, куда пойти. Хотел в милицию, но боюсь. Они же могут сделать со мной все что угодно. Меня же нет!

Поддержка народная

Уже после того, как наша команда перебралась на ТВ-6, и по такому случаю ТВ-6 ликвидировали, в поликлинике меня узнала женщина, работавшая в регистратуре, и через окошечко негромко сообщила:

— Мы по вам очень скучаем!

— Спасибо, — ответил я.

— Держитесь… — попросила женщина, переходя на шепот. И почти за пределом слышимости добавила. — Не сдавайтесь…

Без комплексов

Сижу в уютном московском кафе — и не один, а с дамой.

А по кафе слоняется пьяноватый дембель — весь из себя уже совершенно нестроевой и раскованный. Подсаживается к столикам, пытается знакомиться, что-то все время рассказывает… Вдруг — спасибо тебе, Останкино! — он узнает меня. То есть не то чтобы узнает, а просто видит знакомое лицо и подходит пообщаться:

— О! Привет!

— У вас ширинка расстегнута, — говорю я ему чистую правду и получаю непобедимый ответ:

— А я не стесняюсь.

«Хуй вам!»

Национальная идея, находившаяся в федеральном розыске со времен Бориса Николаевича, в ноябре 2003-го вдруг объявилась сама. Случилось это в прямом эфире Первого канала, после победного матча Уэльс—Россия. Озвучил идею, неожиданно не только для мира, но, пожалуй, и для самого себя, герой встречи, защитник Евсеев.

Идучи в раздевалку после матча, он обнаружил перед своим разгоряченным лицом несколько телекамер — и громко, по очереди, сказал в каждую их них… (см. заголовок). Я думаю, Евсеев не имел в виду обратиться таким образом к российским болельщикам, а имел в виду как раз Уэльс, да и, чего мелочиться, все семь восьмых земной суши снаружи от Родины.

Сам того не желая, он разом выразил то, чему многие века подряд были посвящены главные усилия нашего народа. Лучшее и худшее, что мы делали на Земле, мы делали ради права сказать эти бессмертные, хотя и недлинные, слова. Потому что просто, как какие-нибудь бельгийцы, жить ежедневной порядочной жизнью по общим скучным законам — ну, не вдохновляет! Эдак живя, некому даже изложить национальную идею (см. заголовок).

А вот соорудить в чухонских топях чудо-город или победить Гитлера, потому что (см. заголовок), и потом самим же оккупировать пол-Европы с тем же внутренним посылом; и назло Америке первыми полететь в космос, и спиться назло КПСС… Ах, это наше!

Впрочем, Евсеев был не первым. Задолго до этого Ломоносова в бутсах какой-то неизвестный Лавуазье сформулировал не хуже: Игорь Иртеньев, вернувшись из путешествия по Родине, божился, что, проплывая под Вытегрой, видел пустынную пристань без малейших следов человеческого присутствия. А на пристани этой — метровыми буквами написанное «Хуй всем!»

Не «вам», обратите внимание, а — «всем»…

Игорь первым и догадался, что это она и есть, долгожданная национальная идея. Он даже предлагал скинуться и прорубить в тайге просеку соответствующего содержания, чтобы из космоса видно было…

«Обратная точка»

Этот кинематографический термин означает съемку персонажа, глазами которого мы видели предыдущий кадр.

Недавно мы — я, жена и дочь — устроили авантюру и полетели в Южную Америку. В несколько немаленьких перелетов добрались аж до Огненной Земли, где и провели три дня. И можете поверить: самым поразительным впечатлением в городе Ушуайя был не пролив Бигль с Кордильерами на чилийской стороне и не морские львы с птичьими базарами, а вот само это ощущение, что ты — на краю света.

И на этом краю света растет наша подмосковная кашка.

Впрочем, это только ты думаешь, что кашка подмосковная, а вокруг край света! Потому что мирные ушуайцы имеют совершенно противоположные понятия о кашке, центре и периферии. Кашка — растение безусловно ушуайское; центр мира — Буэнос-Айрес; Огненная Земля, конечно, некоторая провинция, но Россия… Позвольте, где же это?

Один ущуайец некоторое время вспоминал — и вспомнил.

— А, знаю! — обрадовал он нас наконец. — Это возле Украины.

Кстати…

Слава Полунин, услышав от меня эту историю, тут же ответил симметричной. О том, как в Новой Зеландии он увидел карту мира — и мира не узнал. То есть: два полушария на месте, какие-то более или менее знакомые очертания присутствуют, но общий вид планеты — совершенно незнакомый.

Он всмотрелся, и оказалось: у них в центре мира — Новая Зеландия. А всяческие европы-америки разбросаны по краям тарелки, эдаким гарниром.

В сущности, правильный подход к вопросу. Как в старом анекдоте про портного из Жмеринки, увидавшего костюм, пошитый в Париже: «Какая глушь, а как шьют!»

Но как полезно бывает посмотреть на себя с обратной точки!

Времена вразвес (часть вторая)

Понаслаждались — и хватит!

Семилетняя дочка так рассказывала про первое гуляние с юной собакой Джулькой:

— Представляешь, она выкрутилась из ошейника, немного понаслаждалась свободой и в ужасе побежала домой!

Очень похоже на рассказ о России в историческом отрезке от Горбачева до Путина.

Такое кино

Президентство Ельцина должно было закончиться летом 2000 года, и телекомпания НТВ заблаговременно сняла про Бориса Николаевича документальное кино. Так сказать, на посошок.

Делал это кино кинорежиссер Сергей Урсуляк, и к Новому, 2000-му сделал его почти полностью; оставалось произвести некоторые технические операции — свести звук, накатать титры… В запасе было полгода.

31 декабря 1999 года, с утра пораньше, Урсуляк с чистой совестью отключил мобильник и пошел с друзьями — не в баню, но вроде того. В общем, отдыхать.

Практически одновременно с Урсуляком пошел отдыхать президент Ельцин — и вся страна встала на уши. Встало на уши и НТВ: прощальный фильм про «Большого Бена» надо было давать сегодня.

А режиссера дома нет и по мобильному он «временно недоступен». И друзья, с которыми он провожает старый год, «временно недоступны», причем уже несколько часов. И жена на грани нервного срыва, потому что из «Останкино» ей звонят каждые пять минут.

А счет уже и шел на минуты. К подъезду дома, где жил Урсуляк, послали машину и еще одну с мигалкой, чтобы сократить время пути в «Останкино» до минимума. Машина есть, мигалка есть, Урсуляка нет.

В пятом часу он вошел во двор своего дома и увидел: у подъезда стоит милицейская машина, а навстречу, чуть ли не в тапочках по снегу, бежит простоволосая жена с криком «Сережа!».

Всякий, у кого есть дети, поймет, что испытал в эту минуту бедный Урсуляк.

— Сережа, — кричала жена, — Ельцин ушел в отставку!

Атрибуты

Тот самый судьбоносный день — 31 декабря 1999-го, репортаж по РТР: «Исполняющему обязанности президента Владимиру Путину был передан ядерный чемоданчик» (в кадре — Ельцин, Путин и офицер с чемоданчиком). И — далее: «Также исполняющему обязанности были переданы *и другие атрибуты власти».*

В кадре — Ельцин, Путин и Алексий Второй…

Большой оригинал

Был у нас в программе «Итого» такой персонаж — Виктор Семенович Ельцов…

Он на самом деле и был, и есть — Виктор Семенович Ельцов. Обнаружен нами в картотеке «Мосфильма». Выразительное имя плюс типаж главы партхозактива решили его судьбу, и Виктор Семенович стал главой администрации выдуманного нами города Федотово, основателем движения «Держава-мать». Лазил в шахты, ездил к ткачихам, говорил патриотические пошлости… Короче, делал все, что делают *они,* и делал вполне убедительно. Однажды мы снимали его в Совете Федерации — он громко молол какую-то написанную мною чепуху… Так на него там даже внимания никто не обратил — настолько лег в масть наш Виктор Семенович!

Надо заметить, что актер так вжился в роль, что по окончании карьеры в программе «Итого» изготовил визитную карточку, на которой был изображен флаг России и, без лишних подробностей, красовались его фамилия, имя и отчество. Ельцова еще пару лет узнавали на улицах, справлялись о политических перспективах…

А в феврале 1999 года мы снимали приезд Виктора Семеновича на ферму. Это была пародия на типовой выезд областного руководителя в народ: Ельцов вышел из машины, дежурный холуй накинул ему на плечи белый халат — и «федотовский глава» пошел в коровник. По дороге с деловым видом пощупал комбикорм. При встрече с народом пообещал поддерживать отечественного производителя. Всё по сценарию.

Сюжет вышел в эфир — и мы о нем забыли. Ровно на год.

А через год, в феврале 2000-го, на другую ферму приехал будущий президент России Владимир Владимирович Путин. Он вышел из машины; кто-то набросил ему на плечи белый халат — и наше всё в окружении местного начальства двинулось навстречу селянам…

Мы смотрели это в новостях, сидя в «Останкине».

— О, — сказала Лена Карцева, режиссер «Итого». — Смотрите. Прямо как наш Ельцов.

Тут будущий президент Путин свернул с дороги, подошел к тележке с комбикормом и начал с задумчивым видом мацать эту дрянь руками. Мы рухнули на пол со стульев. Когда будущий президент России заговорил о поддержке отечественного производителя, мы, икая от смеха, уже рылись в кассетах.

Параллельная склейка дала обратный эффект: стало уже не до смеха.

Смешно, когда пародия похожа на оригинал. Но каким надо быть оригиналом, чтобы соответствовать пародии, сделанной заранее?

Трудности с адресатом

Летом 2000-го главный раввин России Адольф Шаевич прогневал администрацию нового президента поддержкой Гусинского. Ему позвонили и предложили подать заявление об уходе.

Адольф Соломонович, говорят, спросил только: «Кому?»

«Хвост» за Грефом

Дело было в Альпах, зимой двухтысячного.

Накатавшись, я неторопливо спускался в австрийский городок, где мы снимали пансион. На очередном повороте лыжни я увидел сидящую на поваленном дереве Женю Альбац, чему удивился не слишком сильно: русских туристов на Рождество — половина Альп, и мимо меня в тот день проехали по склону несколько человек из московской тусовки.

Между тем Женя среагировала на мое появление как-то совсем неадекватно.

— Витя-я… — низким голосом протянула она и даже замахала на меня руками, как на привидение. — Витя-я…

И замолчала, явно сраженная увиденным.

Я притормозил и поинтересовался, что такого Женя узрела в моем появлении на лыжне. А когда узнал — сам осел на поваленное дерево, уже от смеха. Оказывается, прямо передо мной по лыжне проехал Герман Греф. Он проехал, а за ним сразу из-за поворота — я.

И Альбац решила, что я продолжаю слежку за ними всеми и на лыжне в Альпах.

Догонять Грефа я не стал. Пускай, думаю, отдохнет человек…

Их технология

Березовский, говорят, был неприятно удивлен арестом Гусинского и даже посетовал своему свежеиспеченному голему: мол, это уже лишнее…

— Вы же сами просили на него наехать! — удивился президент России.

— Да, но я не просил сажать, — возразил олигарх.

— У нас такая технология, — пожал плечами президент России.

Без лицензии

Январь 2002-го, только что ликвидировали ТВ-6. Дочь Валентина, девица пятнадцати лет, за завтраком интересуется новостями с фронтов войны за свободу слова. А я едва продрал глаза, мне лень шевелить языком, сижу, отмалчиваюсь.

Минут через десять Валентина осведомляется:

— У тебя что, тоже лицензию на вещание отобрали?

Не сейчас

На напоминание о долгах по зарплате владелец ТВ-6 Борис Абрамович Березовский отвечал гениальной формулировкой, пригодной во всяком разговоре с кредитором:

— Деньги были, деньги будут — сейчас денег нет!

На войне как на войне

В апреле 2003-го новый директор ТВС, ценный кадр олигарха Дерипаски, г-н Терекбаев, задним числом известил нас о снижении вдвое заработной платы за март (цитирую документ в грамматике подлинника) «в связи с перерасходом средств (Война в Ираке)».

Первой моей мыслью было подать в суд на Буша-юниора — какого, правда, хрена он поперся на Багдад? — но я сдержался и правильно сделал. Американская военщина проявила понимание ситуации, и уже через три недели я направил г-ну Терекбаеву столь же вежливое письмо с просьбой по случаю окончания войны в Ираке вернуть мою зарплату на место.

С тех пор в ТВС я не получил вообще ни копейки.

Не отпустили…

Весной 2003-го Примаков и Вольский, эти доблестные государственные мужи, пошли к Путину — отпрашиваться от дальнейшего участия в погибающем проекте ТВС.

К которому, в свое время, Путиным и были пристегнуты.

Глагол «отпрашиваться» взят из приватного рассказа самого г-на Вольского об этом славном эпизоде.

— Ну и? — спросил его собеседник.

— Не отпустил, — печально молвил глава Союза промышленников.

Не отпустили их — как пятиклассников, попросившихся с урока в туалет. Очень строгая попалась училка…

Непреодолимая сила?

На казенных бумажках, которыми казенные люди опечатывали наши останкинские кабинеты, было черным по белому написано, что деятельность телекомпании ТВС прекращена «в связи с обстоятельствами непреодолимой силы».

«Форс-мажор» то есть.

Путин и К°, приравненные к пожару, войне или наводнению, — неплохо для начала… Кажется, на Родине они еще не получали более адекватную юридическую оценку.

Надеюсь, у них все впереди.

Банкет без музыки

В октябре 2002 года в Берлине проходил Конгресс русскоязычной прессы. Приехало, разумеется, некоторое начальство из России: Игнатенко, Матвиенко, редактор «МК» Гусев… Погуляли, лясы поточили, а тут как раз «Норд-Ост», десятки трупов и траур в России — причем как раз в день прощального банкета.

Что делать?

Согласовали промеж собой политическую платформу и решили: банкет не отменять, но провести его — без музыки! Поели и выпили, стало быть, а capella…

Выходцам из ЦК ВЛКСМ испортить аппетит невозможно.

Порядок и отчетность

Вдову Григория Горина пригласили в Кремль: спектакль «Шут Балакирев» получил Государственную премию за 2003 год. Ну, понятное дело: Георгиевский зал, слова, цветы… А потом Любовь Павловну Горину пригласили пройти для получения денежной части премии, и там, в кремлевских бухгалтерских закоулках, у нее попросили *доверенность*.

Ошарашенная просьбой вдова Григория Горина не стала выяснять, как себе представляют этот документ продвинутые работники кремлевской администрации, и молча покинула сей приют федеральной благотворительности.

Если вы полагаете, что за ней бросились с извинениями, то вы слабо представляете обитателей тех мест: прошло несколько месяцев — даже никто не позвонил.

Охранные грамоты

В середине девяностых на стенах многих начальственных кабинетов висели фотографии. В незатейливой композиции на них был запечатлен тот счастливый момент, когда хозяину кабинета удалось, по недосмотру охраны, вплотную приблизиться к телу Бориса Николаевича Ельцина.

Не Картье-Брессон, но в номенклатурной жизни помогало. За пределы кабинетов, впрочем, холуяж в те годы не выходил. Однако ж, как предупреждал один шекспировский шут, время не спит…

Недавно в Москве, в саду «Эрмитаж», открылся премиленький, в восточном стиле, ресторан; над входом его висит огромный, метр на полтора, в восточном же стиле исполненный ковер — портрет Путина. Глаза добрые-добрые… От сглаза, должно быть, и рэкета помогает безукоризненно — жалко, аппетита не прибавляет.

Впрочем, у этих охранных грамот есть профессиональные разновидности. Например, в фирмах, специализирующихся на шоу-бизнесе, считается очень правильным повесить на видном месте фотографию хозяина фирмы рядом с Кобзоном.

Тоже почему-то хорошо помогает от рэкета.

Кстати, вы не знаете, почему?

Вопросы дня

Плюньте тому в глаза, кто скажет, что при Путине меня не пускают на телеэкран. Отнюдь! Вот краткий перечень предложений: принять участие в обсуждении выступления футбольной сборной России на Евро-2004 (НТВ), выступить экспертом в программе о проституции (Первый канал), поучаствовать в ток-шоу на тему «Борода — признак ума?» на РТР…

(Я представил себе это шоу: Солженицын против Лужкова… — и решил, что обойдутся без меня. Тем более, я давно сбрил бороду — и уже не очень точно представлял, на чьей стороне мне выступать в ходе этих, столь важных для судеб России, дебатов на государственном канале…)

А летом 2004-го позвонили из «Российской газеты» — говорят, у нас вопрос дня, не согласитесь ли ответить? А только что боевики захватили Назрань, Кавказ полыхает… Давайте, говорю, отвечу.

Ну, они и спросили:

— Какая у вас дневная норма спиртного? Вопрос дня!

Светлые перспективы

В Самарканде, в гостинице, сбылась моя давняя мечта: увидел туркменское ТВ. Золотой профиль Туркменбаши в верхнем углу — в лавровом венце, буквально! Сам Отец Туркмен неторопливо, со вкусом, распекает нерадивых министров, мешающих ему обеспечить народу окончательное счастье. Вечно танцующие дети; потом девушка в национальном наряде рассказывает о трудовых успехах на фоне фанерного щита с цветущей долиной. Потом группа военных долго играет на местном струнном инструменте. В центре — вундеркинд с таким же инструментом (народ и армия едины). Потом — новости: полторы минуты в кадре, почти без склеек — пустыня и работающий в ней ударник-экскаватор.

К этой журналистике мы помаленьку приближаемся (см. программу «Время»). Пустыня со временем приложится обязательно…

Здравствуй, лето!

Времена возвращаются лицами и лексикой.

В июне 2003-го в программе «Время» появилась неизвестная мне правительственная тетка с арбузными щеками и сообщила:

— В нашей стране дети до пятнадцати лет подлежат отдыху!

Лучшая концепция государственного телерадиовещания

…принадлежит моему, слава те господи, бывшему, товарищу по работе Владимиру Кулистикову (партийная кличка Вован). Уйдя с НТВ на руководящую должность на ВГТРК, Вован объяснял перешедшему следом журналисту базовые принципы новостной работы на государственном телевидении.

Инструктаж был так хорош, что его начали передавать из уст в уста в дословном виде:

— У нас верстка простая: первое — Путин, второе — Путин, третье — Путин. И сиди, «бабло» получай!

Один телезритель

Формула вышеописанного Вована напомнила мне одну старую телевизионную байку.

В позднесоветское время в «Останкино» пришел заместитель министра обороны: записать поздравление с Днем Советской армии. Сел в студии, положил перед собой листок — и все по листку, не поднимая головы, оттарабанил.

— Товарищ генерал, — предложил гостю режиссер, любитель прекрасного, — вот видите: красный огонек горит? Это телекамера. Вы туда все это скажите, там — миллионы телезрителей, и вы к ним обращаетесь…

На все эти демократические изыски генерал ответил с военной прямотой:

— У меня один телезритель — министр обороны.

Русская Швейцария…

Зима 2000 года, горные районы Чечни. Командующий федеральными войсками генерал Казанцев угощает журналистов и в застолье добродушно шутит:

— С вас всех, — говорит, — надо снять по паре дней отпуска. Смотрите, куда я вас привел! Красота! Горы, сосны, воздух… Швейцария!

— Лишь бы швейцарцы не вернулись, — мрачно заметил телеоператор N.

Прикладная пушкинистика

Лужков, человек без комплексов, говоря о рачительном ведении городского хозяйства, начал вдруг цитировать «Скупого рыцаря». Цитировал, разумеется, своими словами, на радость психоаналитикам. В частности, упомянул Юрий Михайлович *«седьмой* сундук, сундук еще неполный».

У пушкинского Рыцаря, как сейчас помню, сундуков было шесть. А у московского мэра где-то, стало быть, есть и седьмой.

Я бы на месте Счетной палаты этим фактом заинтересовался.

Прикладная пушкинистика-2

Осенью 2003 года жители российских городов регулярно натыкались на плакаты с сентенцией большой мыслительной глубины: «Пробуждение РОССИИ, ее движение к ЕДИНСТВУ — неужели в этом не вся ее история?».

Вопрос носил характер риторический: к тому времени уже всем было ясно, что именно в движении к ЕДИНСТВУ — вот такому, заглавными буквами пропечатанному, — и состоит вся, как есть, история России. Тем более если автором этого умозаключения является не хрен собачий, а Пушкин, и писано это им, как утверждает плакат, в письме Чаадаеву.

Задумчивое лицо Александра Сергеевича над цитатой не оставляло сомнений: именно Грызлов и Пехтин грезились поэту как светлое будущее России.

Растроганный прозорливостью гения, я полез в любимый десятый пушкинский том, в письма.

И гений в очередной раз удивил. Оказывается, ничего такого он Чаадаеву не писал.

А писал вот что: «Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется) (…) — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?»

Вот ведь незадача! Говоря о «пробуждении», Пушкин, оказывается, имел в виду пробуждение от татарского ига (привет члену политсовета Шаймиеву). И не делал пошлых умозаключений о том, в чем заключается история России, а вступаясь за нее перед горьким философом, утверждал, что история эта у нас — есть.

Но какая разница, что имел в виду Пушкин, когда на носу — выборы, в моче — революционная целесообразность, и моча все время ударяет в голову?

«Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние…» — как писал Александр Сергеевич Петру Яковлевичу в том самом письме.

Целесообразность

В послевыборную ночь я брел по останкинским коридорам. Параллельным курсом двигались два известных политолога, отговорившие свое в эфире одного федерального телеканала и направлявшиеся на другой.

Они рассуждали о туманных перспективах СПС.

— Им добросят голосов, — предполагал один.

— Могут не добросить, — скептически пожимал плечами другой, впоследствии оказавшийся более прозорливым.

Они обсуждали это вслух, прилюдно, совершенно бытовыми голосами, как будто речь шла б прогнозе погоды на завтра, а не о деянии, предусмотренном Уголовным кодексом РФ в статье 142 («фальсификация избирательных документов»).

До четырех лет лишения свободы (это я так, на будущее).

«Зоолетие»

Празднование трехсотлетия Санкт-Петербурга удалось, прежде всего, по части воровства и показухи, рекордным даже по российским меркам.

Друзья питерцы с некоторой гордостью (как новейшую достопримечательность) показывали мне на Фонтанке дом, за фронтоном которого не было вообще ничего — это было нечто вроде театральной декорации…

А Гостинный двор отреставрировали, напротив, роскошнейшим образом — но только ту его часть, которая могла быть видна с Невского при проезде президентского кортежа. Если бы дорогой ВВП рискнул пешочком пройтись вдоль по Большой Садовой и завернуть за угол, он бы увидел конец финансирования. За углом начиналась разруха — сразу, без переходов и полутонов.

Кстати, о финансировании. Рассказывают, что ближе к славному дню Эдуард Кочергин, главный художник юбилея, пришел на прием к некоей даме из мэрии Санкт-Петербурга, курировавшей хозяйственную часть, и попросил денег. Не нулей, которых было вывалено в смету из федерального бюджета несчитано, а реальных бумажек, чтобы расплатиться с подрядчиками.

В ответ руководящая дама начала на Кочергина кричать неблагим матом:

— Вы что! — закричала она. — Что вы, как маленький! Вы что, не знаете, что *этих денег давно нет!*

Вор, орущий на обворованного, позволившего себе заикнуться насчет недостачи — даже не выразить неудовольствие, а просто удивиться, — вот сцена из новых времен, ожидающая своего Сухово-Кобылина…

Запах

Помимо несостоявшегося лазерного шоу, главным воспоминанием о днях юбилея стало воспоминание о запахе мочи, надолго пропитавшем город на Неве. Количество муниципальных туалетов было явно не рассчитано на два миллиона гостей.

Означенный запах помаленьку пропитал и международную арену…

Воспоминание Алексея Германа, приглашенного в Константиновский дворец, на самую что ни на есть престижную встречу российской элиты с высочайшими гостями юбилея. Как почти всякий не слишком молодой человек, спустя какое-то время после начала церемонии (длившейся, разумеется, очень долго), классик кинематографа почувствовал настоятельную потребность ненадолго отлучиться.

Ненадолго — не получилось. Классик ходил по коридорам дворца в поисках нужного места, но как раз нужного места не было, и никаких указателей тоже (чай, не Эрмитаж). И тогда Герман, чья, так сказать, чаща терпения помаленьку переполнялась, вышел во двор, где, по счастью, обнаружилось большое дерево с кустарником.

И художник устремился к природе.

Уже войдя в природу, он обнаружил под деревом здоровенного детину. Детина был в строгом костюме, из-за уха под пиджак тянулся характерный проводок: кого-то он тут, у дерева, охранял. Когда Герман приступил к тому, зачем пришел, с другой стороны дерева, застегиваясь, вышел премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Как говорится, всюду жизнь.

Впрочем, на петровских ассамблеях биотуалетов тоже не было, так что юбилейный запах можно считать вполне, так сказать, аутентичным…

Труба

Отдельная страница в будущей саге о «зоолетии» Санкт-Петербурга — история реставрации вышеупомянутого Константиновского дворца с превращением оного, разумеется, в резиденцию президента:

О смете говорить не будем, чтобы не расстраивать бюджетников. Речь о другом. Рассказывают, что работники кремлевской администрации, принимая работы, обратили внимание на трубу ТЭЦ, торчавшую на горизонте: труба портила пейзаж, могущий открыться дорогому гаранту из окон дворца. Местным властям было предложено немедленно убрать эту гадость с глаз долой.

На робкие возражения, что ТЭЦ обеспечивает теплом целый район, было отвечено, что хер с ним, с районом, а портить пейзаж любимому президенту никому не будет дозволено. Но тут выяснилась действительно неприятная вещь: оказалось, что от этой чертовой трубы обогревается и сам Константиновский дворец.

Тогда было велено, для пущего благолепия, раскрасить широкую эту хреновину в цвета российского флага и нарисовать на ней орла — натурально, двуглавого. Реализации патриотического проекта помешали законы перспективы: труба оказалась не только широкой, но и круглой, в связи с чем орел неотвратимо приобретал вид, во всех смыслах, бойлерный…

Решено было ограничиться флагом.

И доселе стоит там ТЭЦ, вся в триколоре, и из триколора идет патриотический дым.

Верный товарищ

Одним из штрихов в мужественном портрете нашего нового президента (а на изготовление портрета были брошены все СМИ) стала такая деталь: когда Собчак проиграл выборы, Путин проявил принципиальность и ушел вместе с ним, не бросил учителя… После смерти Собчака об этом рассказывалось особенно часто.

Иногда, к ужасу христианского мира, слово «Учитель» писали с заглавной буквы.

Для будущих историков в этой связи будет любопытно свидетельство депутата Ленсовета Бориса Вишневского. А видел и, главное, слышал он, как в коридорах Смольного к только что победившему губернатору Яковлеву подошел некий чиновник и сказал:

— Владимир Анатольевич, там у вас в приемной сидит Путин, просит принять.

— Чтобы я этого мудака больше не видел! — грозно крикнул в ответ новый губернатор Петербурга.

Но неисповедимы пути господни: увидеть вышеупомянутое Яковлеву все-таки пришлось. И даже выпало счастье поработать под его руководством.

«Расемон»…

Вообще, сверка версий — жутко познавательная штука.

Василий Пичул делал телефильм к десятилетию октябрьских событий 93-го года, а я как раз зашел в монтажную — и увидел дивную «склейку»: Хасбулатов рассказывал про разговор в тюремной камере, после своего ареста, с генеральным прокурором Казанником.

— Я сказал ему: вы представитель закона, прекратите немедленно это безобразие! Я требую освобождения!

Через секунду в мониторе о том же самом эпизоде рассказывал Казанник:

— Я вошел в камеру, он упал мне в ноги, говорит: умоляю вас, выпустите меня отсюда…

«Курск»

— Наняли блядей по десять долларов!

Этот текст, по свидетельству Сергея Доренко, принадлежит президенту России Путину. Время и обстоятельства произнесения фразы: на следующий день после показа по ОРТ жен погибших подводников, в городке Ведяево.

Жены проклинали генералитет и лично главнокомандующего. Главнокомандующий, увидев это, позвонил на ОРТ и сказал (см. выше).

Ну, разумеется. Целиком состоя из одной холодной головы и будучи большим специалистом по спецоперациям, наш президент весь появляющийся в прессе «негатив» рассматривает, в свою очередь, как спецоперацию против себя. В этой системе координат жены погибших подводников и не могут быть ничем иным, кроме как «блядьми, нанятыми по десять долларов».

Моральные оценки опустим. Самое интересное тут, с моей точки зрения, не оценки, а именно — расценки. В холодной президентской голове имеется, стало быть, прайс-лист на блядей по проведению дискредитационных акций…

Что же: надо признать, это у нас стоит довольно недорого.

Обморок

А этот эпизод из жизни президента России я видел своими глазами — разумеется, в останкинском мониторе. Если бы мы показали увиденное на всю страну, образ гаранта, ей-богу, дополнился бы для населения неожиданными красками…

Шло награждение в Кремле. Ритуал был прост и отработан десятилетиями. Дама в трибунке произносила очередное имя; награждаемый шел к президенту, гаранту передавали коробочку с наградой и диплом, девушка подносила лауреату цветы.

Имя — награда — цветы, имя — награда — цветы…

На очередном витке этой процедуры дама, называвшая имена, лишнего слова не говоря, просто рухнула в обморок прямо в трибунке. От волнения или духоты — бог его знает. С грохотом, успев цапануть рукой по включенному микрофону, она рухнула прямо к ногам президента.

Ни один рефлекс не выдал во Владимире Владимировиче мужчину. Гарант переждал падение, шагнул поближе, с любопытством юнната заглянул в лицо упавшей и, чуть поджав губы, качнул головой: мол, надо же, чего бывает!

Охрана в несколько секунд вынесла тело из залы. Еще через несколько секунд в трибунке стояла другая женщина, и награждение продолжилось.

Чего он хочет?

Виктор Петрович, левачивший на своем «Мерседесе» восьмидесятых годов сборки, узнал меня по голосу, на светофоре разглядел — и завел разговор о политике. Полагаю: чтобы сделать мне приятное (я уже давно произвожу впечатление человека, которого хлебом не корми, дай поговорить о политике).

Некоторое время Виктор Петрович вслух рассуждал о неисповедимых путях собственного недавнего волеизъявления. Я, сказал он, сначала думал вообще не ходить. Ну их всех. А потом че-то посмотрел, посмотрел — и решил пойти.

— И за кого проголосовали? — бестактно поинтересовался я.

Виктор Петрович даже пожал плечами:

— За Путина. За кого ж еще?

Я не стал помогать с ответом, и Виктор Петрович самостоятельно провел анализ давешних претендентов на второе место. Анализ начался у Тургеневской, а к Сретенке уже закончился, причем ехали мы быстро.

— Ага, — сказал я. — А Путин?.. Ответ на этот вопрос тоже был готов,

— Во-первых, не пьет, — уверенно ответил Виктор Петрович. — Во-вторых: я помню, включаю телевизор, а он по-немецки говорит. Значит, голова-то на плечах.

Возразить было нечего.

— Вот только я не понимаю, — продолжил Виктор Петрович, — чего он вообще хочет?

— То есть? — не понял я.

— Ну, чего хочет? Вообще.

— Вы у меня спрашиваете? — уточнил я. — Ну.

— А почему у меня?

— Ну, вы же там, наверное, знаете…

(Леонид Якубович рассказывал: однажды ему пришло письмо от телезрителя — с просьбой передать это самое письмо Клоду Ван Дамму. Телезритель полагал, что все, кто появляется в ящике, там, внутри, и живут — и все промеж собой дружат. По той же, видимо, логике я должен был знать, чего хочет Путин…)

— Виктор Петрович, — сказал я. — Он ведь уже четыре года тут президентом. Теперь вы мне его еще на четыре года выбрали. И у меня же спрашиваете, чего он хочет.

Подумав немного, Виктор Петрович сказал:

— Ну.

— Я не знаю, — почти не соврал я.

Вскоре, расплатившись с учетом инфляции и бережно

попрощавшись с положительным Виктором Петровичем, я навсегда покинул «Мерседес» восьмидесятых годов сборки. Некоторое еще время я думал о самом Викторе Петровиче (год сборки его головы могу только предположить, но, кажется, начало пятидесятых). Потом мои мысли перескочили на Путина. И правда же: и не пьет, и по-немецки говорит, как тот Чуковский Крокодил Крокодилович… И ведь чего-то, наверное, хочет…

Ну да ладно; у нас есть еще минимум четыре года. Может, расскажет.

По просьбе публики

Афиша в Нижнем Новгороде, обнаруженная мною через несколько дней после избрания Владимира Владимировича на второй срок, гласила: «Камера пыток продлена по просьбе публики».

Как я был телезвездой

Эпизоды.

— Перестаньте улыбаться, держите себя в руках!

Гример Наташа

Как живут Шендеровичи

«Звездой» меня сделала Генпрокуратура — в июне 95-го, уголовным преследованием программы «Куклы».

Все это было очень приятно и занимательно, но имело, разумеется, и оборотную сторону: мое имя стало появляться в прессе в самых неожиданных контекстах.

Поначалу я обижался и даже звонил в редакции, а потом плюнул — и виртуальный «Шендерович», окончательно отделившись от меня, зажил своей собственной жизнью.

Он эмигрировал в Америку и разводился с женой, оформлял ПМЖ в Германии и владел престижным московским клубом, говорил какие-то немыслимые пошлости в интервью, которых я вообще не давал, а однажды был госпитализирован с сердечным приступом.

Добрые люди сообщили об этом по телефону моей маме — по счастью, как раз в тот момент, когда у мамы был я сам.

Впрочем, случались и вещи приятные. Так, однажды из «Московского комсомольца» я узнал, что зарабатываю тридцать пять тысяч долларов в месяц. При первом удобном случае я, разумеется, позвонил олигарху Гусинскому и попросил привести платежную ведомость в соответствие с информацией в прессе.

Олигарх весело послал меня на некоторые буквы родного алфавита.

Наконец, в одно прекрасное утро, заглянув в интернет, я обнаружил висящий на пол-экрана анонс: «Шендерович обвиняется в убийстве испанки». Покрывшись холодным потом, я щелкнул «мышью». Через несколько секунд выяснилось, что речь идет об испанском хирурге Херардо Шендеровиче, у которого на столе во время операции умерла пациентка.

Ну, слава богу… То есть… ну, вы поняли.

Репутация

Дело было в Петербурге, в гостинице «Октябрьская». Некоторое количество газет и радиостанций попросили об интервью, и я решил выболтаться с утра пораньше.

Нарезав утро по получасовые кусочки, ровно в половине одиннадцатого я встретил у лифта первую журналистку. Мы прошли в номер. Коридорная, сидевшая у лифта, проводила нас выразительным взглядом. Впрочем, не могу сказать, что мы ее сильно удивили.

У коридорной всё было впереди.

Через полчаса мы с девушкой вышли из номера. Девушка села в лифт, а через минуту из лифта вышла другая — и мы пошли ко мне в номер! Коридорная часто задышала. Когда мы проходили мимо нее, смесь презрения и брезгливости уже кипела на маленьком огне и переплескивала через край, постукивая крышкой.

Еще через полчаса я проводил к лифту вторую девушку и вернулся в номер с юношей. Еще через полчаса на смену юноше в номер заходила дама бальзаковского возраста, причем с ней был фотограф — немолодой коренастый усач…

Все эволюции несчастной коридорной описывать не берусь, но к пятой перемене блюд брезгливость и презрение на ее лице сменились наконец вполне объяснимым восхищением.

С тех пор в «Октябрьской» коридорные меня уважают.

Единица мужской красоты

Оставалось полчаса до моего первого прямого телеэфира — в программе «Чае пик». Я волновался, а немолодая гримерша все что-то рисовала у меня на лице. Наконец я не выдержал: не пора ли, говорю, уже запудрить что есть, да и в кадр?

— Погоди, — что-то прорисовывая у глаз, ответила мне пожилая останкинская гримерша, — сейчас ты у меня будешь красивый, как Саддам Хусейн…

Встреча со славой

Сочи, кинофестиваль «Кинотавр». В баре меня узнает девушка (в данном случае это — профессия). Смотрит на меня и мучается: где-то видела, но где? Наконец:

— Мы с вами знакомы? Я говорю: еще нет.

— А вы в прошлом году тут были?

— Нет, — говорю.

— А в Дагомысе?

Труженица пола начала перебирать места работы, но я не сознавался.

— Ну где я вас видела? — спросила она наконец с некоторой уже обидой в голосе. Тут я мысленно расправил плечи и намекнул, предвкушая сладость узнавания:

— Ну-у… может быть, в телевизоре…

Я ждал не напрасно. Лицо девушки просветлело, и она в восторге выдохнула:

— Глоба!

Сходство

В аэропорту, у ленты выдачи багажа, меня опознал человек. Он был пьян и интеллигентен, отчего излагал свои мысли вполне складно и даже литературно, но вслух и очень громко.

— Вот стоит мужик, похожий на Шендеровича, — сообщал он всему Домодедову. И заглядывал мне в лицо. — Не, ну одно лицо… Делает же природа!

Затем он сказал нечто поразительное.

— Сколько бабок можно сделать на таком сходстве! И я понял, что у меня все впереди.

Тема сходства не покинула человека у ленты выдачи багажа — вскоре он договорился до великолепной репризы.

— Вот едет сумка, похожая на мою. А свою я уже взял. Как быть?

Мои перспективы

«Сколько бабок можно сделать на таком сходстве» (см. выше) … — я уже примерно знаю. С таксой прояснилось при следующих обстоятельствах.

В самолете Москва — Ташкент некий молодой подвыпивший среднеазиат, опознав меня, захотел пообщаться. В ответ на первый отказ он просто сел в проходе, взял меня за руку и начал общаться явочным порядком.

Бог послал мне в тот день немножко терпения — и я попытался объяснить молодому среднему азиату, что хочу побыть в одиночестве. Он понял это как начало торговли и предложил восемьсот долларов. Не иначе — наркокурьер, потому что восемьсот долларов в тех краях, куда мы летели, — это годовой заработок средней семьи.

В тот день я понял, чем буду зарабатывать на хлеб, уйдя с телевидения.

Жадность фраера сгубила

А в конце девяностых я зарабатывал деньги, в частности, концертами. Не скрою, обычно это было еще и удовольствием. И только один раз — пыткой. Но перед тем, как рассказать эту историю, я должен представить второе действующее лицо.

Моим администратором в те годы был Юлий Захарович Малакянц. Стал он им при следующих обстоятельствах. На какой-то вечеринке я встретил Константина Райкина, обожаемого учителя моей юности. Рядом стоял Юлий (он тогда работал в «Сатириконе»). Райкин представил нас друг другу.

— А кто ваш администратор? — спросил Малакянц.

— У меня нет администратора, — сказал я.

— У вас есть администратор, — сказал Малакянц.

За время совместной работы самоуважение мое поднялось несказанно.

— Нет, — говорил в трубку Юлий, — Виктор Анатольевич не может ездить на «Шкоде»! Минимум «Фольксваген»… Нет, Виктор Анатольевич не будет жить в такой гостинице. Минимум полулюкс.

Два года напролет, слушая эти речи, я озирался, ища глазами этого надменного Виктора Анатольевича, который не может ездить на «Шкоде» и жить в обычном номере. Гордый, должно быть, человек этот Виктор Анатольевич! Сам-то я, путешествующий по отчизне с начала восьмидесятых, был рад, когда обнаруживал туалет в номере, а не на этаже.

В придачу к другим административным достоинствам Юлий Захарович как две капли воды похож на Берию. Это оказывало и продолжает оказывать на его партнеров по шоу-бизнесу волшебное действие: никому не хочется получать во враги человека с такими чертами лица. Генетическая память, знаете ли…

Так вот: однажды Юлий Захарович зашел после концерта ко мне в гримерную и предложил увеличить цены на билеты: раз собираем полные залы — грех упускать момент. Находясь в эйфории (говоря по-русски, в расслабленном мозговом состоянии), я легко согласился. Больше — не меньше. Еще и заработаем!

Через месяц, идя на следующий концерт, я по привычке заглянул на автостоянку перед театром — и заранее похолодел: вместо привычных «Жигулей» и подержанных иномарок там громоздились джипы и прочая крутизна. Как выяснилось очень скоро, похолодел я не зря.

Едва выйдя к микрофону, я понял, *что* мне сегодня предстоит: лучшие места в партере (тот островок, с которым, собственно, и общается стоящий на сцене) были почти полностью заняты «новорусской» публикой. Они сидели там самолично, с девками и охраной. Похолодев окончательно, я узнал в лицо одного «авторитета», вошедшего в историю пореформенной России тем, что, ненадолго покидая Америку, он бросил в Тихий океан «Роллекс» за двадцать пять тысяч баксов. Как монетку — типа чтобы вернуться.

Он потом в Штаты вернулся, и его там арестовали.

На родину «авторитет» возвращался уже через VIP-зал Шереметьево; его встречали многочисленные отцы церкви, депутаты и деятели культуры — как пострадавшего от врагов России.

Теперь он меценатствовал и посещал культурные; мероприятия.

Сказать, что публика в тот день не смеялась, было бы неправдой, но лучше бы она молчала. Так смеются шестиклассники во время коллективного посещения ТЮЗа — невпопад и о чем-то своем. Время от времени братки в партере начинали что-то громко промеж собой обсуждать. Пару раз кто-то бурно зааплодировал посередине рассказа. Уж и не знаю, что ему почудилось.

Это было диалог иностранца с пьяным глухонемым. Постоянно сбиваемый с ритма, выброшенный из колеи, я еле достоял на сцене и уполз за кулисы совершенно разбитый.

Денег я в тот вечер заработал, конечно, вдвое. Как раз бы хватило на небольшое надгробие.

Ничего личного

За пару дней до моего концерта в Ростове-на-Дону туда приехал генерал Макашов и представил ростовчанам полную версию своего нехитрого шоу «Бей жидов, спасай Россию!».

Юлий Захарович Малакянц, жидом не будучи, но имея в виду меня, немедленно внес в качестве дополнительного условия охрану для артиста. Приглашающая сторона сказала: не волнуйтесь.

И вот прямо на летном поле нас встречает джип, и стоят возле джипа три тяжеловеса с характерными ушами-пельменями — признак, по которому борца-вольника легко отличить от обычного головореза. А по летному полю от джипов идет навстречу небольшого роста и южного вида человек, и как-то так он идет, что сразу становится понятно: если солнце в Ростове восходит без его отмашки, то это временное упущение.

Подойдя и представившись, Виталий (назовем его так) первым делом укрепил впечатление от собственной походки:

— Виктор, — сказал он, — здесь, в Ростове, главный человек я. Ничего не бойтесь.

Я, собственно, и не боялся. После того как в начале восьмидесятых годов мне удалось уйти живым от старшего сержанта Чуева, ни одно мурло так и не смогло произвести во мне более или менее адекватного трепета. А уж генерал Макашов с его ряжеными казаками давно шел по разряду чистой буффонады.

Но спорить с Малакянцем было бесполезно — он сделал свою работу, и теперь свою работу начали делать борцы-вольники под командой Виталия. Мы расселись по джипам, причем Виталий лично сел за руль, что было мною правильно понято как большая честь.

В гостиницу мы входили так: один борец-вольник открыл первую дверь, другой — вторую, Виталий прошел насквозь и сделал короткий приглашающий жест; в отель вошел я, за мной — Малакянц; сзади всех нас прикрывал третий тяжеловес. Я к этому времени уже чувствовал себя президентом Кеннеди в Далласе и был весь мокрый от такой опеки. У лифта я попытался оторваться от эскорта, но не тут-то было: один из тяжеловесов поднялся вместе со мной.

Человек с ушами-пельменями вынул ключ из моей руки, вошел в номер, коротко осмотрел его, заглянул в туалет и под кровать, сам себе буркнул слово «чисто» и вышел.

— Спасибо, — сказал я в широкую спину. Человек не ответил.

Я запер дверь и облегченно вздохнул.

Через полтора часа я вышел из номера и похолодел: человек с ушами-пельменями так и стоял у моей двери. Тут я не выдержал. Я пал ему в ноги, умоляя оставить меня без конвоя. Я заверил, что даром никому не нужен. Пообещал, что до самого концерта никуда не выйду из номера, что сейчас же, на его глазах, запрусь на два оборота и больше никому не открою. Что на крайний случай в соседнем со мной номере живет администратор с хорошей мускулатурой, притом очень похожий на Берию…

Человек с ушами-пельменями выслушал все это, .пожал плечами шириной с дверной проем и сказал безо всякого выражения:

— Вы не беспокойтесь. Мне Виталий сказал вас охранять — я охраняю…

В его словах послышалось некоторое многоточие, и вдруг я разом увидел ситуацию в новом свете. Человек-шкаф был на работе. Виталий сказал ему меня охранять, и он меня охранял. Если бы Виталий сказал ему меня убить, он бы меня убил.

Ничего личного.

У меня отлегло от сердца.

Но все равно: когда, как кусок колбасы в сандвиче, я путешествовал по Ростову в окружении двух человеко-шкафов, мне было очень худо. Слава богу, гостиница оказалась в двух шагах от филармонии.

Хлеб-соль

Апрель 2001-го, концерт в Казани.

У выхода на трап оказываюсь первым. Дверь открывается — и я остолбеневаю: прямо на летном поле стоит джип, вокруг люди с цветами, а у самого трапа расположились три девушки в национальных татарских платьях с чем-то типа хлеба-соли на руках.

Предчувствие публичного позора накрывает с головой. Микроавтобус с надписью VIP с летного поля меня возил, с джипом и охраной меня однажды встречали, но хлеб-соль!..

Я понимаю, что скандал вокруг НТВ поднял мое имя на нездешнюю высоту — и, набравши в грудь побольше воздуха, ступаю на трап. Краем глаза вижу размазанные по иллюминаторам лица зрителей. Стыдно — ужасно! Иду, глядя под ноги, чтобы как можно позже встретиться глазами со встречающими; иду, судорожно соображая, что делать с этим хлебом, с этой солью, с этими девушками… Что во что макать?

Так ничего и не сообразив, на последней ступеньке трапа, в полном отчаянии, надеваю на лицо радостную улыбку — вот он я, ваш любимый! — и шагаю навстречу всенародной любви.

Девушки в национальных костюмах без единого слова устремляются мне за спину. Я оборачиваюсь. Толпа встречающих суетится вокруг миловидной женщины средних лет, сошедшей по трапу следом за мною. Хлеб-соль, цветы и джип — весь этот публичный позор предназначается ей.

По моим устаревшим понятиям, *так* в России можно встречать только двух женщин: Аллу Пугачеву и Валентину Матвиенко. Но тут явно какой-то третий случай, и это размывает мои представления о жизни.

Своими ногами бреду с летного поля — и двое суток живу в Казани в тяжелом недоумении. А через два дня, на обратном пути, в кресло рядом со мной садится — *она*! И я понимаю, что Господь дает мне шанс восполнить картину текущего устройства российской жизни.

— Простите мое любопытство, — говорю, — но… кто вы?

Женщина виновато улыбнулась и ответила, — и картина жизни встала на место, сияя новыми красками. Какая там Пугачева, какая Матвиенко?

Федеральная налоговая инспекция!

Координатор

Дело было в Нижнем Новгороде.

Ясным весенним днем — какой-то митинг у памятника Минину. Транспаранты, мегафон, тетки-активистки собирают подписи… Оказалось: в защиту Климентьева (этот чисто конкретный предприниматель в ту весну победил на выборах мэра — и тут его, наконец, посадили).

Я, как та гоголевская крыса, пришел, понюхал да и пошел от митинга прочь. И как раз мобильный зазвонил. И вот я иду по главной нижегородской улице к Дому актера и разговариваю по телефону — глядь, откуда ни возьмись, человек с телекамерой. Забегает спереди и меня снимает. Узнали, думаю. Слава. Неловко, но приятно. Только откуда этот папарацци? Неужели караулил?

Вдруг — вторая телекамера, третья… И все забегают передо мной — и снимают, как я иду. Тут я заподозрил неладное. Что-то, думаю, густовато. Я все-таки не принцесса Диана. Оборачиваюсь — мама миа! Все климентьевские бабушки со своими лозунгами идут за мной по Покровке. Я — в Дом актера, а они — к местной прокуратуре,

Телевизионная картинка в тот день была классная: митинг в Нижнем Новгороде в защиту вора Климентьева, впереди с мобильником в руках — Шендерович: Координирует народный протест…

Разговор не удался

А вообще к популярности лучше сильно не привыкать. Можно нарваться и посерьезнее.

Рассказ моего знакомого, человека весьма известного. Нелегкая судьба продюсера занесла его в Лондон, где, непосредственно в аэропорту Хитроу, у него и прихватило живот.

И вот он сидит в туалете — и слышит голос из-за перегородки. По-русски.

— Ну, как долетел?

— Нормально, — ответил продюсер, немного удивившись обстоятельствам беседы. Впрочем, к тому, что с ним заговаривают незнакомые люди, он давно привык. Все было бы ничего, но разговор вдруг перешел в практическую плоскость.

— Сколько взял денег? — спросил человек из-за перегородки.

— Нормально взял, — ответил продюсер. И напрягся— потому что, судя по содержанию вопроса, за перегородкой находился знакомый.

— А когда назад? — поинтересовался туалетный собеседник.

— Через три дня, — ответил продюсер, судорожно пытаясь понять, кто с ним говорит. Голос был совершенно неизвестный, но, будучи человеком корректным, продюсер, хотя и уклончиво, продолжал беседовать с незнакомцем, пока из-за перегородки не раздалось:

— Прости, не могу разговаривать, тут какой-то мудак в сортире отвечает на мои вопросы.

Гастроли

В аэропорту Бостона меня отвели в сторонку, попросили снять ботинки, расстегнуть ремень и встать, как у Леонардо да Винчи: руки в стороны, ноги на ширину плеч…

Ничего нового. Шмон — еще до одиннадцатого сентября — стал непременной частью моих путешествий. В Стамбуле во мне ищут курда, в Тель-Авиве — палестинца; в Москве, с тех пор как сбрил бороду и перестал быть похожим на Шендеровича, а стал просто брюнетом, иногда просят предъявить документики. В Америке хорошего впечатления я тоже не произвожу. А после третьего подряд подробного обыска начинаю заранее дергаться, отводить глаза и покрываться холодным потом, как будто вчерась от Бен Ладена.

Но гастроли длинные, я освоился и через неделю путешествия по городам и весям США при виде секьюрити в аэропорту начал сам расстегивать ремень. А потом набрался наглости и посетовал на свою горемычную судьбу черному дяде, искавшему в моем багаже предметы, которых там отродясь не было.

И понял, что такое настоящий черный юмор.

Дядя поглядел на меня и без тени улыбки сказал:

— Change your face…

Меняй лицо.

Условия аренды

Многие американские синагоги — разновидность клуба, и концерты в них — обычное дело. Случаются, впрочем, и накладки…

В Питсбурге на сцену, во время моего выступления, вышел немолодой ортодоксальный еврей и предложил присутствующим помолиться вместе с ним. На резонное замечание, что здесь идет юмористический концерт, вошедший не менее резонно возразил, что здесь — дом Божий.

Мои скромные возражения относительно того, что Господь сдал свой дом в аренду и взял кэшем, ортодокса не убедили, и он стартовал.

Еврейский Господь оказался существом необычайно толерантным, и никого из нас не убил.

Льгота

Еду на работу, опаздываю, ловлю машину:

— Останкино!

— Сколько?

— А сколько надо? — интересуюсь.

— Ну, вообще тут полтинник, — говорит водитель, — но вам… — Улыбка. Я понимаю, что поеду на халяву.

— Давайте восемьдесят? Вы же «звезда».

Привет от Монтеня

С февраля 1997-го я начал работать на НТВ — ведущим программы «Итого». Ездить в «Останкино» теперь приходилось часто, и я осторожно уточнил у руководства: как насчет транспорта? Разумеется, ответило руководство, если будут свободные машины, привезем-отвезем.

И вот выхожу я из дома, а у подъезда стоят «Жигуль-четверка. О! Я почувствовал себя маленьким советским министром. Меня привозили в «Останкино», а потом отвозили домой. Повторяю: о! Не всегда, конечно, приваливало такое счастье, а только если были машины, свободные от съемок, но все равно — о!

Потом в один прекрасный день меня назначили «звездой».

Решение об изменении статуса было принято на директорате телекомпании и автоматически повлекло за собой «выдачу слонов»: меня пересадили на персональную машину. Это было старое БМВ, с водителем, разумеется.

О!О!О!

Потом в один еще более прекрасный день в наше БМВ въехал пьяный чувак с бабой, день рождения которой они, собственно, и успели отметить (напоследок). Въехал он в нас на полной скорости, на перекрестке, который по случаю светлого праздника чувак решил пересечь не тормозя.

Если бы в тот день я ехал в «Жигулях», эти мемуары писала бы моя вдова. А так мы с водителем Лешей, перескочив высоченный бордюр, метров двадцать летели по пешеходной дорожке вдоль парка «Сокольники» — по счастью, пустой. Машина остановилась в двух шагах от столба. Леша посидел немного, уточнил: «Анатольич, ты цел?» — и пошел чувака убивать.

Я пошел следом, чтобы убийство предотвратить.

Чувак вышел из своего «Рено» всмятку, и сказал:

— Опа! Шендерович.

— Мужик, — поинтересовался я, — ты другого случая познакомиться не нашел?

Но не будем отвлекаться от сюжета. А сюжет заключается в том, что БМВ увезли в ремонт, и я снова пересел на «Жигуль». Ту самую «четверку», из которой вылез за полтора года до этого. Ту самую, в которой чувствовал себя советским министром. Пересел и понял, что вынести такого унижения не могу. Низко, медленно, душно, дискомфортно… На дороге не уважают… И вообще!

«Нас мучают не вещи, а наше представление о них», — предупреждал Монтень. И опять был прав.

За девочками

Шофера, которого однажды выдала мне родная телекомпания, звали Лешей (пару историй про него я уже рассказал выше). По правую руку от Леши, несколько лет подряд, я проводил значительную часть своей жизни. Шофер он был замечательный, но масштаб личной надежности я понял не сразу…

Как-то вместе с женой и дочкой я пошел в театр, но в антракте разболелась голова, и, оставив семью досматривать сюжет, я поехал домой. Едучи, инструктирую:

— Алексей, — говорю, — отвезете меня, вернетесь сюда и привезете девушек…

— Хорошо, — отвечает Алексей.

Едем по Тверской примерно с минуту. Вдруг Алексей уточняет:

— А девушек куда привезти?

— Домой, — говорю, — в Сокольники.

Алексей посмотрел на меня с интересом и уважением.

— Хорошо, — говорит. — Сделаем.

Мы проехали еще метров триста, прежде чем я тоже решил уточнить:

— Леша, — говорю, — а вы каких девушек имели в виду?

Эх! Зачем я это сделал? Представляете: звонок в дверь. Я открываю. На пороге стоит Леша — и девушки. Кого бы он мне привез с Тверской улицы, сколько, почем? Впрочем, до телекомпании Леша двадцать лет работал в такси, и в его квалификацию я верю.

Однофамилец префекта

Неловко мне пересказывать эту историю, рассказанную Василием Аксеновым, но уж больно выразительная история… И печальная.

Несколько лет назад, в пору частого мелькания в телевизоре, я имел честь поужинать с Василием Павловичем, прилетевшим в Москву из своих вашингтонов. Поужинав, мы поймали машину и поехали по домам. Шофер был молод — и из нас двоих узнал, разумеется, не Аксенова, а меня. А уж потом, отвозя Василия Павловича домой, уточнил у него:

— Это был Шендерович?

Аксенов гипотезу подтвердил. Через какое-то время шофер смекнул, что ежели пассажир ужинал с Шендеровичем, то, может, он и сам тоже не хрен с горы. И так прямо Аксенова и спросил:

— А вы кто?

Василий Павлович представился. Шофер ненадолго задумался, а потом, утешая своего безвестного пассажира, произнес:

— У нас префект такой был…

Интеллигенты

1999 год. Звонок из «Вечернего клуба».

— Скоро первое февраля — день рождения Бориса Ельцина. Что бы вы хотели ему пожелать через нашу газету?

(А в голосе ехидство провокаторское.)

— Здоровья, — отвечаю.

— А еще?

— Просто здоровья.

— И больше ничего не хотите сказать?

— Нет.

— Ну-у… — разочарованно тянет голос в трубке, — это редактор не напечатает…

Им надо было, чтобы я публично схамил.

У них подзаголовок: «газета московской интеллигенции».

Зря я так

В 2003 году мне позвонили из «Комсомольской правды» и сообщили, что хотят сделать меня ихним «Лицом года». Я от такой чести, разумеется, отказался: в период «мочения» НТВ «Комсомолка» выступила по полной программе: от эфэсбэшных «сливов» до прямого вторжения в личную жизнь журналистов. Да и вообще, желтоватый листочек, чего уж там…

Через какое-то время со мною пожелал поговорить по телефону главный редактор вышеозначенного органа. Поинтересовался причиной отказа — они ж со всей душой… Я изложил свои доводы.

— Зря вы так, — сказал на прощанье главный редактор.

Смысл этой фразы я понял довольно скоро: в «Комсомолке» появилось большое письмо читательницы, посвященное персонально мне. Шендерович выдохся, юмора не осталось, осталась одна злость…

У Цветаевой, по другому поводу, сказано было: «Еще вчера в глаза глядел…»

Доходное дело

Поскольку желтой прессы я не читаю, то иногда оказываюсь не в курсе собственной личной жизни. А напрасно! Что-то такое они там знают…

Журналистка N., по праву давнего знакомства с моей женой, сделала ей недавно такое коммерческое предложение: когда, сказала, вы с Шендеровичем будете разводиться, дай знать мне первой, я опубликую интервью, гонорар — тысяча баксов — пополам!

Теперь жена меня шантажирует. Говорит, если что — она в плюсе…

Горизонты журналистики

Звонит девица из «Аргументов и фактов» и говорит:

— Мы бы хотели интервью с вами, с фотосъемкой у вас дома. Вы согласны?

— Нет, — отвечаю. Журналистка говорит:

— Ну и ладно.

И вешает трубку.

Журналисты, вообще, бывают талантливые — и очень талантливые.

В конце девяностых в Москву приехал с концертом Рей Чарлз, слепой черный гений. В числе прочего на первой пресс-конференции, его спросили:

— Как вам понравился Кремль? Переводчик, слава богу, выкрутился…

Старые друзья

Светская жизнь бьет ключом. Неизвестный мне господин, невесть откуда добывши мой домашний телефон, приглашает на тусовку в честь открытия нового пивного ресторана:

— Встреча старых друзей! Приходите! Все будут!

— Кто «все»? — уточняю.

— Ну, вообще — все! Жириновский, Пенкин, Митрофанов, Аллегрова… Все!

Я и совесть

Подходит ко мне как-то на улице человек, берет за руку, трясет ее, трясет, а потом говорит:

— Леонтьев! Молодец!

Чур меня… Ну этот хоть обознался. А другой (который не обознался) просто схватил за рукав и сообщил:

— Виктор! Вы — совесть России. Совесть России! Подумал и уточнил:

— Вы — и Хинштейн.

Мадам Сургут

1999 год, концерт в Бостоне. После выступления стою, надписываю книжки эмигрантам: «Борису, дружески», «Льву Семеновичу, на память», «Инне, с симпатией»… Подходит дама больших достоинств, с брошью-роялем на выдающейся груди.

— Как вас зовут? — спрашиваю, готовя стило.

— Как? — говорит она. — Вы меня не помните?

В голосе дрожит нескрываемая обида. Впечатление такое, что довольно длительное время мы с ней просыпались в одной постели. Публика с нескрываемым интересом кучкуется поближе к диалогу.

Я холодею и внимательно всматриваюсь в лицо дамы. Вот убей меня бог, если я ее помню! Хотя где-то, кажется, видел. Но не в постели. Я склеротик, но не до такой степени.

— Простите, — говорю, — но…

И развожу руками, изображая забывчивость гения.

— Как вам надписать книжку?

Жалкая попытка слинять из сюжета позорно проваливается.

— Конечно, — громко говорит дама, — где же вам меня помнить. Вы же теперь — звезда!

Немедленно покрываюсь холодным, мелким потом стыда. Моруа, блядь. Встречи с незнакомкой. О господи! Эмиграция рассматривает меня с открытым презрением. Припертый к стенке, с отчаяния бросаюсь в атаку: не надо, говорю, меня мучить! Если мы знакомы, напомните, где и каким образом это счастье мне привалило…

Лицо дамы складывается в печальную гримаску — и, выдержав паузу, она многозначительно произносит:

— Сургут…

И я вспоминаю!

Лет за пять до Бостона я действительно выступал в Сургуте, в Доме культуры — и эта дама приходила ко мне за кулисы. Она вела детский хоровой кружок и хотела поделиться со мной результатами своей педагогики, но я отбоярился. И через пять лет:

— Как? Вы меня не помните?

Недавно, уже в Москве, в Доме актера, я увидел ее снова! Дама минут пятнадцать интимно беседовала с Марком Розовским, приперев его к стене. У дамы на груди была брошь-рояль, Марк был красен, как рак. Когда ему удалось просочиться между этим роялем и стеной и вырваться на свободу, я интимно поинтересовался:

— Что у тебя было с этой мадам?
— В первый раз ее вижу! — вскричал Розовский. — Клянусь!
Ну зачем же оправдываться? Люди не слепые…

Я и Укупник

Популярность все-таки — хорошая вещь.

Ужинаю, например, однажды и вижу, что девушка, сидящая за соседним столиком, меня узнала — и смотрит. А хороша, надо сказать, до мурашек по спине.

Ой, думаю. Сижу, преодолеваю соблазн, пытаюсь есть медленнее, любуюсь тайком. А она, болтая с подружкой, нет-нет да и стрельнет глазами. А глаза!..

К концу ужина успеваю влюбиться в девушку по уши — и в таком состоянии покидаю кафе. И когда уже стою с номерком у гардероба, она настигает меня сама. Обрыв сердца. Лет ей восемнадцать и хороша…

— Простите, — говорит, — могу я попросить у вас автограф?

Господи, думаю, солнышко, да только ли автограф? Пишу ей что-то непозволительно нежное. Она читает, прижимает листок к своей груди, о которой ничего не пишу, потому что слов всё равно нет, — и говорит:

— Господи, какая я счастливая!

Ну все, думаю: женюсь! Вот прямо здесь женюсь, и меня оправдают.

— … какая я счастливая, — говорит она. — Я ведь сегодня утром и у Укупника автограф взяла, представляете?

Легкий заработок

Известность вообще вещь приятная… до известной степени. Недавно при выходе из московской пирожковой меня настиг и крепко схватил за рукав неизвестный мне молодой человек. Он радостно ткнул меня в плечо узловатым пальцем и прокричал:

— Вы — Шендерович!

Я кивнул, обреченно улыбнулся и приготовился слушать комплименты. Все это, как выяснилось, я сделал совершенно напрасно: немедленно по опознании молодой человек потерял ко мне всякий интерес и, повернувшись, крикнул приятелю, сидевшему тут же, за столом:

— Это он, я выиграл! Гони червонец!

А вообще, как жизнь?

— Ну, Виктор, что новенького? — с интригой в голосе спросила у меня женщина из-за соседнего столика.

А дело было вскоре после одиннадцатого сентября…

— Да вот, — ответил я, — третья мировая война начинается.

Это сообщение не сильно выбило даму из колеи.

— Ну, — сказала она. — А еще?

Желание женщины — закон

Лестный, но немного тревожный диалог покупательницы и продавщицы в книжном магазине:

— Я хочу Шендеровича.

— Шендерович кончился…

Я это слышал своими ушами, клянусь остатком жизни.

Два письма

…из сотен, пришедших на мое имя за время работы на НТВ.

В простом конверте:

«Пишет вам инвалид второй группы, пациент больницы имени Кащенко. Я попал сюда в конце восьмидесятых годов, в результате усиленного обдумывания: что вообще происходит? Скажите, сколько надо еще лечиться, чтобы понять, что происходит сейчас?»

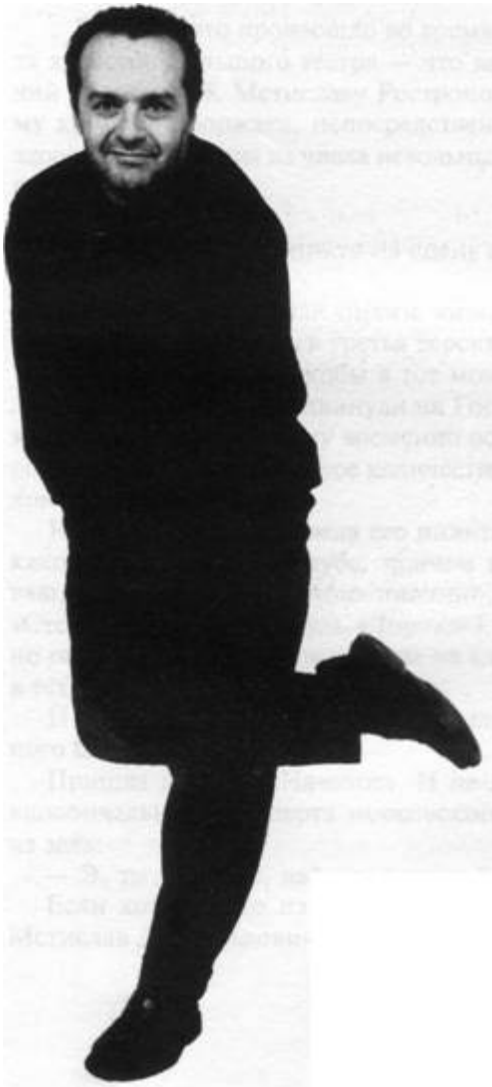
По электронной почте: «Дорогой Виктор! Спасибо вам за то, что даете нам возможность улыбнуться среди нашей печальной действительности». Под этим стояли фамилия, имя — и обратный адрес: город Финикс, штат Аризона, США…

Порядок выхода

Сообщение по радио: «Сегодня в Кунцевском районе состоится праздник. В программе: сатира, лошади и так далее…»

Главное — знать свое место.

Искусство принадлежит народу



…причем иногда — буквально. Вместе с деятелями искусства и реквизитом.

Человек при ящике

…Говорят, это произошло во время шефского концерта артистов Большого театра — что называется, «в рабочий полдень». К Мстиславу Ростроповичу, исполнявшему концерт Дворжака, непосредственно на сцену зашел здоровенный детина из числа невольных слушателей и добром попросил:

— Уйди.

По другой версии, никто на сцену не выходил, просто крикнули из зала:

— Эй, Лысый, кончай пилить ящик!

У этой истории есть и третья версия, более подробная.

Случилось все это якобы в тот момент, когда Мстислава Леопольдовича выдвинули на Государственную премию: вот и пришлось ему временно оставить в покое Европу и отработать некоторое количество трудодней на Госконцерт.

И слепая судьба привела его пилить этот свой ящик в каком-то чуть ли не клубе, причем пианино (подозреваю, что это было именно пианино, а не рояль, и не «Стенвей», а какая-нибудь «Лирика»), — так вот, пианино оказалось попросту запертым на ключ, и ключа этого в тех краях давно никто не видел.

И тогда в аккомпаниаторы Ростроповичу нашли местного баяниста.

Пришла публика. Началось. И на каком-то повороте виолончельного концерта московского гостя попросили из зала:

— Э, ты, потише, дай послушать баян!

Если хоть что-то из этого правда, удивительно, как Мстислав Леопольдович не эмигрировал сразу.

А в другой «рабочий полдень» к неким трудящимся приехал струнный квартет. На свою голову, музыканты решили побаловать рабочий класс одним малоизвестным произведением Вивальди, в котором итальянский композитор, ничего не знавший о рабочем полдне, предусмотрел несколько ложных финалов.

То есть тема как бы заканчивается, а потом начинается снова.

Первый финал, случившийся очень вскоре после начала, трудящиеся восприняли с энтузиазмом — и бурно зааплодировали, полагая, что теперь их отпустят восвояси и дадут спокойно покурить или забить «козла». Но после небольшой паузы музыканты начали играть снова.

Трудящиеся решили, что музыканты их неправильно поняли и играют «на бис», поэтому, когда Вивальди закончилось вторично, похлопали гораздо тише, явно из вежливости, боясь спровоцировать дальнейший приступ музыкальности.

Но струнные завели свою пластинку опять.

На шестой раз трудящиеся поняли, что над ними издеваются. В зале начался стихийный бунт. На сцену полетели мелкие предметы — бумажки, монетки, спичечные коробки, гайки. Музыканты, съежившись, продолжали искушать судьбу. Корректировать партитуру Вивальди им не позволяло призвание.

Но пришлось.

Не доиграв несколько проведений темы, струнный квартет упаковал свои гварнери-страдивари — и бежал с завода, избежав линчевания в последнюю минуту.

Антонио Вивальди был хороший композитор, но чувства меры в рабочий полдень не знал совершенно.

Семейное предание из начала семидесятых. Мои родители поймали такси:

— На улицу Герцена!

Таксист смилостивился, и они поехали. Через пару минут, сопоставив адрес с внешним видом пассажиров и временем посадки, таксист не спросил, а уточнил как бы:

— В консерваторию. — Да.

— Угу…

Проехали еще немного.

— И что там, в консерватории? — поинтересовался служитель баранки.

— Леонид Коган, — честно ответил отец.

— Скрипка, — пояснила мама.

Повисла пауза, завершившаяся грандиозным афоризмом советского гегемона.

— Работать никто не хочет, все хотят на скрипочках играть!

XXX

Дедушка моей жены, Владимир Вениаминович Видревич, тоже не хотел работать, а всю жизнь играл на скрипочке. Однажды осенним вечером, прижав к груди заветный футляр, он шел от дома к троллейбусной остановке. В луже у остановки лежал мужчина. Он пытался встать, но наработался до такой, степени, что сделать это самостоятельно уже не мог.

Увидев Владимира Вениаминовича, лежащий простер к нему руку и обратился не по-советски:

— Человек! — сказал он. — Помоги мне.

Владимир Вениаминович, к которому на Бутырском хуторе как только ни обращались, но только не «человек», на такое не откликнуться не мог — и, подойдя, начал одной рукой тянуть страдальца из лужи, другой продолжая прижимать к груди футляр.

Но силы (Владимира Вениаминовича и гравитации) были неравны, и когда подошел троллейбус, старенький скрипач, высвободив руку, сказал:

— Простите меня, но я должен ехать. У меня концерт! На что из лужи раздалось сардоническое:

— У тебя, значит, концерт, а я лежи тут!

XXX

Поэт Игорь Иртеньев рассказывал об одном из первых своих выходов в народ.

Прошу представить: лето, воскресенье, начало восьмидесятых. Парк культуры и отдыха, посреди которого происходит то, что на профессиональном сленге называется «сборняк» — концертная окрошка из народных песен, юмора, балета и дрессированных собак.

На огромном скамеечном пространстве перед эстрадой, хилыми островками — человек двадцать культурно отдыхающих. Кто пьет, кто целуется, кто просто загорает. Между рядами прогуливаются мамы с колясками, бегают дети…

В этот незамысловатый пейзаж и вошел со своей пост-обериутской поэзией уже немолодой Иртеньев. Фурора его появление не произвело: народ как отдыхал, так и продолжал отдыхать. Говоря определеннее, не все отдыхающие его выход заметили.

И только, представьте, одна бабуля, прямо возле эстрады, смотрит на Игоря, улыбается и доброжелательно-ободряюще кивает головой…

Всякий, кто хоть раз выходил на сцену, знает, как важно, чтобы в зале нашелся хоть один такой зритель: чуткий, понимающий, бросающий тебе спасательный круг своего внимания… Эх, да что говорить! Благодарный Иртеньев, персонально для бабули, исполнил свои лучшие стихи — и все эти десять минут она улыбалась и доброжелательно кивала головой, поддерживая поэта в его неравной борьбе с социумом.

Она не перестала это делать и когда поэт ушел за кулисы.

У бабули была болезнь Паркинсона.

Давным-давно, чуть ли не в первую «оттепель», группа столичных (и очень известных уже тогда) писателей-сатириков поехала по необъятной Родине. И доконцертировались они до буровой где-то посреди Тюмени.

Там, на буровой, и произошла встреча юмора с реальностью.

Элегантные московские гости шутили, стоя под специально сооруженным навесом, а зрители, пришедшие непосредственно от скважины, сидели в робах под проливным дождем.

Никаких чувств, кроме классовых, гости в трудящихся не пробудили. Столичных шуток нефтяники не понимали и понимать не желали. Самые проверенные репризы гасли, как спички под водой. Ситуация усугублялась национальным составом приехавших — представителей титульной нации среди

них не имелось даже для маскировки.

Последним на сцену вышел Григорий Горин. Когда он заговорил, нефтяники поняли, что тюменский рабочий класс в Москве не уважают совсем: мало того, что прислали еврея, так еще и картавого!

Концерт, начинавшийся в холодной тишине, завершился в атмосфере почти осязаемой ненависти. Горин ушел со сцены под стук собственных каблуков. Рабочие еще немного посидели, поняли, что евреи закончились, и пошли на работу.

А гости поплелись к своему автобусу.

И пути их пересеклись.

Юмористы прошли сквозь строй молчаливых нефтяников, как сквозь шпицрутены, и уже у самых автобусных дверей Григорий Горин, не выдержав напряжения, пробормотал напоследок:

— Ну, мы к вам еще приедем…

— Я тебе, блядь, приеду! — посулил ему ближайший трудящийся.

В семьдесят каком-то году на окраине Москвы открывался новый очаг культуры. В день открытия в опостылевший, их же руками построенный Дворец пришли работяги-строители: как по другому поводу сказал Бабель, это был их день.

Конферансье, отряженный Москонцертом на встречу с рабочим классом, подготовил несколько экспромтов.

— Прекрасный Дворец! — воскликнул он. — Замечательный Дворец построили вы, дорогие товарищи…

Виновники торжества, частично уже теплые с утра, угрюмо слушали эти соловьиные трели.

— Но меня как сатирика этот факт огорчает! — вдруг заявил конферансье.

Строители насторожились.

— … Все меньше в нашей стране остается поводов для сатиры! — закончил конферансье — и сам улыбнулся этому парадоксу мудро и печально.

— Пошел на хуй! — крикнул ему на это из зала самый чуткий на фальшь строитель. — Пошел на хуй, жидовская морда!

— Что вы сказали? — переспросил ошалевший конферансье. На что (в полном соответствии с просьбой) сказанное громко и без купюр повторили. Тут боец сатирического фронта пришел в себя.

— Пока этого негодяя не выведут из зала, — заявил он, — я отказываюсь продолжать вступительный фельетон!

Жуткая эта угроза подействовала. Возмутителя спокойствия взяли под микитки и поволокли прочь. Перед тем как покинуть собрание, он, зацепившись за косяк двери, успел еще несколько

раз огласить свое нетленное пожелание. Дружинники отлепили мозолистые пальцы от косяка, и мат, постепенно отдаляясь, затих в недрах Дворца культуры.

Удовлетворенный расправой, конферансье поправил бабочку и продолжил вступительный фельетон.

— На чем мы остановились? — спросил он. — Ах да! Все меньше в нашей стране остается поводов для сатиры!

Конферанс вообще — профессия, собирающая самых интеллектуальных…

Торжественный вечер в Казани, посвященный пятидесятилетию Татарской АССР, должен был вести Борис Брунов, но то ли заболел, то ли случились у маэстро дела поважнее, — короче, в Казань полетел кто-то другой.

Тоже бывалый работник эстрады, сильно напрягать интеллект он не стал — и вышел на сцену во всем блеске профессиональной раскованности, с импровизаторским даром наперевес. И понесся вперед.

— Добрый вечер, добрый вечер, друзья! — заговорил он. — У вас в программках написано, что этот вечер будет вести Борис Брунов, но так уж получилось, что вести вечер буду я! Ну, как говорится, незваный гость хуже татарина…

Не услышав ожидаемой реакции на шутку, конферансье ненадолго задумался. Потом увидел в зале лица. Это были по преимуществу лица работников партийно-хозяйственного актива Татарской АССР.

Придя в сознание окончательно, труженик эстрадного цеха попросту сбежал со сцены.

XXX

Впрочем, иногда и в этой сомнительной профессии случаются большие человеческие удачи. Конферансье Милявский вел концерт, когда какой-то подвыпивший гегемон крикнул ему из зала:

— Про аборты расскажи!

И сам захохотал. Засмеялась и публика, что было воспринято солистом из партера как одобрение. Через минуту, набравшись куража, он снова выкрикнул свой чудесный текст:

— Про аборты расскажи!

Тут конферансье Милявский, дотоле смиренно несший свой крест, прервал монолог и печально сказал, обратившись к залу:

— Ну что я буду рассказывать про аборты? Я знаю про аборты, вы знаете про аборты…

И, направив палец точно в цель:

— Жаль, что его мама про них не знала!

Взрыв хохота. Разъяренный гегемон полез на сцену драться, появились дружинники… Когда общими усилиями хама взашей выталкивали из зала, Милявский сообщил оставшимся:

— А это называется — выкидыш…

XXX

А это называлось — «чёс».

Молодой Арканов «чесал» по стране с куплетистами Шуровым и Рыкуниным. Они ночевали в каком-то Доме колхозника, когда — в половине третьего ночи — Арканова разбудил стук в дверь.

На пороге стоял заплаканный Шуров.

— Аркадий, — всхлипывал Шуров. — Аркаша-а!

— Что случилось? — холодея, спросил Арканов. Обстоятельства, которые могут заставить немолодого мужчину, рыдая, стучаться в чужую дверь среди ночи, черной тучей пронеслись в писательской голове…

— Аркаша, — воскликнул Шуров, — какую книгу я прочел!

Евангелие в случае с Шуровым практически исключалось; впрочем, долго гадать Арканову не пришлось: заветную книгу артист прижимал к груди.

Это была «Хижина дяди Тома».

XXX

В конце шестидесятых денег в стране в обрез хватало на космос и Фиделя Кастро, а тут еще хоровое пение…

Изыскивая резервы экономии, министр культуры Фурцева с изумлением обнаружила, что под ее чутким руководством трудятся целых два казачьих хора. На ближайшей встрече с творческим активом это очевидное излишество и было приведено как пример расточительства.

— Зачем в одной стране два казачьих хора? — задала риторический вопрос товарищ министр. — Донские казаки, кубанские… Надо их объединить!

— Матушка, Екатерина Алексеевна! — взмолился знаменитый конферансье Смирнов-Сокольский. — Это не удалось сделать даже Деникину!

Говорят, довод подействовал.

XXX

Зиновий Гердт ездил за границу с начала пятидесятых, и у него накопилось там много знакомых. Среди них был японец, славист по специальности. Этот удивительный японец говорил по-русски, то есть он думал, что говорит по-русски, а сказать ему правду в Японии было некому. Впрочем, речь не о том.

Однажды при встрече Гердт спросил этого чудесного слависта, чем тот сейчас занимается.

— Пишу диссертацию, — ответил японец.

Гердт поинтересовался темой, и японец с поклоном ответил:

— Ранний Блок.

Гердт сначала немного испугался, а потом спросил: кому в Японии нужен Блок, тем более ранний? Милый японец немного подумал и ответил:

— Мне.

XXX

Некий молодой человек написал фортепианный концерт и пришел с ним к Шостаковичу. Захотелось поделиться.

Вежливый гений пригласил гостя к роялю — и молодой человек начал самовыражаться. Через полчаса гость нанес роялю последний аккорд и, весь в мыле, повернулся от клавиатуры. Шостакович сидел на диване, обхватив себя руками.

Исполнителю удалось произвести на гения сильное впечатление.

— Ну как? — спросил молодой человек.

— Очень хорошо, — забормотал Шостакович, — очень хорошо…

И неожиданно уточнил:

— Гораздо лучше, чем водку пить!

XXX

Кстати, о водке и музыке. Одно другому мешает не всегда, что, как говорят, вполне подтверждал пример самого Дмитрия Дмитриевича.

Рассказывают, что, живя в Доме творчества композиторов в Рузе, он пошел как-то в пристанционный буфет. Взял бутылку, но не пить же одному… Правильно оценив нерешительность в одинокой фигуре стоящего, рядом с Шостаковичем быстро возник человек. Человек тут же позвал третьего — и кворум был сооружен. Они встали к буфетной стойке, нарезали, разложили, налили…

— Ну, — сказал первый собутыльник Шостаковича и протянул руку. — Федор!

Они познакомились. Истинные имена и профессии двоих участников процесса история, разумеется, не сохранила, но важно, что оба они были местные работяги.

— А ты кто? — спросили Шостаковича. Шостакович замялся.

— Я композитор, — признался он наконец. Случилась пауза.

— Ну, ладно, — подытожил диалог собутыльник Шостаковича. — Не хочешь — не говори!

XXX

Тем не менее. На предложение быть третьим Дмитрий Дмитриевич мягко, но неизменно отвечал:

— Знаете, хотелось бы — первым…

Композитора Вениамина Баснера остановили на улице трое сограждан с насущной просьбой дать им рубль на продолжение банкета.

Баснер рубля не дал.

Сограждане были настроены миролюбиво и не стали композитора бить, но по национальному вопросу высказались обильно, после чего обнялись и пошли прочь, распевая:

— У незнакомого поселка, на безымянной высоте… Композитор Баснер рассказывал о происшествии с гордостью — как историю о народном признании…

XXX

Однажды в Ленинграде, в конце пятидесятых, в выходной день, на стоянке такси встретились, подойдя одновременно, артист Юрий Толубеев и некий гегемон с семьей.

— Ой! — сказал гегемон. — Я вас знаю.

Толубеев улыбнулся привычно и обаятельно. После выхода на экраны фильма «Дон Кихот» он, сыгравший Санчо Панса, стал всенародно знаменит.

— Маш! — сказал гегемон. — Ты узнаешь? Это же артист! Из кино!

Толубеев доброжелательно кивал, подтверждая догадку зрителя.

— Ой! — говорил гегемон, не в силах поверить своему счастью. — Вы же наш любимый артист! Вы просто не представляете! Да, Маш?

Маша пискнула что-то радостное.

— Мы вас так любим! Три раза смотрели! Просто нет слов…

Так продолжалось несколько минут. Наконец подъехало такси, и Толубеев, согретый лучами народной любви, благодаря и прощально улыбаясь публике, шагнул к машине. Тут его собеседник резко помрачнел.

— Куда-а! — загородив артисту дорогу стальной рукой, протянул он. — Клоун…

И гегемонское семейство стало загружаться в такси.

XXX

Дело было в Питере, в середине семидесятых.

К Александру Володину прицепился какой-то не сильно трезвый бард и начал, что называется, мериться статью.

— Вот вы, — сказал бард, — драматург. Ладно. А я, — бард загнул палец, — поэт! — Бард загнул другой палец. — Композитор, кандидат наук, гитарист, альпинист…

Когда бард загнул все, что у него с собой было, Володин встал и молча поклонился ему в пояс.

XXX

Много позже, уже в конце девяностых, знаменитый телеведущий Кирилл Набутов зашел в пивнушку на Петроградской стороне — и увидел там Володина, заподлицо с другими стариками прилипшего к стойке со своими обязательными утренними ста граммами.

Но поприветствовать Александра Моисеевича Кирилл не успел, потому что узнали его самого.

— Набутов! — воскликнула продавщица. — Ой! Дайте автограф!

Тут же с аналогичной просьбой набежали из подсобки и другие.

— Девочки! — сказал благородный Кирилл. — Вот у кого вы должны брать автограф! — И указал на Александра Моисеевича.

— Этот? — Продавщица кинула взгляд в сторону старенького драматурга. — Да он каждый день тут ошивается!

А продавщица эта была, может быть, внучкой Тамары из володинских «Пяти вечеров» — просто не знала этого…

Журналистка из светского журнала пришла брать интервью у Константина Райкина — и уже через несколько секунд выяснилось, что она, как говорится, «не в материале». В худруке «Сатирикона» взыграла педагогическая жилка, и он предложил девушке подготовиться к интервью: почитать прессу, посмотреть спектакли театра…

Журналистка позвонила через месяц — и доложила о завершении ликбеза. Педагогический талант Райкина торжествовал. Была назначена новая встреча. Кабинет, чай, диктофон на столе.

— Ну, — сказала журналистка, — первый вопрос, Константин… Простите, как вас по отчеству?

XXX

Девяносто третий год, прощальный ужин первоапрельской Юморины в Одессе. «Спонсорьё», по слову Ширвиндта, выставилось не на шутку: моря спиртного, горы снеди, девушки танцуют на столах… В общем, праздник юмора.

И вот, ближе к концу вечера, к тихо отдыхающим Жванецкому с Аркановым вразвалочку подваливает спонсор в «адидасе» и, положив по полуцентнеру бицепсов на плечи классиков, интересуется:

— Чегой-то вы нами брезгуете? Вы не брезгуйте; вот мы тут, рядом, прошу к нашему столу…

Рядом действительно гуляют спонсоры — потомки даже не Бени Крика, а Савки Буциса. Пить с ними классикам хочется, как зайцам отжиматься, но делать нечего: бесплатных ананасов в шампанском не бывает.

Разумеется, отвечает невозмутимый Арканов, они выпьют и закусят вместе с хозяевами, но чуть позже… Отсрочка позволяет Жванецкому отлучиться из зала, и Арканов как верный товарищ ложится на эту амбразуру один.

Он выпивает-закусывает со «спонсорьем», и через некоторое время растроганный детина в «адидасе» сообщает:

— Аркадий, вот люб ты мне!

И, желая сделать гостю приятное, предлагает с широким жестом на зал:

— Хочешь, я для тебя кого-нибудь замочу?

Это предложение временно отбивает дар речи даже у Арканова, и спонсор почитает возможным свою мысль пояснить:

— Ну, может, тебе кто не нравится? — говорит он. — Так ты не стесняйся, скажи…

(Еще никогда хорошие отношения с Аркановым не были мне так кстати: я сидел за соседним столиком.)

— Ты просто скажи, — оберегая писателя от лишних хлопот, уговаривал спонсор. — Просто покажи его — и сиди, отдыхай, пей…

— Ну что вы, — торопливо, насколько можно представить себе торопливого Арканова, отвечал тот. — Тут все замечательные люди, мои друзья…

— Но если что, ты скажи! — настаивал спонсор. Арканов пообещал если что — сказать, в свою очередь взяв со спонсора слово: до тех пор никого (по крайней мере в этом зале) не мочить. Они посидели еще, и спонсор, ощутив, по всей видимости, смутную неловкость за свой искренний порыв, объяснил:

— Это потому, что люб ты мне! И, подумав, закончил:
— Был бы не люб — совсем бы другой разговор…

XXX

Встречает меня литератор N. и интересуется:

— Я слышал, в «Табакерке» ставят твою пьесу?

— Ставят.

— Поздравляю, — говорит. — Я тут тоже, неожиданно для себя, написал шесть пьес…

Бывают же у людей неожиданности!

Этому случаю я был свидетелем совсем недавно. В театре «Современник» шел «Вишневый сад»:

— Продан сад?

— Продан.

— Кто купил?

— Я купил, — сказал Лопахин.

И по залу пронеслось изумленное «а-ах!». Так, спустя сто лет, эти люди узнали, кто купил вишневый сад…

XXX

— Чем там заканчивается «Война и мир»? — поинтересовалась у меня ученица десятого класса одной из подмосковных школ. Она сидела в холле пансионата, положив красивые длинные ноги на журнальный столик. В руках у нее красовался затрепанный «кирпич» толстовского романа из местной библиотеки.

В мае у девушки были выпускные экзамены, вот она и мучилась.

Я с удовольствием отметил про себя, что произвожу впечатление человека, который дочитал роман до конца, — и вкратце рассказал, что там дальше.

Сообщение о предстоящем браке Н.Ростовой и П.Безухова искренне удивило выпускницу.

— Да ну, пиздишь! — сказала она.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что девушка будет поступать в юридический.

XXX

Дело было в Иерусалиме. Палестинцы опять взорвали автобус, десятки жертв… Мой приятель вернулся домой в соответствующем настроении. Двенадцатилетняя дочка его сидела на диване и тихонько плакала.

— Какие новости? — осторожно спросил отец. Дочка подняла от книги свои прекрасные печальные

глаза и ответила:

— Плохие новости, папа. Янки взяли Атланту… Она читала «Унесенных ветром».

Человеческий фактор

Олимпиада-80. Юрий Седых

«Лужники», предварительные соревнования молотобойцев. Я бездельничаю на трибуне и наблюдаю, а на арене мучаются здоровущие дядьки — человек десять— пятнадцать.

Каждому из них надо швырнуть молот за отметку, чтобы выйти в завтрашний финал. И вот они по очереди входят в круг, и долго раскачиваются, и, раскрутившись, с дикими криками мечут это железо, и пока оно летит, страшно орут ему вслед, чтобы оно испугалось и летело как можно дальше.

А оно никак.

То есть хоть чуток, а до метки не долетит.

Это мучение продолжается почти час, когда наконец огромный мохнатый турок забрасывает молот на пару сантиметров за черту. О, счастье! Он в финале! Турок прыгает, продолжая кричать, но уже от торжества.

В это время из-под трибуны, где я сижу, выходит усатый нечесаный мужик со спортивной сумкой в руке и бредет в сторону сектора для метания, где уже полчаса исходят калориями эти олимпийские надежды.

С третьей попытки подвиг турка повторяет поляк — в экстазе он даже совершает кружок почета вокруг сектора, аплодируя себе поднятыми над головой руками.

Усатый тем временем садится на скамеечку и начинает перевязывать шнурки. Среди окружающих его энтузиастов молотометания он смотрится человеком, который крепко спал, никому не мешал, а его растолкали, подняли и велели идти на работу, которую он видел в гробу.

Какой-то заморский бедолага срывает последнюю попытку, в отчаянии хватается за голову и долго колотит огромной рукой позагородке, а потом валится на колени и в сильнейшей скорби утыкается головой в покрытие.

Мужик, шнуровавший кроссовки, поднимается, снимает олимпийку и берет молот. Той же ленивой походочкой он входит в круг, останавливается в центре, секунду стоит так — и начинает задумчиво раскачивать чугунное ядро, наливаясь каким-то новым содержанием. Раскачка переходит в медленное вращение, и вдруг что-то случается. Человек в круге оказывается как бы в центре смерча, и этот смерч — он сам!

Через секунду из этого смертоубийственного вихря вылетает снаряд, и летит, и, перелетев за линию квалификации, летит еще, и падает за флажком олимпийского рекорда. Выслушав рев стадиона и патриотический захлеб диктора, усатый мужик

выходит из круга и, окончательно потеряв интерес к происходящему, берет свою сумку и бредет обратно в раздевалку.

Это был рекордсмен мира в метании молота Юрий Седых.

Он ушел, а в секторе продолжились соревнования на уровне сдачи норм ГТО, сопровождаемые экстазами, заламыванием рук и кругами почета.

Задолго до Московской Олимпиады Аристотель предупреждал: комическое кроется в несоответствии…

«Почтальоны»

Несоответствие человека собственному (божьему) дару давно стало притчей во языцех, — но, в сущности, какая нам разница, хороший ли человек почтальон, доставивший нам ценное заказное письмо? Главное: от кого оно и в каком виде доставлено, правда?

К этому тезису есть довольно яркие иллюстрации. Тонкий, весь в полутонах и рефлексиях писатель при близком знакомстве оказывается чудовищным быдлом. Как же так, позвольте, но ведь это же он написал?..

Он. Но — как бы это сказать? — не вполне сам.

Просто он хороший почтальон.

Или великий почтальон — как Гоголь, к которому за пределами этого почтового ведомства, судя по многочисленным свидетельствам, лучше было близко не подходить.

Антон Павлович Чехов, поднимавший белый флаг над мелиховским домом, чтобы окрестные крестьяне знали: приехал доктор, и можно получить бесплатную помощь, — не норма, а какое-то прекрасное этическое отклонение.

Но не будем о грустном. Лучше я расскажу о пианисте Николае Петрове.

Однажды я имел честь выступать с ним в одном благотворительном концерте — и даже оказаться в одной гримерной. Мы коротали время до выхода на сцену (каждый своего, разумеется) и травили анекдоты. По счастью, дам в гримерной не оказалось, и анекдоты пошли самые демократические, без купюр. Грузный Николай Арнольдович трясся от смеха. Вместе с ним и его смехом тряслись стены гримерной. Когда анекдоты рассказывал он сам, слово «жопа» было одним из самых приличных. Земной Петров двумя ногами стоял на земле и весь состоял из мяса, как Фальстаф.

В какой-то момент, прислушавшись к динамику, он начал одевать свой безразмерный фрак — скоро было на сцену. И вдруг выбыл из числа присутствовавших в гримерной! Я не сразу заметил это и еще по инерции адресовался к нему, но как будто звуконепроницаемый стеклянный колпак накрыл Николая Арнольдовича. За номер до своего он покинул помещение, и я поспешил за ним, заинтригованный.

Петров стоял за кулисами, серьезный и немного торжественный: он ждал выхода. Подойти к нему с разговорами было немыслимо. Попытка рассказать анекдот могла стоить жизни. Мысль о том, что этот строгий, отрешенный от мирского

господин во фраке умеет смачно употреблять слово «жопа», не приживалась в сознании.

Потом его объявили. Петров вышел на сцену, коротко поклонился, сел за рояль и поднял глаза. При первых же звуках двадцать четвертой сонаты Моцарта глаза эти начали наполняться слезами, а лицо приобрело безмятежное детское выражение. Нежная полуулыбка бродила по губам. Он смотрел в сторону тех кулис, где стоял я, но не видел ни меня, ни кого бы то ни было еще. Что видели эти глаза, не знаю, но что-то такое видели…

Взгляд на клавиатуру он не опустил, кажется, ни разу. Ноты появлялись и исчезали — сами.

Последняя нота не сразу вернула Николая Арнольдовича на землю. Он еще немного посидел, приходя в себя, потом встал и поклонился. Улыбка, которая сияла на его лице в этот момент, уже не была лунатической — это была улыбка человека, хорошо сделавшего свое дело и принимающего благодарность от понимающих сограждан.

Провожаемый овацией, Петров пошел за кулисы, занавес закрылся, и на сцене началась перестановка, а я опрометью бросился через закулисье, чтобы поскорее сказать Николаю Арнольдовичу, как это было хорошо (а то он не знал).

Но я опоздал. Петров уже разговаривал со скрипачкой из «Вивальди-оркестра», легко приобняв ее за талию. Наследственный его бас заполнял закулисье, скрипачка смеялась… В то, что этот грузный рогочущий человек только что, почти не приходя в сознание от счастья, исполнил двадцать четвертую сонату Моцарта, не верилось ни секунды.

Почтальон сделал свою работу и оттягивался пивком.

Нечто подобное, наверное, происходило и с самим Моцартом. Неудивительно, что Сальери, ничего о «почтальоне» не знавший, постепенно наливался ядом…

Встреча с классиком

Однажды я встретился с самим Евгением Евтушенко. Было это в городе Сургут. Я только что вернулся в гостиницу с концерта, а его в ту же гостиницу привезли из аэропорта: он выступал на следующий день.

Классик предложил поужинать вместе, и вскоре мы сидели за одним столом. Евгений Александрович был ко мне, кажется, расположен и вскоре решил по-отечески похвалить за «Куклы».

— Знаете, Виктор, про вашу программу мне рассказал мой старый друг, капитан дальнего плавания. Мы познакомились с ним в Мондевидео, когда в шестьдесят втором году я…

И Евгений Александрович рассказал увлекательнейшую историю из своей жизни. Год я могу путать, но за Мондевидео ручаюсь. Мы еще выпили. Потом классик вспомнил, что хотел меня похвалить.

— Да! — сказал он. — Так вот, про вашу программу! Я впервые увидел ее недавно, но вообще похожую видал еще в Америке, в шестьдесят пятом году, когда мы с Робертом Кеннеди…

И Евтушенко рассказал еще одну потрясающую историю — про себя и Роберта Кеннеди, Потом мы снова выпили. Потом классик увидел перед Собой меня и сказал:

— Да! Так насчет ваших «Кукол»!

…В этот вечер он еще несколько раз предпринимал честную попытку меня похвалить. Он поднимал в воздух тяжелый бомбардировщик своего комплимента, но по дороге отвлекался, ложился на крыло и улетал в сторону автобиографии. Там и бомбил.

Впрочем, все это, конечно, было намного интереснее, чем комплимент, который он хотел мне сказать.

Если только это был комплимент.

«Гений поведения»

Так назвал кто-то Александра Ширвиндта. Автор формулировки сам близок к гениальности: определение, на мой вкус, точнейшее.

Дело было в конце шестидесятых. В Доме актера шел новогодний вечер, за столами сидела эпоха — Утесов, Раневская, Плятт, мхатовские «старики»…

Эпоха, впрочем, была представлена довольно всесторонне: за одним из центральных столов, с родными и челядью, сидел директор большого гастронома, «спонсировавший» дефицитом элитарный вечер. Молодой Александр Ширвиндт, ведший программу, разумеется, не мог не поприветствовать отдельно «крупного работника советской торговли».

Но крупный работник советской торговли ощущал себя царем горы — и духа иронии, царившего в зале Дома актера, по отношению к себе допустить не пожелал,

— Паяц!—громко бросил он Ширвиндту прямо из-за стола.

Царь горы даже не понял, что сказанное им относилось, в сущности, почти ко всем, кто сидел в этом зале. Наступила напряженная тишина, звуки вилок и ножей, гур-гур разговоров — все стихло. Все взгляды устремились на молодого артиста.

Но Ширвиндт словно не заметил оскорбительности произошедшего. И даже как будто засобирался извиняться… Мол, я ведь только потому позволяю себе отвлекать вас от закуски-выпивки, только для того и пытаюсь шутить, чтобы сделать вечер приятным, потому что очень уважаю собравшихся… ведь здесь такие люди: вот Фаина Георгиевна, вот Ростислав Янович, вот…

Ширвиндт говорил темно и вяло, и директор гастронома, не получивший отпора, успел укрепиться в самоощущении царя горы.

— …и все мы здесь, — продолжал Ширвиндт, — в этот праздничный вечер, в гостеприимном Доме актера…

Директор гастронома, уже забыв про побежденного артиста, снова взялся за вилку и даже, говорят, успел что-то на нее наколоть.

— И вдруг какое-то ГОВНО, — неожиданно возвысив голос, сказал Ширвиндт, — позволяет себе разевать рот! Да пошел ты на хуй отсюда! — адресовался Ширвиндт непосредственно человеку за столом.

И перестал говорить, а стал ждать. И присутствовавшая в зале эпоха с интересом повернулась к директору гастронома — и тоже стала ждать. Царь горы вышел из столбняка не сразу, а когда

вышел, то встал и вместе с родными и челядью навсегда покинул Дом актера.

И тогда, рассказывают, поднялся Плятт и, повернувшись к молодому артисту Ширвиндту, зааплодировал первым. И эпоха в лице Фаины Георгиевны, Леонида Осиповича и других легенд присоединилась к аплодисментам в честь человека, вступившегося за профессию.

Не надо рефлексий

В свое время артист Державин был зятем Семена Михайловича Буденного. И вот однажды в семейно-дружеском застолье, в присутствии легендарного маршала, сидевшего во главе стола, Державин и Ширвиндт начали обсуждать одну нравственную коллизию.

Коллизия эта была такова: они работали на Малой Бронной у Эфроса, а звали их в театр Сатиры — на первые роли. Эфрос был учитель и серьезный режиссер… В театре Сатиры обещали роли… Ролей хочется, перед Эфросом неловко… Маршал Буденный послушал-послушал — и попросил уточнить, в чем, собственно, проблема. Не желая обижать старика, ему на пальцах объяснили ситуацию и даже вроде как попросили совета. Как у пожившего человека…

Семен Михайлович ответил зятю: — Миша! Я не знаю этих ваших театральных дел, но я скажу так…

Он немного помолчал и продолжил довольно неожиданно:

— Степь! И едешь ты по степи верхами… А навстречу тебе верхами едет какой-то человек. И ты не знаешь: белый он, красный…

Маршал побагровел от воспоминаний и крикнул:

— Миша, руби его на хуй!

И они ушли от Эфроса в театр Сатиры.

Близость к первоисточнику

Как-то, в самый разгар застоя, Смоктуновскому предложили написать статью о Малом театре, где он в ту пору играл царя Федора Иоанновича, — статью, ни больше ни меньше, для «Правды». Ну, он и написал о Малом театре — некоторую часть того, что он к этому времени о Малом театре думал.

А думал он о нем такое, что вместо публикации, через несколько дней, Смоктуновского попросили зайти на Старую площадь, к Зимянину.

Справка для молодежи: на Старой площади располагался ЦК КПСС (сейчас там, по наследству, наводит ужас на страну Администрация президента), а Зимянин был некто, наводивший симметричный ужас при советской власти.

По собственным рассказам Иннокентия Михайловича, когда он вошел в кабинет и навстречу ему поднялся какой-то хмурый квадратный человек, артист сильно струхнул. Но это был еще не Зимянин, а его секретарь. И кабинет был еще не кабинет, а только предбанник.

Зимянин же оказался маловатого роста человеком — совсем малого, отчего Смоктуновскому стало еще страшнее.

— Что же это вы такое написали? — брезгливо поинтересовался маленький партиец. — Мы вас приютили в Москве, дали квартиру, а вы такое пишете…

Член ЦК КПСС был настроен основательно покуражиться над сыном Мельпомены, но тут на Смоктуновского накатило вдохновение.

— Пишу! — заявил вдруг он. — Ведь как учил Ленин?

— Как? — насторожился Зимянин.

Тут бывший Гамлет распрямился во весь рост и выдал огромную цитату из лысого. К теме разговора цитата имела отношение самое малое, но факт досконального знания совершенно выбил Зимянина из колеи.

— Это из какой статьи? — подозрительно поинтересовался он, когда первый шок прошел.

Смоктуновский сказал.

Зимянин подошел к книжному шкафу с первоисточниками, нашел, проверил — и, уже совершенно сраженный, снова повернулся к артисту:

— Ты что же это, наизусть знаешь?

— А вы разве не знаете? — удивился Иннокентий Михайлович, и в голосе его дрогнули драматические нотки. Мол, неужели это возможно: заведовать идеологией и не знать

наизусть Владимира Ильича?

Агентура донесла, что вскоре после этого случая Зимянин собрал в своем кабинете всю подчиненную ему партийную шушеру и устроил разнос: всех по очереди поднимал и спрашивал про ту цитату. Никто не знал.

— А этот шут из Малого театра — знает! — кричал член Политбюро.

…Смоктуновский с трудом отличал Маркса от Энгельса — но как раз в ту пору озвучивал на студии документального кино фильм про Ильича, и в тексте был фрагмент злосчастной статьи.

Профессиональная память — полезная вещь.

Во избежание недоразумений

Старый актер Малого театра Михаил Францевич Ленин в 1920 году написал заявление наркому просвещения Луначарскому. Содержанием бумаги была просьба посодействовать тому, чтобы люди не путали его с тем Лениным, который Ульянов.

Луначарский наложил на письмо резолюцию: «Не трогать. Явный дурак».

Маузер Папанина

Рассказывают, что среди легендарных «папанинцев» единственным беспартийным был полярник Кренкель. И якобы глава экспедиции, несгибаемый, если уже не отмороженный, время от времени устраивал на льдине закрытые партийные собрания. Во время которых Папанин с товарищами-партийцами сидели в палатке, а беспартийный Кренкель гулял снаружи.

И, как сказано у Зощенко, затаил в душе некоторую грубость…

Самого Папанина на ту злосчастную льдину послала партия. А до того она его посылала, по преимуществу, бороться с контрой. Видимо, с тех боевых времен у чекиста и осталось нечто вроде профессионального тика: он по несколько раз в день разбирал и собирал свой маузер. И вот, когда эпопея закончилась благополучно, и героев везли на корабле навстречу триумфу, мстительный беспартийный Кренкель подкараулил Папанина, только что разобравшего свой маузер, и…

Вот вы небось думаете, что радист украл у чекиста какой-нибудь винтик… Вы недооцениваете интеллект полярника. Он Папанину винтик — подкинул!

Чекист собрал маузер и увидел на столе лишнюю детальку. Он аккуратно разобрал маузер и медленно собрал его снова. Потом проделал это еще раз. Лишняя деталька по-прежнему лежала на столе, бередя сознание.

Исчезновение маузера или любой его части вполне вписалось бы в картину времени: вредительство, диверсия, далее везде… — и только обострило бы профессиональные рефлексы начальника экспедиции. Но появление лишней — было выше чекистского разумения. Говорят, что будущий Герой Советского Союза, теряя сон и аппетит, разбирал и собирал свой рабочий инструмент до самого Ленинграда.

Приметы коммунизма

В конце тридцатых партийная организация Малого театра поручила великой Яблочкиной встретиться с молодежью и рассказать молодежи про коммунизм.

Александра Александровна была дама дисциплинированная — и начала молодым про коммунизм рассказывать все, что сама к тому времени о нем знала. Какие будут отношения между людьми и как все вокруг будет прекрасно… Как и полагается актрисе, от собственного монолога Яблочкина постепенно возбудилась и закончила с неподдельной страстью и томлением:

— …и будет много разной вкусной еды, — дрожащим голосом пропела она, — как при царизме!

Малый театр и большая нужда

Малый театр, Челябинск, зима 1942 года. Жили в эвакуации по квартирам, но самых народных артистов, в знак уважения, поселили в гостинице — вместе с московским начальством.

Гостиница не гостиница, а воды временами не было. Ее носили со двора, и легендарный Остужев дефилировал по коридорам с полным ведром, декламируя своим бесподобным голосом:

— Раз студеною порой шла девица за водой…

Для прочих надобностей, на времена коммунального обезвоживания, имелся деревянный домик во дворе. Но не все до этого домика снисходили: некий московский депутат нашел вполне начальственную альтернативу и, побрезговав ходить на мороз, просто наложил кучу на полу гостиничного туалета.

Его-то, выходившего из неработающего туалета, и обнаружил, вместе со следами депутатской жизнедеятельности, народный артист СССР Александр Остужев.

Через несколько секунд гостиницу наполнил его глубокий голос:

— Да-а… — громко произнес Остужев. — Войну мы проиграли!

Обитатели гостиницы повысовывались из дверей.

— Войну мы проигра-али! — драматически повторил народный артист СССР.

Это тянуло на трибунал, и невольные слушатели остужевского монолога не знали, что им делать — то ли первыми бежать в ближайший орган власти, то ли временно оглохнуть. Дав соседям время на смятение, артист развил свою мысль вполне:

— Если народный депутат насрал на пол — войну мы проигра-али…

Сходство

На открытие памятника Долгорукому, в год восьмисотлетия Москвы, согнали, разумеется, всякой твари по паре: рабочие, служащие, военные, народная интеллигенция… Оркестр, начальство. Все стоят, ждут; произведение искусства, слава богу, еще под покрывалом.

Покрывало сняли, и типовое чудило на лошади предстало, наконец, глазам общественности. После недоуменной паузы в тишине раздался негромкий голос композитора Сигизмунда Каца:

— Похож.

Поговорили

В пятьдесят каком-то году в Калькутту приехала английская королева.

Разумеется, прием на самом что ни на есть уровне, послы, атташе… А от СССР в Калькутте в ту пору случился какой-то партийный чувачок из торгового представительства, звезд не хватавший даже с невысокого советского неба.

И вот — во всех смыслах слова — представление: английская королева идет вдоль ряда послов и с каждым хоть несколько слов да скажет.

Дошли до чувачка.

А он к тому времени от ужаса забыл даже то, что учил, и, увидев перед собой Ее Величество, просто спросил:

— Do you speak English? Королева ответила:

— A little…

Сколько в тебе росту?

Дело было в конце пятидесятых в Стокгольме.

Зиновий Гердт и его аккомпаниатор Мартын Хазизов (уже немолодой человек, и тоже фронтовик) гуляли по городу — в сопровождении, разумеется, *сопровождающего,* молодого лейтенанта госбезопасности.

— Зямчик, — сказал вдруг Мартын, — я ничего не понимаю! Смотри: над дворцом флаг, значит, король дома. А мы же им враги! И гуляем по дворцу, и никто нас не останавливает, не проверяет документов… Зямчик, ты что-нибудь понимаешь?

«Зямчик» все уже понимал вполне (как, разумеется, и сам Мартын) — именно поэтому счел за благо помолчать. Но *сопровождающий* промолчать не смог.

— Видимость демократии! — заявил он, хотя его никто ни о чем не спрашивал.

Тут маленький Мартын повернулся к лейтенанту и спросил:

— Дима, сколько в тебе росту?

— Метр восемьдесят семь, — ответил Дима. И Мартын сказал:

— Вот *весь* — иди на хуй!

…Когда в доме Гердтов имели в виду кого-нибудь послать, то вместо мата задавали этот невинный вопрос:

— Сколько в тебе росту?

И человек понимал, что он уже идет — *весь*…

Последний мальчик

Дело было во Львове, в конце семидесятых. Маргарита Алигер, прибывшая на Западную Украину по линии Союза писателей, покупала в комиссионном магазине сервиз.

Попросила завернуть.

Немолодая продавщица сообщила, что сервиз, безусловно, завернет — если Алигер сама сходит в хозяйственный магазин и купит оберточную бумагу с веревкой. Алигер намека не поняла и пошла за веревкой. Купила пару метров бумаги. Вернулась в комиссионный. Продавщица кое-как упаковала фарфор и молча двинула его по прилавку в сторону покупательницы.

Уровень сервиса был очевидно занижен — даже по сравнению с советским, но Алигер и тут намека не поняла и, будучи целиком погружена в хозяйственные нужды, спросила, нет ли в магазине какого-нибудь *мальчика,* чтобы донести покупку до гостиницы.

Тут, наконец, продавщицу прорвало.

— Последний мальчик, — громко уведомила она крупную советскую поэтессу, — уволился в тридцать девятом году, когда вы нас освободили!

Неожиданный ход

Шла решающая партия матча Ботвинник — Бронштейн за звание чемпиона мира.

Ботвинник записал отложенный ход, и целую ночь потом его друг и секундант, гроссмейстер Сало Флор, анализировал позицию, ища пути к выигрышу…

Наступил день доигрывания. Вскрыли конверт. Там рукой Ботвинника был записан ход, не имевший никакого отношения к тому ходу, над которым всю ночь ломал голову его друг и секундант.

Михаил Моисеевич признался ему в этом только перед самым выходом на доигрывание, и Флор заплакал.

— Извини, Соломончик, — сказал Ботвинник, выйдя со сцены. — Никому нельзя доверять…

Два чемпиона

Разошедшись со своим учеником во взглядах на сталинизм, Ботвинник впоследствии начал подвергать Каспарова критике и по другим направлениям. Дошло и до принципиальности в национальном вопросе.

— Я ведь тоже мог взять фамилию матери! — возмущался Михаил Моисеевич. — Но ведь не взял!

— А как фамилия вашей матери? — неосторожно поинтересовался кто-то.

Оказалось: Рабинович.

Репутация и конвертация

Звонок. Застенчивый мужской голос.

— Простите, вы меня не знаете, ваш телефон дал мне Александр Володин…

Имя Володина — пароль, на который нельзя не отозваться,

— Слушаю вас, — говорю.

— Тут такая глупая ситуация, — виновато бубнит трубка, и становится слышно, как там, на другом конце провода, человек переживает неловкость своего звонка. — Я в Москве, у меня украли деньги… Не хватает на билет. Я сразу, как приеду домой, верну.

Рекомендация Александра Моисеевича делает отказ невозможным.

— Разумеется! …

— Буквально сто рублей…

— Ну, о чем речь!

Договариваемся о встрече. При встрече я силком впихиваю в незнакомую руку вместо ста рублей двести. Немолодой разночинец (тип сельского учителя) от двухсот сначала отказывается в некотором даже ужасе, но потом ужас превозмогает и деньги берет. Затем несколько раз повторяет слова благодарности и довольно сильно волнуется насчет скорости возвращения долга. Он готов послать деньги в день приезда, но нужен мой почтовый адрес.

— Отдайте Александру Моисеевичу, — говорю я, млея от собственного ума и благородства. — А я потом у него возьму.

— Да? — радуется человек. — Хорошо. Я — завтра же! На прощанье он совершает в мою сторону несколько поясных поклонов. Я взаимным образом кланяюсь в адрес нашего общего друга, великого драматурга Володина. Действие происходит на троллейбусной остановке, и публика с интересом наблюдает за сеансом этого невыносимого человеколюбия.

Через пару недель звонит Татьяна Александровна Гердт.

— Витя! Я хочу вас предостеречь. Вам будет звонить человек от Володина, просить денег…

— Уже.

— И вы дали?

— Разумеется.

— Витя! Это жулик!

…Немолодой разночинец с лицом сельского учителя взял деньги у Табакова, взял у Юрского, взял у Камбуровой, взял в «Современнике», взял в театре «Сатирикон», взял у вдовы Зиновия

Гердта и вдовы Михаила Львовского. Ни один человек ему не отказал, и каждый норовил дать денег побольше. Отсвет володинского благородства сиял на челе тихого жулика, ослепляя окружающих.

Вот что такое — репутация.

И вот что такое — психологический расчет.

Володин. Утро восьмидесятилетия

Отмечать его, в самой доверенной компании, драматург начал уже накануне. Впрочем, вполне трезвым в поздние годы Александр Моисеевич уже не бывал, а незадолго до смерти перестал даже-закусывать…

В последний раз я видел его за месяц с небольшим до смерти. Володин лежал на кушетке, а рядом на столике стоял графинчик с водочкой и стопка. Время от времени Александр Моисеевич отпивал из стопки, как отпивают лекарство.

В каком-то смысле это и было ему лекарством.

Никакого блюдечка, хоть с кусочком сыра, на столике замечено не было.

Но это — уже совсем перед концом, а за два года до этого, в день своего восьмидесятилетия, Володин, с вечера теплый, был разбужен в восемь утра звонком в дверь.

— Кто? — спросил он.

— Телеграмма, — ответили из-за двери.

— Положите в почтовый ящик, — попросил Володин.

— Не могу, — ответили из-за двери. — Это телеграмма от президента России!

Полуголый классик приоткрыл дверь; прячась за ней, через порог, черкнул корючку в почтальонской книжке — и втянул внутрь простыню кремлевской телеграммы, с двуглавым орлом и вензелями.

— И вот, — рассказывает Володин, — я стою в трусах в коридоре и читаю: «Дорогой Александр Моисеевич! Вы зпт выдающийся российский драматург зпт автор пьес и сценариев к кинофильмам двтч фабричная девчонка зпт пять вечеров зпт…»

— Представляете? — сказал Володин. — Президент России с утра напомнил мне, кто я!

Виктор Петрович Астафьев

Мой приятель, журналист Георгий Елин, работая над материалом об Астафьеве, с классиком подружился. И как-то раз Виктор Петрович позвал его в гости к своему приятелю, там же, в красноярской Овсянке…

— Но только, — предупредил Жору Виктор Петрович, — ты при нем плохо о евреях не говори. Он их любит отчего-то.

(Астафьев был, как видно, толерантный человек — и был способен на дружбу с человеком, который любит евреев.)

На астафьевское предупреждение Жора Елин среагировал вполне честно.

— А чего мне плохо о них говорить — я к ним нормально отношусь.

— Да ну! — не поверил классик такой концентрации юдофилов в Овсянке — и, по словам Жоры, даже задумался.

— Виктор Петрович, — сказал Жора, осторожно ступая на заминированное поле. — Ну, смотрите: вот, например, Бакланов… Хороший человек?

— Гришка? — переспросил Астафьев. — Гришка человек золотой!

— Ну, вот видите, — сказал Жора. — А ведь он — еврей! И тут классик, что называется, закрыл тему.

— Гришка, — возразил он, — такой хороший человек, что даже не еврей! … –

Соборное отчество

На семидесятилетнем юбилее Райкина замминистра культуры, вышедший с поздравлениями от правительства, упорно называл юбиляра Аркадием *Александровичем,* вынудив выступавшего следом Утесова заметить, что в Ленинграде стоит Исаакиевский собор — и его еще никто не переименовывал…

Реплика

Аркадий Райкин, что не редкость в актерском цеху, был необычайно ревнив к чужому успеху — вплоть до того, что отбирал роли у партнеров по сцене. Иногда — целиком, как в случае со знаменитым «Авасом», игравшимся аж в трех вариантах: сначала Карцевым и Ильченко, потом Карцевым, Ильченко и Райкиным, а потом — Карцевым и Райкиным, уже без Ильченко.

А иногда художественный руководитель театра миниатюр просто откусывал у сослуживцев самые сладкие реплики. Рассказывают, что однажды он попросил легендарную костюмершу Зину…

Впрочем, тут самое время отвлечься и рассказать, почему эта Зина — легендарная; точнее — как она легендарной стала. А стала она ею в одночасье, не пустив в райкинскую гримерную министра культуры Демичева.

Тот в антракте решил посетить артиста, а артист в это время лежал на кушетке с привычной таблеткой валидола во рту. И Зина Демичева в райкинскую гримерную не пустила. Сказала: он отдыхает. Ей напомнили: это министр культуры! И тогда Зина произнесла фразу, немедленно сделавшую ее легендарной.

Она Сказала:

— Министров много, а Райкин один.

И встала в дверях, как триста спартанцев. И Демичев вернулся в свою ложу.

Но вернёмся к истории об отнятых репликах. Однажды перед самым спектаклем Райкин попросил Зину позвать к нему в гримерную артиста N. (допустим, звали его Сережа).

— Сережа, — сказал ему Аркадий Исаакович, — какой у тебя там текст?

— Где? — уже чуя недоброе, уточнил артист. В такой-то миниатюре, ответил Райкин. Сережа сказал текст.

— Как-как? Еще раз… Сережа текст повторил.

— Ага, — сказал художественный руководитель. — Сережа, давай сегодня я это скажу.

— Аркадий Исаакович, — взмолился артист. — Но у меня только одна эта реплика и есть! И потом, зрители так смеются…

— Сережа, — тихо уточнил Райкин. — А ты думаешь, у меня смеяться не будут?

Педагогическая поэма

Юный Константин Райкин, будучи человеком и темпераментным, и литературно одаренным, вел донжуанский дневник. Записывал, так сказать, свои впечатления от начинающейся мужской жизни.

По всем законам драматургии, однажды Костя свой дневничок забыл, в раскрытом виде, на папином рабочем столе — и, вернувшись из института, обнаружил родителей, с интересом изучающих эту беллетристику.

— Да-а, — протянул папа. — Интересно… Я в твои годы был скромнее, ——сказал он, чуть погодя.

— Ну, ты потом наверстал, — заметила мама, несколько испортив педагогический процесс. Но педагогический процесс только начинался: Райкин-старший вдруг сменил тему.

— Знаешь, Котя, — сообщил он, — у нас в подъезде парикмахер повесился…

Котя не сразу уследил за поворотом сюжета:

— Парикмахер?

— Да, — печально подтвердил Аркадий Исаакович. — Повесился парикмахер. Оставил предсмертную записку. Знаешь, что написал?

Райкин-старший взял великую педагогическую паузу и, дав ребенку время сконцентрировать внимание, закончил:

— «Всех не перебреешь!»

— Но стремиться к этому все-таки надо! — смеясь, добавляет сегодня Райкин-младший, рассказывая эту поучительную историю…

Такая работа

Однажды на кинофестиваль «Кинотавр» привезли живого Майкла Йорка. Неподражаемый Тибальт, уже совершенно седой, в белом полотняном костюме, стоял на лестнице у веранды летнего кафе, принимая признания в любви.

Я ждал своей минуты, любуясь тем, как пожилой артист делает свою работу. Это была работа булгаковской Маргариты на балу у сатаны: каждому уделить толику внимания… Ему на чудовищном английском говорили комплименты, которые он знает наизусть тридцать лет, — но ни усмешки, ни гримасы нетерпения не промелькнуло на вышколенном профессией лице.

В это же время в двух шагах от Йорка несколько девочек-подростков пытались взять автограф у одной эстрадной звезды отечественного розлива. «Звезда» торопливо черкнула два раза в блокнотики и раздраженно бросила:

— Ну все, хватит! Дайте отдохнуть.

И пошла по лестнице мимо Майкла Йорка, о котором в силу возраста и общей культуры понятия не имела. А Йорк все улыбался, терпеливо выслушивал слова любви и признания и улыбался в объективы «мыльниц», терпеливо дожидаясь, пока хозяйки справятся с волнением.

Когда я, дождавшись своей очереди, спросил его (на чудовищном же английском), можно ли мне с ним сфотографироваться, он улыбнулся — именно и персонально мне! — и сказал:

— Sure…

Он сказал это так, как будто всю жизнь мечтал о том, чтобы сфотографироваться именно со мной. Профессия!

После репетиции

Георгий Менглет в молодости учился у Алексея Дикого — артиста, хорошо памятного старшему поколению. Однажды учитель призвал его и попросил о помощи.

— Менглет, — сказал он. — Пойдешь сейчас со мной. Скажешь жене, что мы с тобой двое суток репетировали.

По свидетельству Георгия Павловича, внешний вид учителя в этот момент мало соответствовал работе над образом и даже довольно ясно указывал на способ проведения досуга.

— Ну, как я это скажу? — попробовал слинять из сюжета Менглет. — Вы же…

— Ты артист или не артист? — возвысил голос Дикий, стараясь не очень дышать в сторону ученика. — Должен убедить!

Щека его — видимо, в процессе последней репетиции — была свежеизодрана женской рукой, но и попытка сослаться на это обстоятельство Менглету не удалась.

— Скажешь, что меня твоя собака поцарапала. У тебя же есть собака!

И Менглет, заранее покрываясь потом стыда, поплелся за любимым учителем.

Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Менглет встал у стеночки в двух шагах — лжесвидетелем, ожидающим вызова для дачи показаний. Дикий позвонил в дверь. Дверь открыла жена Дикого и, слова не говоря, залепила мужу оплеуху.

Мастер сценической паузы, народный артист СССР Алексей Денисович Дикий выждал несколько секунд, с достоинством повернулся к ученику и коротко распорядился:

— Менглет, свободен!

Злободневный репертуар

Борьба с волюнтаризмом спасла молодого Олега Табакова от неотвратимой творческой удачи: ему светило сыграть главную роль в фильме про юность Никиты Сергеевича Хрущева. Бродить среди кукурузных полей, щупать початки, смотреть вдаль оптимистичным обаятельным взглядом… Никита Сергеевич даже успел утвердить кандидатуру Табакова на роль самого себя — но партия уберегла молодой талант.

Вскоре после снятия Хрущева артист встретил его в Малом театре. Вокруг бывшего главы государства зияла ощутимая пустота, но Табаков мог многое себе позволить уже в середине шестидесятых — и к Никите Сергеевичу подошел. Поздоровался, спросил, как жизнь…

— Да вот, Олег, — сказал Никита Сергеевич, — пришел посмотреть, как царей с работы снимают!

В этот вечер в Малом давали «Макбета».

Фотография на счастье

А эту историю рассказывал в стародавние времена Никита Михалков — в ту пору еще не учивший народ державности, а просто снимавший хорошее кино. И, между прочим, любивший подтрунить в компаниях над официозным папой.

А история такая. В октябре 1964-го в коридоры ВГИКа какая-то сорока принесла на хвосте свежую весть о том, что Хруща снимают — вот прямо-таки в эти минуты. Студент Никита, еще ребенком представленный своему полному тезке, помнил, что у папы, обладавшего уникальной способностью запечатлеваться с начальством, на рабочем столе стоит фотография — он с Хрущевым. И студент полетел сообщить отцу горячую новость.

Он ворвался в родительский дом возбужденный: папа, ты слышал?

— Что такое? — участливо поинтересовался Сергей Владимирович. — Что с-случилось, с-сынок?

Сынок уже было открыл рот, чтобы рассказать, что случилось, но в этот момент увидел фотографию на папином рабочем столе.

На фотографии рядом с папой стоял Леонид Ильич Брежнев.

— Что ты так разв-волновался, сынок?

Получка

Про михалковский цинизм ходят легенды, и легенды почти восхищенные. Ибо Сергей Владимирович был и есть циник — принципиальный; в его исполнении это не пошловатая уступка порокам и обстоятельствам, а жизненная позиция.

Как в старом анекдоте про скорпиона и черепашку: вот такое я говно!

Многие в писательском цехе поворовывают сюжетные ходы и даже тексты; но для того, чтобы миллионными тиражами опубликовать под своим именем диснеевских «Трех поросят», надо быть Сергеем Михалковым.

Рассказывают, как однажды он пришел в «Детгиз» за очередным безразмерным гонораром. Был день получки, и к окошечку кассы тянулась очередь — гонорарники, работники издательства… К очереди этой Михалков как Герой Соцтруда подошел, разумеется, с головы и, отодвинув безымянного «детгизовца», попросил выдать причитающееся.

Кассир посмотрел в ведомость и понял, что остальным можно в очереди уже не стоять: денег в кассе оставалось как раз на михалковский гонорар.

Кассир робко предложил компромиссный вариант: выдать Михалкову половину суммы сейчас, а остальное — завтра. Михалков не согласился. Позвали главного бухгалтера, потом директора издательства: Сергей Владимирович, войдите в положение… люди, очередь… мы завтра привезем на дом…

Герой Соцтруда был непреклонен:

— Д-давайте всё!

Наконец директор издательства не выдержал и возопил:

— Но почему?

Михалков ответил просто и непобедимо:

— А-алчность.

Теория комического

Юмор — почти всегда дитя контекста. Вот вам чудесный пример. Девяностолетний старик в ответ на вопрос, как ему удалось дожить до таких пределов и сохранить ясные мозги и здоровье, отвечает:

— Я всю жизнь работал и жил честно.

Ничего смешного, только пошловато немного, правда? Теперь — внимание — ввожу контекст! Эти слова в дни своего девяностолетия произнёс герой предыдущих сюжетов Сергей Михалков.

Вот вам уже и смешно, правда?

Все впереди

Рассказывают, что Михаил Ильич Ромм, работая во ВГИКе, обожал мучить абитуриентов просьбой пересказать «Анну Каренину», справедливо полагая, что в процессе такого пересказа образование, интеллект и вкус поступающего выявятся в полном объеме.

Обратился он с аналогичной просьбой и к абитуриенту Шукшину.

Шукшин, говорят, даже возмутился:

— Какая «Анна Каренина»? У нас в посевную горючего нет! Школу ремонтировать надо, котельная старая…

Вполне сочувствуя хозяйственным трудностям советского Алтая, присутствующие при диалоге поняли, тем не менее, что юноше во ВГИКе не учиться. Но Ромм, ко всеобщему удивлению, нарисовал против его фамилии плюсик.

— Но ведь он же не читал «Анны Карениной»… — осторожно напомнил кто-то мастеру.

— Да, — ответил Ромм, — но вы представляете, что будет, когда он это прочитает?

Напрасные опасения

Другая легенда из тех же коридоров.

Темой курсовой работы была комедия. Требовалось снять одночастевку. Некий вгиковец, представляя разработку будущей ленты, посетовал Ромму:

— Я только боюсь, чтобы не вышло, как у Чаплина. Михаил Ильич тут же его успокоил:

— Не бойтесь. Как у Чаплина — не получится…

Расширение кругозора

Поезд в Нижний Новгород с гостями фестиваля «Кинотавр» должен был отойти с минуты на минуту. У окна стоял Олег Янковский; его уже полчаса донимала общением явно не самая близкая его знакомая, дама из оргкомитета.

— Как жизнь? — спросил у нее, наконец, Янковский, чтобы, по крайней мере, больше не говорить самому, а только дотерпеть. Дама, отчаянно кокетничая, ответила так:

— Помните, у Блока, Олег Иванович? «Сотри случайные черты и ты увидишь — мир прекрасен!»

Олег Иванович вздохнул и со словами: «Секундочку, сейчас запишу…» — полез в карман пиджака за блокнотом.

«Китайца»

Дело было в самом конце восьмидесятых. Молодая русская актриса уже два месяца жила и работала в Париже и, как полагается русскому человеку, надолго попавшему в комфортабельные условия, сильно затосковала.

Актриса пила в своем полулюксе, врубив на полную громкость Высоцкого. Дверь в номер была приоткрыта, и через какое-то время, на сочетание хриплого голоса с женским одиночеством, в номер заглянул пожилой азиат. С корректным поклоном что-то спросил. Актриса ни на каком языке, кроме своего, не понимала, да ей и не больно было надо. Но излить душу уже хотелось.

— Китайца! — сказала она, махнув рукой. — Заходи! «Китаец» зашел, присел. Она ему налила:

— Пей!

«Китаец» с поклоном пригубил.

— Нет, ты пей! — сказала актриса. — Ты по-человечески выпей, до дна!

Заставив азиатского старика выпить до дна, она начала рассказывать ему про жизнь, о которой тот не имел никакого представления.

— Я актриса! — говорила актриса. — Понимаешь ты? Актриса! Станиславский, слышал?

— Станиславский… — понимающе закивал «китаец».

— Ни хера ты не слышал, — определила актриса. И еще выпив, длинно исповедалась ему — про русскую душу, про жизнь, до капли отданную искусству, про Высоцкого, про Нину Заречную… Азиат сочувственно кивал, гладил по плечу, потом по коленке…

— Отстань ты, китайца дурная! — кричала актриса. И снова рассказывала ему, как это мучительно — все время жить жизнью роли, которая не отпускает, живет в тебе и днем, и ночью… И открыла еще бутылку, и налила себе и гостю, — и в ожидании нехитрых, но особенно желанных в пожилом азиатском возрасте радостей тот еще битый час слушал про русскую душу, про Высоцкого, про Нину Заречную…

Радостей он не дождался. По крайней мере, так утверждает актриса, с нервным смехом рассказывавшая потом эту историю.

Причина нервного смеха — вот какова. Наутро, не слишком рано вернув себя к жизни, актриса подправила лицо и пошла завтракать. В холле отеля стоял вчерашний «китаец» и негромким голосом отдавал распоряжения. Вокруг него в большом

количестве стояла свита и подробно, с огромным почтением записывала слова, которые тот негромко ронял. «Китаец» мельком глянул на остолбеневшую невдалеке актрису — на лице его не дернулся ни мускул — и продолжил монолог.

Она отошла в сторонку и осторожно уточнила: кто это?

Оказалось: Акиро Куросава.

Англичанин Стивен

— Онанисты из Тоттенхема пришли к Папе Римскому. Папа сказал им: идите на хуй. Но прежде скажите мне: что это за расчудесная команда, которая называется «Арсенал»?..

Содержание этой речевки мне любезно пересказал мой друг Стивен — в лондонском пабе неподалеку от стадиона «Хайбери». Тридцать шесть лет назад, маленьким мальчиком, отец впервые привел его на «Хайбери», и жизнь Стивена обрела смысл и перспективу.

В свободное от переживаний за «Арсенал» время Стивен занимается Россией — он работает в русском отделе Би-би-си и женат на русской женщине, так что деваться ему от нас некуда. Знаток российской истории, ценитель Чехова и Достоевского, Стивен — тонкий интеллигентный человек…

Но только не на «Хайбери».

— Come on, «Arsenal» — кричит он, и судорога искажает его тонкое лицо. Хором с фанатами в красно-белых майках Стивен поет непристойные речевки; весь сжимается, когда воротам «Арсенала» угрожает опасность, и, расплескивая пиво, вскакивает с первобытным охотничьим криком, когда набирает скорость Тьерри Анри…

Когда матч закончился (слава богу, красно-белые выиграли), Стивен перевел дыхание, допил пиво, пришел в себя, посидел еще немного и смущенно сказал:

— Ты видел меня голым.

Его сыну пятнадцать месяцев.

— Он тоже болельщик «Арсенала»? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает Стивен, — просто он еще об этом не знает.

Почувствуйте разницу

После возвращения из мест «не столь отдаленных» великий Эдуард Стрельцов, в мужской компании делился впечатлениями, накопленными вдали от стадиона «Уэмбли».

Некоторые подробности с непривычки изумляли слушателей.

— Эдик, — спросил наконец один из них, — но это — быль?

Стрельцов возмутился:

— Какая на хуй «быль»? Чистая правда!

Легенда

Был прощальный матч Михаила Месхи. Тбилисское «Динамо» играло с какой-то уругвайской командой, но тренер уругвайцев не знал, что это прощальный матч Месхи — думал, просто товарищеский. (Я тоже сомневаюсь, что такое возможно, но так мне рассказывали в Тбилиси, а мы же с вами договаривались, что мы не в суде!)

Так вот (рассказывают в Тбилиси), этот уругвайский тренер после матча и говорит:

— У нас, — говорит, — в Уругвае тоже темпераментные болельщики, но я впервые вижу, чтобы после первого тайма игрока уносили с поля на плечах…

Ему поясняют:

— Вы не поняли. Он уходит из футбола!

Тогда уругвайский тренер якобы и сказал фразу, ради которой в Тбилиси рассказывают эту историю:

— Как? Он — уходит, а эти остаются?

Вариант

Компания, в которую я попал, была поголовно с консерваторским образованием: композитор Алексей Рыбников праздновал получение премии «Ника». Я был приглашен из-за соседнего столика и почел за честь.

В клубе, где происходило дело, обнаружился рояль, и через какое-то время вечеринка перетекла в джем-сейшн. Играли в две, три и четыре руки; кажется, однажды на клавиатуре уместилось и пять.

Под воздействием алкогольных паров, милой компании и хорошей музыки я «раскололся» и рассказал о своем «музыкальном» детстве, после чего был немедленно усажен за рояль — типа, давай, не бойся, все свои. И черт дернул меня (в порыве чувств) заиграть любимую мою рыбниковскую тему из «Мюнхгаузена».

Я хотел как лучше.

В свое оправдание могу сказать только, что, будучи не вовсе пьян, заранее предупредил автора: в одном месте правильной гармонии я так и не подобрал.

— Ничего, ничего… — разрешил композитор. Когда он раскаялся в сказанном, было уже поздно: я играл.

Рыбников стоял у рояля и слушал, что можно сделать с хорошей музыкой, если очень захотеть. Он старался следить за собой. Дошло до проклятого места. Я, заранее похолодев, подламывающимися пальцами исполнил то, что нашел вместо рыбниковской гармонии.

Композитор взял себя в руки, вздохнул и сказал:

— Ну что же, был и такой вариант…

Страшная месть

Замечательного фантаста Михаила Успенского пригласили на некий семинар в Польше. Приглашение поступило в последний момент, и, наскоро сделав ваучер в какой-то турфирме, Миша рванул из своего Красноярска в неблизкий путь к государственным границам.

У белорусских пограничников вопросов к писателю не было, но их польские коллеги проявили похвальную бдительность, обнаружив, что какая-то строчка в ваучере заполнена не на компьютере, а вписана от руки.

Сутки Успенский просидел в приграничном «обезьяннике» с группой задержанных цыган-контрабандистов. Цыгане оказались милейшими людьми — и даже помогли русскому фантасту снять сердечный приступ от польской бдительности легкой дозой кокаина…

На родину Мицкевича Успенского не пустили — и он отправился поперек меридиана обратно через всю Евразию…

— И что, ты так все это и оставил? — спросил я Мишу, рассказавшего мне эту историю.

— Ну уж нет! — ответил Успенский и улыбнулся широкой доброй улыбкой. — Я же сейчас пишу новый роман. Теперь у меня там появился польский нунций, педераст и страшный мерзавец…

Спрашивайте — отвечаем

Если не бог, то Фрейд шельму метит. Бывший журналист НТВ Ревенко, уже в ранге большого телевизионного государственника допущенный однажды к Солженицыну, собрался с мыслью и спросил у классика буквально следующее:

— Существует ли в России угроза *свободы* слова? И Александр Исаевич честно ответил:

— Нет.

Стечкин умер

После захвата НТВ мы еще некоторое время работали по соседству с теми, кто остался у Коха-Йордана, — и иногда, ко взаимной тоске, попадали в одни лифты. Деваться от общения было некуда.

И вот в набитый лифт, где уже стоял я, вошла Миткова. А мы были друзьями — по крайней мере симпатизировали друг другу. Обломки этого чувства лежат на глубине моего сердца и сегодня.

И вот она вошла в лифт, а там я. Мы не виделись несколько месяцев после тех немыслимых апрельских дней и ночей — и столько за это время случилось всего, столько тем для разговора… Ну и поговорили.

— Вот, Витя, — сказала Миткова, — какая беда. Харрисон умер.

Я кивнул, вздохнул. Лифт едет.

— И Стечкин, — сказала Таня.

Тут лифт наконец доехал до моего этажа, и я вышел, прекратив наши совместные мучения.

Эксклюзив

Сотрудник одной желтоватой газеты хотел слетать на халяву в Лондон, на Уимблдон. Газетное начальство дало отмашку на эти немаленькие расходы, но с одним условием: журналист привезет с туманного берега эксклюзивное интервью с Андрэ Агасси, личная жизнь которого в то время жутко интересовала планету.

Журналист прилетел в Лондон и сразу прилип к теннисисту, как банный лист — собственно, была ему нужна самая малость, буквально пара слов в диктофон, для оправдания слова «эксклюзив», а уж про личную жизнь Агасси он давно был готов все рассказать сам.

Но чемпион проходил мимо молча.

Турнир близился к концу; Агасси, круша соперников, летел к финалу. Перед финалом неутомимый российский журналист и подстерег теннисиста у отеля со своим диктофончиком. Тут чемпионские нервы сдали, количество стремительно перешло в качество, и молчаливый Агасси взорвался.

— Пошел на хуй! — на хорошем английском закричал он. — Ты меня заебал!

Тут подоспела охрана и пинками погнала российскую журналистику от элиты мирового тенниса.

Но дело было сделано. Через пару недель желтая газета вышла с цветной фотографией великого теннисиста и «шапкой»:

«Я смертельно устал, — заявил в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Андрэ Агасси…» И попробуйте сказать, что перевод неточен.

Педагогика на марше

Девочка пяти лет, приговаривая, увлеченно играла во что-то сама с собою под деревом, — к удовольствию и гордости собственной бабушки, сидевшей на скамеечке поодаль.

— Хорошо тебе там играться? — поинтересовалась наконец бабушка.

— Да! — крикнула счастливая девочка.

— А ты иди сюда, ко мне, на солнышко, — посоветовала бабушка.

Послушная девочка нехотя Оставила игру и побежала куда было велено.

— Не беги! — прикрикнула мудрая бабушка. — Иди шажочками, а то упадешь. Яблочко хочешь?

— Да! — обрадовалась девочка.

— На вот тебе сливу, — сказала бабушка. Девочка удивилась, взяла сливу и побежала обратно, под дерево, но споткнулась и упала.

— Вот! — с удовольствием сказала бабушка. — Говорила я: упадешь! Говорила! Ты ж бегать не умеешь, ноги у тебя неправильные…

Пятилетняя обладательница неправильных ног изо всех старалась не расплакаться.

— Она бегать-то не умеет, — участливо и громко разъясняла тем временем бабушка ситуацию соседке по скамейке. — Неправильно ноги ставит!

Соседка, кивая, рассматривала девочку вместе с ее неправильными ногами, и девочка все-таки заплакала.

— Она и ходит-то неправильно… — сообщила бабушка. — Ты на скамейку сядь и сиди! — переключилась она снова на предмет воспитания. — Раз ноги не умеешь ставить.

Девочка уже выла.

— Еще раз побежишь — домой пойдешь, дома будешь сидеть! — Бабушка прибавила звук и перешла на следующую октаву. — Нечего бегать, а потом мне тут плакать!

— Я не плакала, не плакала! — закричала девочка, еще две минуты назад счастливо игравшая под деревом.

Но правда восторжествовала.

— А я видела, видела! — радостно настояла бабушка. — Плакала, плакала!

Вообще-то я против смертной казни, но иногда очень хочется.

Силы природы

Один знакомый рассказывал: выхожу, говорит, из подъезда, а во дворе стоит над машиной Алан Чумак. Капот открыт.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Аккумулятор разрядился.

— Так вы зарядите! — говорю. Не может.

Платная медицина

По русской Америке меня возил антрепренер Юрий Табанский. Он в этом бизнесе уже бог знает сколько лет и видел разных гастролеров. Одним из них, в самом начале девяностых, был доктор Кашпировский.

— Сначала, — рассказывал мне Табанский, — я хотел сделать билеты по пятнадцать долларов, а потом подумал и сделал по тридцать пять. Лечиться так лечиться!

Кто будет богатым

Стояли мы как-то возле клуба «Петрович» — я, Вадим Жук и продюсер Юлий Малакянц. И подошел к нам мальчик с ладошкой и скорбным голосом.

Мы, конечно, понимали, что с вероятностью десять к одному у мальчика — не обстоятельства, а работа, но работал он довольно убедительно, и скорее из уважения к профессии лицедея, чем из жалости, мы выгребли из карманов мелочь и отдали ее юному дарованию. Разговор тут же соскочил на тему профессионального нищенства, и каждый вспомнил историю на этот счет.

Вадик рассказал о своем друге, питерском скульпторе Василии Аземше, к которому как-то подошел несчастный бомж и сказал:

— Брат! Дай на хлеб.

А Аземша как раз шел из булочной, и из авоськи у него торчал батон (или, говоря по-питерски, булка): Поняв просьбу буквально, скульптор отломил свежую горбушку и протянул ее страдающему брату.

Страдающий брат плюнул, грязно выругался — и еще некоторое время потом грязно ругался в удаляющуюся спину добросердечного скульптора.

В ответ я поделился воспоминанием о Григории Горине: мы стояли в тамбуре поезда Нижний Новгород — Москва, ожидая отправления, когда с аналогичной просьбой (насчет финансовой поддержки в счет человеколюбия) у ступенек возник вполне половозрелый юноша. На юноше были кроссовки «адидас», джинсы «левайс» и куртка — тоже вполне кондиционного происхождения.

И Григорий Израилевич нравоучительно сказал:

— Юноша! Вы недостаточно плохо одеты.

Возможно, продюсер Малакянц тоже вспомнил бы какую-нибудь историю на эту трехгрошовую тему, но тут Жук заметил, что на парапете чугунной ограды, возле которой мы стоим, лежит горстка десятикопеечных монеток. Происхождение этой мелочи мы поняли через пару секунд: монетки оставил мальчик, просивший подаяния. Серебро взял, а медью — побрезговал.

Чтоб зря карманы не оттягивать.

— Ни фига себе, — сказал я.

— Да, неглупо, — сказал Жук.

А продюсер Малакянц аккуратно собрал монетки и, положив себе в карман, наставительно произнес:

— Мальчик никогда не будет богатым. Мы с Жуком, видимо, тоже.

Стрелки

Приход в голову настоящей шутки — всякий раз чудо и счастье.

Дело было в Риге (Рига — в этой истории обстоятельство важное, оставьте его, пожалуйста, в голове на пару минут).

Итак, мы ужинали большой артистической толпой в каком-то клубе; на стене висела картина — обычная, признаться, мазня: дворик, домик, дерево, собачка… И вот встал Вадим Жук и вкрадчивым голосом экскурсовода начал раскрывать нам художественные тайны этого полотна. Молол что-то несусветное (Вадим Семенович, кстати, один из немногих моих друзей, знающий и понимающий живопись по-настоящему).

Цветовая гамма, говорил Жук… работа со светотенью… композиционное решение… обратите внимание на собачку …

Я обмирал от наслаждения — так это было изящно. Пять минут монолога — и ни единого шва, ни малейшего усилия, никаких следов внутренней работы! Когда с собачкой было покончено, все уже не смеялись, а всхлипывали от смеха. Тогда Вадик нравоучительным голосом сказал:

— Перейдем к следующей картине… И обернулся наугад.

За его спиной никаких картин не было. На стене висели обычные часы. Но паузы в монологе Жука не случилось.

— Эта картина называется «Латышские стрелки», — сказал он.

Визитка впрок

На его визитке еще в давние годы значилось: «Вадим Жук, отец Ивана». Ване в ту пору было совсем немного лет, и такая самоидентификация воспринималась милой шуткой.

Как писалось в старых романах: прошли годы…

Недавно у меня брала интервью молодая журналистка. Среди прочего, поинтересовалась, кто пишет куплеты в программу «Плавленый сырок». Я назвал Вадима Жука, предупредив: вы вряд ли знаете это имя…

— Не знаю, — призналась она. — Я знаю — Ивана Жука!

— А кто это? — поинтересовался я.

— Ну как же! Известный рок-музыкант. Правильно было написано на той визитке!

Взятка в рабочее время

Дело было в «Литгазете», в редакции «Клуба 12 стульев», в лучшие его годы. Появиться на шестнадцатой полосе было тогда большой честью, и некий автор, немолодой уже человек, получив гонорар за пару опубликованных накануне фраз, нашел ему наилучшее применение: купил бутылку хорошего армянского коньяка и пришел в редакцию — крепить контакты…

А коллектив редакции был, мягко говоря, пьющий. Оттопыренную полу пиджака, разумеется, заметили сразу — и с нарастающим нетерпением ждали, когда? автор вынет и поставит. А тот все мялся, мучаясь порочностью замысла. Наконец, решился и водрузил-таки свой коньяк на стол, за которым сидел редактор Виталий Резников.

Резников поднял голову и увидел бутылку. Перевел глаза на автора. Снова посмотрел на бутылку. И строго спросил:

— Что это?

Автор похолодел и забормотал что-то невнятное про свою благодарность…

— Вы хотели предложить мне взятку? — холодно уточнил Резников.

Автор подавился благодарностью и понял, что это конец. На дворе стояли строгие семидесятые годы.

— Взятку. Мне. В рабочее время… — вслух продолжал осознавать размеры человеческого цинизма редактор Резников.

Автор воровато схватил бутылку и попятился к дверям.

По мнению Владимира Владина, рассказывавшего мне сию историю, в этот момент в двух шагах от смерти находились уже двое. Гость был на грани инфаркта, а редактора (если бы из редакции ушла бутылка армянского коньяка) убил бы коллектив.

Несчастный уже исчезал с поклонами в дверном проеме, когда Резников сказал:

— Стойте!

И царственно объявил:

— Ваше счастье, что я беру взятки!

Анекдот

Ко времени встречи с Никулиным я уже вполне представлял главное проклятье его жизни: разумеется, каждый второй из числа узнававших (а узнавали все) норовил схватить классика за локоть и рассказать ему анекдот.

Я это знал — и все равно не удержался: Юрий Владимирович, а вы слышали такой-то анекдот?

— От вас — еще нет, — смиренно ответил Никулин.

Те же яйца, только в профиль…

Место действия: джип с наворотами.

Действующие лица, они же исполнители: поэт Игорь Иртеньев, бард Михаил Кочетков, ваш покорный слуга и некто Леша — хозяин джипа, здоровенный детинушка, работавший в ту пору администратором у известного эстрадного артиста.

Обстоятельства: едем вместе из посольства, где получали визы.

Теперь — собственно история.

У светофора хозяин джипа, увидев уазик военной автоинспекции, вдруг сказал:,

— Во! А у меня в армии смешной случай был…

И начал рассказывать, смешной случай. Звучало это примерно так:

— Это уже перед дембелем было. Иду я старшим патруля, вижу — чурка какой-то в шинели. А у меня глаз наметанный, я сразу вижу: самовольщик. «Стой, ко мне!» — а он бежать. Ну, я за ним. А он, сука, маленький, но шустрый., Но я ж спортом занимался, у меня ж дыхалка… — я на принцип! Пять минут за ним бегал: он на станцию, я туда, он по путям — я за ним! И на запасных догнал! Он, сучонок, сдох через рельсы бегать. Догнал я его — и как дам по балде! Он с копыт — башкой об уголь (там склад был) — и лежит. Ну, я сел на рельсы, отдыхиваюсь, жду, пока ребята подойдут. И представляете — застудил яйца! Мне на дембель, а у меня вот такие вот стали, как у слона! А куда мне такие — мне ж на дембель! В медсанбате потом кололи какой-то гадостью — стали маленькие… Только чего-то совсем маленькие. А куда мне маленькие, мне ж на дембель…

И замолчал. А обещал смешной случай.

Он посидел еще, охваченный неожиданным воспоминанием, а потом бросил через плечо Иртеньеву:

— Теперь ты смешное расскажи. Игорь думал не больше трех секунд.

— А я, — сказал он, — как-то в армии иду в самоволку, а навстречу — патруль. А старшим патруля — здоровенный такой детина. «Стой, ко мне!» Ну, я бежать, а он за мной. Здоровый, гад — спортсмен, наверное… Где-то на путях догнал — и как даст по башке! Я упал, ничего не помню… На гауптвахте сидел… А дембель этот (ребята потом рассказывали) яйца себе застудил. На рельсах сидел, идиот.

Игорь несколько секунд помолчал, очень довольный своим рассказом, а потом бросил:

— Шендерок, теперь давай ты смешное рассказывай! Ну, мне в этом сюжете — что оставалось?

— А я, — говорю, — служил в медсанбате. Привозят к нам как-то старшину — вот с такими яйцами! Мы начали ему колоть — они у него совсем маленькие стали. Фельдшер меня тогда спрашивает: мы чего ему колем? Я говорю: откуда мне знать, ты ж раствор даешь, мое дело шприц…

Хозяин джипа уже давно сидел, вцепившись в руль, и боялся повернуть голову.

А сзади сидел несчастный Миша Кочетков: снаряд сюжета неотвратимо летел к нему, и Кочетков, правилам композиции не чуждый, это понимал.

— Давай, Миш, — сказал я, — теперь ты смешное рассказывай.

— А я, — сказал Кочетков, — в прошлой жизни был яйцом. Обыкновенным мужским яйцом…

Фейс-контроль

«В любви и смерти находя
Неисчерпаемую тему,
Я не плевал в портрет вождя,
Поскольку клал на всю систему»,

— написал поэт Губерман.

Сажать за стихи было неловко — поэтому *система* судила Игоря Мироновича за скупку краденого. Друг Губермана, в будущем известный социолог Всеволод Вильчек, был свидетелем этого удивительного процесса.

…Губерман, страстный коллекционер, дал пятьсот рублей неким молодым людям, обещавшим достать для него старинные иконы. Этот эпизод, вскрытый следствием, должен был показать лживость и аморальность подсудимого. Пятьсот рублей! Незнакомым людям!

— Скажите, — ядовито поинтересовался судья Сугробов. — А мне вы бы тоже доверили пятьсот рублей?

Удивленный вопросом, Губерман поднял на судью свои цепкие глаза, и Вильчек обхватил голову руками, поняв абсолютную неизбежность ответной реплики.

— Вам, пожалуй, нет, — рассмотрев судью Сугробова со скамьи подсудимых, сказал Губерман.

Время удовольствий

Лестный случай: я в Иерусалиме и иду в гости к Губерманам, да еще в славной компании с Диной Рубиной.

Вместе с нею и Игорем Мироновичем войдя в подъезд, обнаруживаем у лифта классического иерусалимского старичка: маленького, подчеркнуто аккуратно одетого.

Он с поклоном здоровается с нами, раскланивается с Диной. Приходит лифт, и следующие полминуты мы выясняем, в каком порядке мы будем в этот лифт заходить. Старичок категорически отказывается сделать это первым: Дина — женщина, а я — гость; нет, он не войдет первым; мы можем даже не тратить время на попытку его уговорить.

Диалог, разумеется, идет на иврите, но я почему-то все это понимаю.

Наконец компромисс найден; старичок входит после Дины, но передо мной; на третьем этаже он покидает лифт, успев высказать несколько сентенций насчет жизни и еще раз раскланяться; я убежден, что это были сентенции насчет жизни, хотя ни слова не знаю на иврите.

Он закрывает дверь лифта и исполняет последний приветственный взмах рукой — уже через сетку шахты. Мы едем дальше, и Дина, полная новых впечатлений (наш попутчик, несомненно, еще прогуляется по страницам ее романов), говорит:

— Вот от кого я получаю здесь удовольствие, так это от иерусалимских стариков!

Губерман, только что отпраздновавший свое шестидесятилетие, реагирует без паузы:

— Дина, не забудь мне сказать, когда начнешь получать от меня удовольствие!

В кругу муз

В следующий раз я попал в дом Губермана в Иерусалиме через три года — с женой и дочкой одиннадцати лет.

Во главе стола сидела сама Лидия Борисовна Либединская.

Дочка была заранее предупреждена, в каком доме ей предстоит ужинать — за одним столом с замечательным поэтом и его тещей, родственницей Льва Толстого! — и проникнувшись ответственностью момента, она предстала перед иерусалимскими хозяевами Прекрасной Воспитанной Девочкой. Уместно отвечала на вопросы, вежливо благодарила за предложенные угощения… В общем, как могла соответствовала обществу замечательного русского поэта, стихи которого (ей было это обещано) она обязательно прочитает.

Когда-нибудь потом.

Губерман сидел рядом и лично ухаживал за юной гостьей. Предложил, разумеется, и налить.

— Я не знаю, можно ли мне, — безукоризненно засомневалась Прекрасная Воспитанная Девочка. — Если только мама разрешит…

— Херня, старуха, всего шестьдесят градусов! — успокоил Губерман.

На безрыбье…

Бог троицу любит — пусть же историй про мои приходы в дом Губермана будет три! Только в этот раз дом был — Лидии Борисовны Либединской, а зять-гастролер там гостевал, приехав в Москву с концертами.

Как раз после губермановского концерта, ближе к ночи, сидим, соображаем на троих. И в разговоре выясняется, что я забыл подарить Игорю Мироновичу свою книжку. Причем не одну.

— Старик, да у меня вообще нет ни одной твоей книжки!

— И у меня нет, — вставляет Либединская.

— Как же вы живете? — в притворном ужасе восклицаю я.

Лидия Борисовна — без паузы, с кротким вздохом:

— Перебиваемся Пушкиным…

Гердт. Расшифровка старой ленты

Эти истории рассказал мне Зиновий Ефимович Гердт. Разумеется, он рассказывал их не только мне — его творческие вечера наполовину состояли из таких устных новелл, рождавшихся в застольях; от рассказа к рассказу они оттачивались, становясь произведениями искусства… Однажды я догадался принести и включить магнитофон.

Пленка, черт меня возьми, не сохранилась — сохранились листки с расшифровкой.

Теперь, спустя много лет, можно получить двойное удовольствие: от самих сюжетов — и неповторимой гердтовской интонации, которой они пропитаны.

Итак…

— Второстепенные детали отбрасывать нельзя ни в коем случае! Во-первых, создается ощущение правдивости. Помните, у Бабеля в рассказе «Мой первый гонорар», когда проститутка теряет интерес к рассказу героя? — «Тогда я вложил астму в желтую грудь старика…»

Но вообще-то мои истории совершенно достоверны.

…про Рину Зеленую

Это было в день шестидесятилетия Твардовского. Его только что выгнали из «Нового мира» — ну, и вы представляете, сколько народу пришло, чтобы поддержать. Федор Абрамов из Верколы приехал, Гавриил Троепольский на своем «москвичонке» — из Воронежа! Я уж не говорю о местных.

И вот у него на даче, на Красной Пахре, я стою, разговариваю, кажется, с Лакшиным — и вдруг вижу: вкатывается Рина со своим мужем Котэ. А я знаю, что они незнакомы с Твардовским! Я подбегаю к ней, говорю: Рина, откуда вы здесь? А она говорит: мы приехали к вам (моя дача рядом с дачей Твардовского), а нам сказали: вы тут. Вот мы и приперлись…

Ну, ее, конечно, узнали, отвели на кухню, усадили кормить — и я совершенно о ней забыл. Я же не обязан ее пасти! Отошел куда-то, разговариваю… Вдруг! Подходит Рина и начинает дергать меня за рукав: «Зяма! Я хочу выступить перед Александром Трифоновичем!» Я говорю: «Рина! Вы же не идиотка, это невозможно, это совершенно исключено! Вы посмотрите, что тут происходит, какие люди здесь! Здесь цвет русской литературы, а вы, со своими эстрадными штучками… В какое положение вы себя поставите и меня…» А она: «Ну, объявите меня, я хочу выступить!»

И так как от желания выступить она уже потеряла

представление, где кончается рукав и начинаюсь я, то попросту щиплет и царапает мне руку!

Тогда я решаю: ну ее, в самом деле, пусть делает что хочет! И говорю: «Александр Трифонович, сейчас перед вами хочет выступить Рина Зеленая!»

И только я это сказал, как она набросилась на меня: «Вы что, с ума сошли! Кретин! Идиот!» (И бьет меня по груди). «В какое положение вы меня ставите! Здесь же цвет русской литературы!» И — Твардовскому: «Как вы его пускаете, этого недоумка, он же вам дом спалит!»

Долго орала на меня.

А потом, со вздохом: «Ну ладно… Раз уж объявил — придется выступить». И начала выступать. Я очень смеющимся Твардовского видел редко, но тут… Он катался по дивану, вытирал слезы…

Шантажистка кошмарная. Ради эстрадного эффекта заложить товарища…

…про женщину «на уровне»

Однажды — вот с этим лицом, которое обрыдло населению, — я вошел в купе, в котором уже ехала какая-то женщина. Она меня узнала — и начала, так сказать, рассказывать историю своей жизни. Желая быть светской и «на уровне», она все время употребляла вводные предложения — и наконец договорилась до нетленной фразы: «Мой муж, конечно, умер в шестьдесят втором году…»

Ну конечно, у кого же муж не умер в шестьдесят втором году!

…про Жванецкого и Володина

Однажды Жванецкий сказал Александру Володину: «Как же я тебя обожаю за то, что ты не знаешь, как открывается дверь у автомобиля!»

… про Марка Бернеса и Никиту Богословского

Это был пятьдесят седьмой год. Москва, фестиваль молодежи и студентов. Толпы иностранцев! Впервые! И приехали пять французских композиторов, сочинители всех песен Ив Монтана: Франсис Лемарк, Марк Эрраль, еще какие-то… Знаменитейшие фамилии! И к ним был приставлен Никита Богословский — во-первых как вице– или президент общества СССР—Франция, а во-вторых, у него прекрасный французский.

Ну вот. А я тогда играл в Эрмитаже «Необыкновенный концерт», а по соседству выступал Утесов. И так как только от меня, «конферансье», зависело, два часа будет идти наш «концерт» или час двадцать, то я быстренько его отыгрывал, чтобы успеть на второе действие к Леониду Осиповичу. Я его обожал.

И вот я выбегаю, смотрю: стоит эта группа — пятеро французов, Никита и Марк Бернес. Он к ним очень тянулся… И идет такая жизнь: Никита что-то острит, французы хохочут. Я ни слова не понимаю, Бернес тоже. И он все время дергает Богословского за рукав: Никита, что ты сказал? Тот морщится: погоди, Маркуша, ну что ты, ей-богу! Через минуту опять хохочут. Бернес снова: Никита, что он сказал?

На третий раз Богословский не выдержал: «Марк, где тебя воспитывали? Мы же разговариваем! Невежливо это, неинтеллигентно…»

Потом он ушел добывать контрамарку — французам и себе, и мы остались семеро совсем без языка. Что говорит нормальный человек в такой ситуации? Марк сказал: «Азохн вэй…» Печально так, на выдохе. Тут Фрэнсис Лемарк говорит ему — на идиш: «Ты еврей?» Бернес на идиш же отвечает: «Конечно». «Я тоже еврей», — говорит Лемарк. И повернувшись к коллегам, добавляет: «И он еврей, и он еврей, и он…»

Все пятеро оказались чистыми французами! И все знают идиш!

Марк замечательно знал идиш, я тоже что-то… И мы начали жить своей жизнью, и плевать нам на этот концерт Утесова! Тут по закону жанра приходит — кто? — правильно, Богословский! Мы хохочем, совершенно не замечаем прихода Никиты… Он послушал-послушал, как мы смеемся, и говорит: «Маркуша, что ты сказал?» А Бернес отвечает: «Подожди, Никита! Где тебя воспитывали, ей-богу? Мы же разговариваем!»

Это был единственный раз в моей жизни, когда мое происхождение послужило мне на пользу…

К девяностолетию Зиновия Ефимовича на его родине, в маленьком городе Себеж, благодарные земляки решили поставить памятник. На цоколе придумали написать: «Великому артисту Зиновию Гердту».

Вдова, Татьяна Александровна, слово «великому» забраковала. Сказала:

— Оставьте что-нибудь Чаплину…

Ах, как бы Зиновий Ефимович, гений самоиронии, порадовался этой фразе!

Гердт

Когда летом 1995-го против «Кукол» было возбуждено уголовное дело, Зиновий Ефимович среагировал очень эмоционально. «Этого не может быть! Они не посмеют этого сделать!» — повторял он, имея в виду возможность моей «посадки».

— Почему? — спросил я, не видя никаких препятствий к тому, чтобы они посмели.

Гердт на секунду задумался и ответил потрясающе:

— Но ведь тогда никто не подаст им руки!

Одна молодая журналистка передала мне совершенно блистательный диалог, произошедший у нее с Гердтом: «Ну что, деточка? Будете брать у меня интервью?» — «Да, Зиновий Ефимович…» — «Ах, всем вам от меня только одного нужно!..»

На восьмидесятилетие Зиновия Ефимовича, 21 сентября 1996 года, к нему на дачу съехались, по-моему, вообще все. Включая некоторое количество людей, про которых я не поручусь, что Гердт их знал вообще.

Одним из первых, по долгу службы, явился поздравить Гердта вице-премьер Илюшин — он должен был вручить юбиляру орден, называвшийся «За заслуги перед Отечеством III степени». И, видимо, кто-то подсказал Илюшину, что он едет поздравлять интеллигентного человека.

Вице-премьеру положили закладочку в томик Пастернака — и, вручив орден, он этот томик на закладочке открыл. И обрадовал присутствующих сообщением, что хочет прочесть имениннику вслух стихотворение «Быть знаменитым некрасиво».

Отличный выбор в случае с Гердтом, не правда ли?

Зиновий Ефимович отреагировал счастливо и немедленно: «Давайте лучше я вам его прочту!» Илюшин уперся: нет, говорит, я (он же готовился!). Тогда Гердт, мастер компромисса, предложил: «Давайте так: строчку — вы, строчку — я…»

И вот — прошу представить сцену.

Илюшин (по книжке): «Быть знаменитым некрасиво…»

Гердт (наизусть, дирижируя красивой, взлетающей в такт правой рукой): «Не это поднимает ввысь…»

Илюшин (по книжке): «Не надо заводить архива…»

Так они продвигаются по тексту, и всех, кроме вице-премьера, охватывает озноб, потому что все вспоминают последнюю строчку стихотворения. Строчку, которой здесь лучше не звучать совсем.

«Живым и только до конца».

А Гердту оставалось жить совсем немного, и он знал это.

Положение спас сам Зиновий Ефимович (раньше других вычисливший грядущую неловкость). И когда вице-премьер пробубнил свое: «Позорно, ничего не знача…» — Гердт, указав на себя, закончил: «Быть притчей на устах у всех…»

И плавным жестом обвел присутствующих, и рассмеялся, и замахал руками, прерывая это мероприятие. Последние строфы прочитаны не были. Артист не дал первому вице-премьеру попасть в идиотское положение.

С орденом, который привез Гердту этот Илюшин, отдельная история. Ее рассказал мне Евгений Миронов.

Вечер того же юбилейного дня. В гостиной накрыты столы, а Гердт лежит у себя в комнатке, в халате, и приходящие по очереди присаживаются рядом. Наиболее близким людям Зиновий Ефимович предлагает рядом с собою прилечь. И прикладываются на диван рядышком то Рязанов, то Ширвиндт…

Пришел поздравить Гердта и Евгений Миронов. Присел на кровать, разговаривают. Вдруг Гердт встрепенулся:

— Да! Женя, знаешь — меня сегодня орденом наградили!

Гордость за получение цацки была такой неожиданной в устах Зиновия Ефимовича, что Миронов немного растерялся;

— Да, — весомо сказал Гердт, — я орденоносец! — И, с места в карьер:

— Таня, Катя! Где мой орден? Давайте его сюда! Пришла Татьяна Александровна: Зямочка, зачем тебе орден? А Гердт — в крик:

— Дайте мне мой орден! Что я лежу, как мудак, без ордена!

Нашли орден. Гердт положил его на халат, полежал так немного и сказал:

— Вот, Женя. «За заслуги перед Отечеством третьей степени».

Помолчал и добавил:

— То ли заслуги мои третьей степени, то ли Отечество…

Изюм из булки

Опасные гастроли

Дело было в семидесятых.

Поезд ехал по Средней Азии — от Ташкента вглубь. Наступило очередное утро. За окнами тянулся безнадежный пейзаж; у окон, глядя в этот пейзаж безнадежными взглядами, стояли: Роман Карцев, Виктор Ильченко и их друг, режиссер Исай Котляр, ехавший с ними на гастроли. А рядом с Исаем у окна стоял полковник государственной безопасности, ехавший вглубь по своим государственно безопасным делам.

Верблюды, саксаулы, домики-мазанки, барханы, барханы…

И Исай Котляр, глядя на все это, печально и отчетливо молвил:

— Вот что здесь было до советской власти…

Чудовищность этой фразы дошла до полковничьего сознания не сразу. Но в ней была неуязвимость синкопы, смещающей удар на неударную долю, и чекист, захлебнувшись от ярости, ушел в свое купе, хлопнув дверью.

Полный абзац

Профессиональные травмы — дело обычное. В том числе психиатрические.

…Среди прочих газетных должностей есть должность с волшебным названием «свежая голова». Человек, эту должность исполняющий, приходит в редакцию ближе к вечеру и вычитывает готовые полосы, вылавливая опечатки и двусмысленности.

И вот, глубокой ночью, я встречаю у редакционных дверей свою будущую жену, наработавшуюся «свежей головой» до полного упаду. Мы садимся в редакционную машину, подъезжаем к ее дому, и она говорит шоферу:

— Налево, второй абзац.

Имея в виду, разумеется, второй подъезд.

Но это что! Мой приятель, женатый на учительнице младших классов, рассказывал: придя домой за полночь, он лег в супружескую постель и, исполнив супружеский долг, услышал от не вполне проснувшейся жены:

— Садись, пять.

Самостоятельное мышление

Шло методическое совещание. В зале сидели учителя средних школ, на трибуне стояла главная методистка страны, статная советская дама. Она сказала:

— Учитель должен уметь самостоятельно — что? И учителя хором сказали:

— Ду-умать!

Жалоба

Тюзовский спектакль про погибшего пионера-героя начинался скорбно-печально: старый партизан присаживался у могильного холмика с красной звездой, наливал из фронтовой фляжки, выпивал и, обращаясь в зрительный зал, говорил:

— Двенадцать лет ему было…

Немолодой актер, «партизанивший» в этом произведении искусства с незапамятных времен, с течением времени начал выпивать еще в гримерной: стрезва играть такое было совершенно невозможно. И дедушка Фрейд подстерег его. Однажды актер присел у могильного холмика на сцене, еще выпил и доверительно сообщил детям в зрительном зале:

— Двенадцать лет ебу мыло…

Шекспир отдыхает

Актерские оговорки вообще — материал для отдельной книги. Здесь, на посошок, только самое любимое.

Прошу представить: гастроли провинциального театра в Крыму, лето, последний спектакль, трезвых нет. Какая-то шекспировская хроника, финал, на сцене, как полагается, гора трупов… И вот, стоя над телом поверженного соперника, очередной цезарь говорит словами переводчицы Щепкиной-Куперник:

— Я должен был увидеть твой закат
Иль дать тебе своим полюбоваться…

Но он этого не говорит, потому что забывает текст.

— Я должен был увидеть твой…

А что «твой»? А ничего. Пить надо меньше. Но актер, умница, успевает сориентироваться — и на ходу подбирает слово, близкое к «закату» по смыслу и подходящее по размеру.

— Я должен был увидеть твой… конец! — говорит он. И, уже чуя недоброе, вопрошает сам у себя:

— Иль дать тебе своим полюбоваться?

Легенда утверждает, что в этот момент мертвые ненадолго ожили и затряслись в последней агонии…

Неуважение

В Московской мэрии выдавали реестры на земельные наделы, выделенные под строительство. Объявили:

— Театральный Центр Мейерхольда!

Получать документы вышел человек с другой фамилией.

— Мог бы и сам прийти, — хмуро заметил вице-мэр Шанцев.

Позади прогресса

В середине девяностых я увидел ужаснувшую меня картину. По аэропорту с чемоданчиком в руке шел хорошо одетый господин и громко говорил, обращаясь в пространство:

— Я в Шереметьево! Через час лечу во Франкфурт, оттуда в Оттаву…

Никакого собеседника вблизи господина не наблюдалось, и я понял, что слежу за сумасшедшим. Всяко же бывает. Вот, думаю, человек тронулся от счастья, что скоро увидит Оттаву…

Человек продолжал на ходу оповещать пространство о своих планах на будущее — и прошло полминуты, прежде чем я увидел, что от уха говорящего под пальто тянется проводок.

Человек разговаривал по телефону — только и всего. А я, не подозревающий о существовании телефонной гарнитуры, крался за ним с выпученными глазами, готовый звать санитаров.

И кто, спрашивается, сумасшедший?

Не в курсе дела

Мой знакомец, экстремал, организовал тургруппу экстремалов из Швеции и Польши — и повез их по России. Не по Золотому кольцу, а непосредственно вдоль… И вот в районе Иркутска, на родных могилах, одного поляка сильно пробило на генетическую память. Вечером, крепко взяв на грудь, он надерзил своему российскому экскурсоводу — и пошел пить со шведами.

И стал жаловаться им на Россию.

— Они увозили наших предков сюда, в Сибирь, — говорил поляк, — они нас убивали…

Шведы с сочувствием выслушали всю историю до конца и спросили:

— Почему вы не позвонили в полицию?

Ленинградское шоссе

Старый советский адмирал, выйдя в отставку, с конца восьмидесятых жил почти безвыездно на своей подмосковной даче. И немного приотстал от городских реалий.

И вот однажды, выбравшись в кои-то веки на своей «Волге» в Москву (что-то надо было забрать из квартиры), едет он обратно в свою Фирсановку. И видит: на Ленинградском шоссе, у обочины, стоит девушка. Вроде не голосует; наверное, стесняется. А за окном «Волги» зима, и девушка, наверное, мерзнет…

Офицерская честь сдетонировала в старом адмирале, и он, притормозив, открыл дверь.

— Минет, — сказала девушка. — Двести рублей.

— А Минет — это до Зеленограда или после? — уточнил адмирал.

Богема

В закрытый клуб во втором часу ночи вошел широко известный в московской тусовке клипмейкер N. — и не один, а с девицей совершенно недвусмысленного вида. На девицу он не смотрел; она шла в метре за его плечом, как радиоуправляемый предмет.

Клипмейкер был не чересчур трезв и весьма печален; махнув спутнице рукой в сторону столика, он сразу направился к стойке бара, чтобы печаль усугубить. Девица осмотрелась и на хороших ногах прошла к указанному месту, где и села, умело продемонстрировав окружающим все достоинства.

Достоинства ограничивались телом — лицо у девицы было совершенно птичье, под стать интеллекту. А в клубе, надо заметить, знали и жену и некоторое количество его девушек — и ко всем относились очень хорошо. Поэтому хозяйка окликнула гостя не без укоризны в голосе.

N., очевидно, и без того сознавал свою вину, потому что, прижав руки к груди, оправдался так:

— Лариса! Не со вкусом плохо — времени нет!

Пробел в образовании

Дело было летом, в конце восьмидесятых. Выйдя из гостиницы в Дубултах, я побрел вдоль по Рижскому взморью и через несколько метров наткнулся на стройное мускулистое тело Бори Н., моего приятеля-журналиста.

Боря, жмурясь, лежал на солнышке, как кот в расцвете возможностей. Усиливая сходство, вокруг него полулежали на песке три молодые женщины. Все они мурлыкали вполне интимно.

— Привет, Боря! — сказал я.

— А, привет… — разлепив глаза, но не подняв головы, ответствовал коллега.

Стайка девушек, вспугнутая мною, полетела к морю.

— Давно приехал? — спросил Боря.

— Да только что.

— Здесь живешь? — мотнув дремотной головой в сторону Дома писателей.

— Ага, — говорю.

— Отлично. Я в тридцать третьем номере, заходи вечерком, девчата будут…

— Да я с женой, — виновато ответил я.

Услышав такое, мой приятель-журналист разлепил глаза и даже приподнялся на локтях.

— Вить! Кто ж в Юрмалу — с женой?..

Вместе по жизни

Моя знакомая, милая молодая женщина, вышла замуж — и рассказывает о своем избраннике. Он и умный, и хороший, но самое замечательное — они все-все понимают одинаково!

— Что, например? — поинтересовался я, заранее завидуя такому совпадению жизненных идеалов.

— Он тоже считает, что мне надо покупать красивые и дорогие вещи!

О спорт!..

Обожаю спортивных комментаторов. Великие — иной раз договаривались до великих перлов. Котэ Махарадзе, с мягким обаятельным акцентом, так описал происходящее на поле:

— Гаврилов перекинул мяч через шотландского защитника и овладел им…

Русский язык

…не только велик, свободен и могуч, но и фантастически легок на поворотах. А уж когда существительное становится причастием, жди удивительных вещей!

Жена недавно мечтательно повторила вслед за футбольным комментатором: «Молодой, талантливый, нападающий…»

В мире животных

Про Вадима Жука я уже рассказывал в этой книжке. А еще среди моих друзей есть замечательный фотограф Юрий Лев и великолепная поэтесса Рената Муха. Если вы еще не читали ее дивных маленьких стихов, то вот вам, для знакомства:

Потомки бывают умнее, чем предки,
Но случаи эти сравнительно редки…

Впрочем, история не о стихах, а о том, как мы приехали навестить нашу дочь — семиклассницу, отдыхавшую под Москвой в компании с подружкой.

Подружка сидела на диване с книжкой, а мы делились со своей Валентиной новостями и приветами:

— Тебе передавал привет Жук… — говорила моя жена. — Скоро приедет Лев… У Мухи наконец вышла книжка…

Дочка радостно подпрыгивала, а подружка начала тихонько забиваться в угол, глядя на нас затравленными глазами: она вдруг поняла, что находится одна, без папы и мамы, в компании сумасшедших, которым передают привет жуки; среди людей, к которым собираются приехать львы; в мире, где мухи пишут книжки…

Интересная штука — эмоциональная память!

Маленький пансион в Италии. Ливень застал меня врасплох — бегу забирать купальники и полотенца, сохнущие на лежаках. Немецкая пара, мимо которой бегу обратно, дружелюбно подбадривает:

— Шнель, шнель!

И я вздрагиваю в ужасе, ибо мое знание немецкого пожизненно ограничено фильмами про войну: шнель, хальт, цурюк, хенде хох…

То ли дело итальянский! Как всякий человек, учившийся музыке, в Италии я не пропаду. Вот автобусная остановка, а на ней написано: фермата… Ну, разумеется!

Уже упомянутая в этой книге экскурсовод Лена рассказывала мне на этот счет трогательную историю. В древнем городе, у входа в какой-то музей, столпилось несколько экскурсионных групп. Экскурсоводы на английском, французском и испанском клянут нерасторопность местной администрации, а в сторонке стоит их печальный коллега-итальянец, которому очень хочется общаться, а языка для этого нет.

Итальянец, лишенный возможности общаться, — это трагическое зрелище. Лена видит, как он страдает, но ничем помочь не может. И вдруг вспоминает свое музыкальное детство и говорит ему:

— Molto lentomomento…

«Очень медленно». Так обозначался темп исполнения…

— О, molto lentomomento! — кричит благодарный итальянец, — molto lentomomento!

Уточнение

Лечу из Азербайджана в Россию. В хвосте у туалета курит южный гражданин, меланхолически стряхивает пепел на пол…

Я ему говорю:

— Мужик, не надо тут курить.

— Почему? — искренне удивился он.

— Потому что, — отвечаю, — неделю назад вот так вот покурил один пассажир, и самолет сгорел.

Гражданин напрягся, спрятал сигарету в кулаке и уточнил:

— Баку — Москва?

Объявление

…безо всяких кавычек. А просто: «Продаются крылья для старого москвича».

Свой человек

Дело было в Штатах. У одного нашего (слабо говорившего по-английски, а по-американски не понимавшего вообще ни слова) прихватило сердце, причем прихватило крепко. Он набрал номер 911, о существовании которого знал по одноименному сериалу — и вскоре действительно приехала «скорая».

Больше жестами, чем словами, россиянин объяснил: сердце. Его отвезли в больницу, поставили капельницу… Весь в испарине, он лежал, не имея ни сил, ни возможности что-либо попросить. И долежался. Над каталкой склонился здоровенный негр в зеленом врачебном халате и спросил:

— Ну что, браток, хуево тебе?

На чистом русском, хотя и с легким акцентом.

Оклемавшийся впоследствии пациент описывал свои ощущения так: «И я понял, что я умер». Но это был не ангел, а медбрат, специально вызванный администрацией больницы для общения с русскоязычным.

Он закончил медучилище в Тамбове.

Границы гостеприимства

В глубоко советские времена один ответственный партийный работник был послан с миссией в Иерусалим — речь шла об имущественных вопросах, связанных с владениями Русской православной церкви. Но рассказ будет не о недвижимости, а в некотором смысле — совсем напротив.

Сидит, стало быть, ответственный партийный работник в православном монастыре и ужинает с батюшкой, одновременно беседуя с ним на интересующие партию хозяйственные темы. И прислуживает им за столом монахиня таких кондиций, что при ее появлении обсуждение имущественных вопросов застревает у ответственного работника в горле.

Следует заметить, что в свободное от партийных поручений время он был вполне практикующим мужчиной.

Батюшка же при появлениях прислужницы сохранял полнейшее спокойствие, будучи, видимо, целиком погружен в православие.

Следует заметить, впрочем, что за монастырским столом они не токмо ели, но и обильно, пили, и отнюдь не святую воду, отчего быстро сблизились. Поэтому через какое-то время, уже ближе к ночи (а ночевать ответственный работник оставался в монастыре), он, проводив прислужницу достаточно выразительным взглядом, поинтересовался:

— Батюшка, а как у вас насчет гостеприимства? На что батюшка ответил с христианской прямотой:

— Гостеприимство мое безгранично, но баба эта — моя.

Не для себя

Знакомая театроведка попросила меня добыть ей контрамарку на спектакль, а спустя примерно неделю…

Спустя примерно неделю — сижу в театральной библиотеке, мараю бумагу. Зальчик небольшой, слышно, когда переворачивают страницу. Тут в дверях появляется моя контрамарочница, видит меня и в порыве благодарности громко сообщает:

— Витя, как это было замечательно!

В библиотеке становится совсем тихо. Девушки перестают писать свои рефераты и поднимают головы. С интересом смотрят на меня, на мою знакомую (молодую интересную брюнетку), потом снова на меня…

Они ждут развития сюжета, и моя знакомая не обманывает девичьих ожиданий.

— Витя, — говорит она. — Я хочу попросить тебя еще раз о том же, но не для себя!

О, как мне было хорошо в тот вечер в театральной библиотеке!

Лучше — сразу

Звонок моей жене на рассвете:

— Вы, наверное, жена Шендеровича.

— Да.

— Простите, что звоню в такую рань, но я решила: лучше сказать сразу…

Жена от таких слов сразу проснулась.

— Я хочу вас предупредить, — сказала женщина на том конце провода. — Я занесла Виктору вирус… Я не нарочно…

Впоследствии оказалось, что звонила редактор Ася — и речь шла о письме, которое Она послала мне по имейлу.

Два мира…

Одной моей знакомой в день ее рождения позвонила приятельница. С Кипра.

— Я желаю тебе, — сказала она, — чтобы твоя жизнь всегда была такой же безоблачной и прекрасной, как этот день…

— Спасибо, милая, — сказала моя знакомая, прижимая трубку к уху плечом. Она стояла на кухне, варганя детям обед.

За окном стояла пасмурная, беспроглядная московская осень.

Весна

Я лег спать ночью, среди отчаянной московской зимы, в пору образцово-показательных крещенских морозов, а проснулся от звука капели.

Я встал и раздернул шторы. По карнизу тарабанила вода. Она била в цинк и, отскакивая, сверкала на солнце. Это было прекрасно. Я открыл окно настежь, вдохнул всей грудью бодрящий утренний воздух, подставил руку под нежданную капель… О Господи, ведь действительно — весна! В совершенно элегическом настроении я высунул башку на улицу. Мимо меня с шипением пронеслась дымящаяся балка.

Я всунул башку обратно в квартиру, подумал и осторожно высунулся на улицу снова.

Внизу стояли две пожарные машины. Наверху, через несколько этажей и точно надо мной, горела квартира. Бойцы в касках поливали ее из брандспойтов.

Вот тебе и вся оттепель.

Соавторы

Эту книгу составили собственные жизненные наблюдения автора, а также истории, рассказанные ему десятками людей, чьи имена (в тех случаях, когда автор это помнит, и имя не является тайной) следуют ниже в алфавитном порядке:

Василий Аксенов
Аркадий Арканов
Саид Багов
Гия Бердзенишвили
Александр Бовин
Петр Вайль
Алексей Венедиктов
Владимир Видревич
Всеволод Вильчек
Борис Вишневский
Владимир Вишневский
Александр Володин
Елена Галесник
Марк Галесник
Алла Гербер
Зиновий Гердт
Алексей Германов
Александр Гольдфарб
Александр Гордон
Григорий Горин
Юрий Григорович
Григорий Гурвич
Борис Гуреев
Михаил Державин
Инесса Дозорцева
Сергей Доренко
Андрей Дрознин-мл.
Марк Дубовский
Георгий Елин
Вадим Жук
Борис Жутовский
Игорь Иртеньев
Александр Кабаков
Михаил Казовский
Владимир Кара-Мурза
Роман Карцев
Гарри Каспаров

Игорь Кваша
Мамука Кикалейшвили
Юлий Ким
Василий Кисунько
Александр Левин
Янислав Левинзон
Сергей Лейферкус
Лидия Либединская
Константин Литвак
Борис Львович
Мария Медецкая
Евгений Миронов
Алексей Мурманцев
Кирилл Набутов
Андрей Норкин
Сергей Пархоменко
Василий Пичул
Слава Полунин
Татьяна Правдина
Алексей Пьянов
Константин Райкин
Марк Розовский
Юрий Рост
Анатолий Смелянский
Наталья Смирнова
Олег Табаков
Юрий Табанский
Александр Урес
Сергей Феоктистов
Валерий Фокин
Геннадий Хазанов
Аркадий Хайт
Юрий Харьков
Людмила Чубарова
Маргарита Чубарова
Михаил Чумаченко
Михаил Шевелев
Анатолий Шендерович
Александр Ширвиндт
Ирина Ясина

Вместо послесловия

«Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю».

Исаак Бабель, «Мой первый гонорар»